



Межрегиональные
исследования
в общественных науках

Министерство
образования и науки
Российской
Федерации

«**ИНОЦЕНТР**
(Информация. Наука.
Образование)»

Институт имени
Кеннана Центра
Вудро Вильсона
(США)

Корпорация Карнеги
в Нью-Йорке (США)

Фонд Джона Д. и
Кэтрин Т. МакАртуров
(США)



Данное издание осуществлено в рамках программы «Межрегиональные исследования в общественных науках», реализуемой совместно Министерством образования и науки РФ, «ИНОЦЕНТРОм (Информация. Наука. Образование)» и Институтом имени Кеннана Центра Вудро Вильсона, при поддержке Корпорации Карнеги в Нью-Йорке (США), Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. МакАртуров (США). Точка зрения, отраженная в данном издании, может не совпадать с точкой зрения доноров и организаторов Программы.

Картины русского мира: аксиология в языке и тексте

Ответственный редактор –
д-р филол. наук З.И. Резанова



Издательство
Томского
университета
2005

УДК 808.2+882
ББК 81.2Р+83.3Р
К27

Авторы:

Л.П. Дронова, Л.И. Ермоленкина, Д.А. Катунин, Ю.В. Королева,
Н.А. Мишанкина, З.И. Резанова, И.В. Тубалова, Ю.А. Эммер

Рецензенты:

д-р филол. наук *Н.В. Халина*, д-р филол. наук *М.Г. Шкуропацкая*

Редакционная коллегия:

д-р филол. наук *З.И. Резанова* (отв. ред.), канд. филол. наук *И.В. Тубалова*,
канд. филол. наук *Ю.А. Эммер*

Печатается по решению совета научных кураторов программы
«Межрегиональные исследования в общественных науках»

Дронова Л.П., Ермоленкина Л.И., Катунин Д.А., Королева Ю.В.,
Мишанкина Н.А., Резанова З.И., Тубалова И.В., Эммер Ю.А.

К27 **Картины** русского мира: аксиология в языке и тексте / Колл. монография/ Отв. ред. З.И. Резановой. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2005. – 354 с. (Серия «Монографии»; вып. 10).

ISBN 5-7511-1913-4

В монографии анализируются аксиологические аспекты русской языковой картины мира: спектр общих и частных оценок, выражаемых единицами различных языковых уровней: в лексике, в моделях морфологической и семантической деривации. Фрагменты русской ценностной картины мира представлены в динамике их исторического становления и развития, синхронной динамике дискурсивной вариативности.

Для преподавателей, аспирантов, студентов гуманитарных специальностей.

УДК 808.2+882
ББК 81.2Р+83.3Р

Книга распространяется бесплатно

Издание осуществлено при финансовой поддержке
МНОН, грант К017-2-01/2003

ISBN 5-7511-1913-4

© АНО «ИНОЦентр (Информация.
Наука. Образование)», 2004
© Томский государственный
университет, 2005
© Л.П. Дронова, Л.И. Ермоленкина,
Д.А. Катунин, Ю.В. Королева,
Н.А. Мишанкина, З.И. Резанова,
И.В. Тубалова, Ю.А. Эммер, 2005

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие.....	6
Часть I. Языковые модели и механизмы оценки.....	11
Глава 1. Лексические модели формирования русской ценностной картины мира.....	13
1.1. История становления общеоценочной лексики русского языка: семантика положительной оценки (Л.П. Дронова).....	13
1.2. Метафорические модели русской ценностной картины мира.....	111
1.2.1. Метафорические модели этико-эстетической оценки (Л.И. Ермоленкина).....	111
1.2.2. Метафорические модели времени (Д.А. Катунин).....	139
1.2.3. Метафорические модели звучания (Н.А. Мишанкина).....	164
Глава 2. Деривационные модели формирования русской ценностной картины мира.....	196
2.1. Именная деминутивная деривация в моделях выражения оценки (З.И. Резанова).....	196
2.2. Глагольная префиксация как средство выражения параметрической оценки (Ю.В. Королёва).....	234
Часть II. Дискурсивная поливариантность русской ценностной картины мира.....	257
Глава 1. Ценностная картина мира традиционного и современного фольклора (И.В. Тубалова, Ю.А. Эмер).....	259
Глава 2. Ценностные картины мира современной чат-коммуникации (З.И. Резанова, Н.А. Мишанкина).....	299
Литература.....	330
Список сокращений.....	346
Название языков и диалектов.....	346
Прочие сокращения.....	350
Географические названия.....	351
Авторы монографии.....	352

Предисловие

Проблематика языковой картины мира (ЯКМ) входит в число наиболее актуальных в современном российском языкознании, что во многом определяется активно проявляемой общей тенденцией к эспланаторности лингвистических исследований, к выходу в поиски внешних детерминаций различных сфер языкового существования, с одной стороны, и с другой – к возвращению языка в позицию средства исследования, материала постижения феноменов, ему в определенной степени внеположенных.

Если понимать под ЯКМ специфически *языковой* способ интерпретации и именованя мира, с логическим ударением на первой части определения, то обнаруживается соположенность данного термина с понятием внутренней формы языка, постижение которой, по В. Гумбольдту, вследствие его сложнейшей организации и соотнесенности может интерпретироваться как глобальная цель языкознания.

Столь сложно организованный (онтологически и функционально) объект требует аспектированного исследования, выделения разных сторон его онтологии и функционирования и их относительно обособленного, но в то же время соотнесенного анализа. Проблематика картины мира может быть аспектирована по разным основаниям.

Во-первых, в качестве самостоятельного объекта изучения рассматриваются вопросы **содержания** картины мира или **способов ее формального выражения**. В первом случае исследования направлены на описание совокупности концептов, отражающих специфически языковой тип интерпретации действительности, во

втором – выявляются языковые модели, единицы, репрезентирующие тот или иной компонент содержания картины мира. В фокусе внимания оказываются сложившиеся в языке формально-смысловые модели на всех уровнях языковой системы: средства грамматического и деривационного моделирования, специфически языковые способы обнаружения в системе деривационных моделей «привычных ходов мысли», проявленных в системе номинации, способы лексико-семантического членения универсума, зафиксированные в своеобразной организации лексических рядов того или иного языка.

Во-вторых, при обращении к проблематике языкового миромоделирования исследователи либо описывают совокупность концептов, сложившихся в этноязыковой культуре в определенную эпоху как нечто существующее «здесь и сейчас» и определяющих своеобразие мировосприятия человека определенной эпохи, либо в фокусе оказывается сам процесс становления этнической картины мира, отраженный в формирующейся совокупности языковых средств. В этом случае языковые процессы рассматриваются в аспекте отражения динамики духовной, интеллектуальной жизни этноса на протяжении длительного исторического периода, процессов межэтнических культурных влияний.

В-третьих, прослеживается противопоставление выстраиваемых «картин мира» по линии «инвариант/вариативное воплощение». В первом случае, говоря о языковых картинах мира, исследователи устремляются к постижению некой целостности определенных смысловых конфигураций, «вложенных» в семантические структуры единиц естественного языка – лексем, морфем, морфологических и синтаксических моделей, в тот продукт (ergon) этнического Языка, который интерпретируется как некая устойчивая, внутренне единая совокупность смыслов и средств их репрезентации. Во втором случае языковеды стремятся к обнаружению потенциала варьирования этноязыковой картины мира, обусловленного наличием функционально детерминированных вариантов существования этнического языка, к обнаружению особых картин мира, отраженных в системах диалектной, просторечной форм национального языка.

Вопрос о вариативности картин мира, отраженных в этноязыковом единстве, может интерпретироваться и в соответствии с

базовой дихотомией *ergon* | *energeia*. В этом случае акцент смещается на выявление специфики дискурсивного воплощения потенциала языка, в фокусе исследования находится множественность ролевого существования современного человека, вхождение его в разные типы дискурсов, отражающих различные культурные парадигмы. Форма дискурса – соответствующая конфигурация языковых средств, определяемая спецификой целеполагания того или иного типа коммуникации, особенностями организации коммуникативного акта, своеобразием среды протекания, хронотопа, канала информации, принятой коммуникантами ролевой установки, – оказывается формально-структурирующим аппаратом воплощения специфической картины мира, создаваемой в его рамках. Актуальность исследования дискурсивных моделей мира определяется осознанием социальной и культурной мобильности современного человека, маркированной его бытием в разных типах дискурсов. Ориентированность субъекта на вхождение в определенные типы дискурсов является показателем близости для него именно тех картин мира, сотворцом которых он выступает в дискурсивной практике.

Обозначенные аспекты исследования языковой картины мира в предлагаемой монографии применены к аксиологическому срезу русской языковой картины мира. В содержательной аспектации картин мира выделение ценностного аспекта занимает особое место вследствие того, что в этом случае в фокусе внимания при характеристике картин мира оказывается формирующий эти картины **человек** в аспекте его интерпретирующего, избирательного отношения к миру.

Сложность интерпретации семантики оценки определяется комплексностью аппарата ее формирования, наличием значительного количества имплицитивных оценочных смыслов, установление которых требует особых процедур анализа, направленных на выявление механизмов оценки, встроенных в структуру языка, и механизмов дискурсивных.

Предмет анализа авторов монографии – аксиологические фрагменты русской языковой картины мира в совокупности аспектов их проявления в разных формах национального языка, в современном состоянии и в динамике исторического развития,

обнаруживаемые во внутренней форме языка и в моделях его дискурсивного развертывания.

Предметом анализа является оценка, встроенная в семантику содержательных единиц языка, и совокупность оценочных смыслов, оценочных коммуникативных стратегий, обнаруживаемых в коммуникативном развертывании языка. Первый аспект представлен в первой части монографии онтологически – как образ языкового существования смыслов в структурах языка и орудийно – как средства, составляющие потенциал функционирования.

Языковой лексический аппарат положительной оценки в истории его формирования является предметом анализа в первом параграфе первой главы, написанном Л.П. Дроновой. Фрагмент картины мира, формируемый смыслами общей положительной оценки, предъявлен как некий палимпсест, картина языковых и культурных наслоений, результат сложных этнокультурных влияний. Методологически глава выстраивается на основе идеи взаимной верифицируемости синхронных и диахронных исследований.

Далее представлены фрагменты русской ценностной картины мира, обнаруживаемые в живой внутренней форме языка, которые прочитываются в синхронных моделях семантической и морфологической деривации.

Во втором параграфе первой главы представлены метафорические фрагменты русской ценностной картины мира.

Соотношение этической и эстетической оценки и их дескриптивных оснований в системе метафорической номинации русских народных говоров анализирует Л.И. Ермоленкина. На основе учета особенностей синестетической метафоры Н.А. Мишанкина анализирует оценку сферы звучания, базирующуюся на смешении разных типов ощущений, в русской языковой картине мира и делает заключение о гештальтной природе оценочной деятельности в данной когнитивной сфере.

Аксиологический потенциал метафорических номинаций времени исследует Д.А. Катунин. Реализация оценочных смыслов, по мнению автора, зависит от типа метафорических моделей времени, в которых аксиологический компонент значения может быть основным, второстепенным или вовсе не актуализированным.

Во второй главе представлен анализ деривационных моделей формирования аксиологических смыслов русской языковой кар-

тины мира. Русская деминутивная именная деривация рассматривается как механизм формирования широкого круга оценочных смыслов, реализуемых в сочетании со спектром семантических и собственно прагматических функций и создающих особую тональность русского речевого общения.

Ю.В. Королева рассматривает одно из средств выражения оценочности в глагольной сфере русского языка, таким средством признается глагольная префиксация, способная не только обозначать пространственно-временные оттенки значения, но и выражать параметрическую оценку действия, названного глаголом. В работе делается заключение о наличии в языке модели перехода прототипических значений приставок в аксиологические.

Во второй части монографии представлен анализ дискурсивных моделей формирования ценностных картин мира. В первой главе этой части И.В. Тубаловой и Ю.А. Эмер дан анализ ценностных моделей мира, функционирующих в фольклорном дискурсе. В сферу анализа вовлекаются тексты «традиционного» и «нового» фольклора: лирические песни, частушки, анекдоты, рекламные и киноцитаты. Авторы приходят к выводу о значимости жанровых моделей в системе эстетического воплощения ценностного мировосприятия «фольклорного человека». Эстетические способы воплощения ценностных ориентиров, определяемые спецификой традиционного – онтологического – и современного – рефлексивного – сознания, по мнению авторов, являются основой различия аксиологических моделей традиционного и современного фольклора.

Авторы второй главы, З.И. Резанова и Н.А. Мишанкина, обращаются к чат-коммуникации как сфере современного молодежного общения, обусловленного в своем существовании специфическими особенностями интернет-коммуникации, характеризуя специфические сферы и способы выражения ценностного отношения к миру. По мнению авторов, чат-коммуникация – это мир рефлексивного мышления/общения, при этом в фокусе постоянной рефлексии находятся сам говорящий, прежде всего его эмоциональное и интеллектуальное состояние, а также соответствующие проявления партнеров в коммуникации и различные аспекты хода коммуникации, в том числе его формальная и эстетическая стороны.

Часть I
Языковые модели
и механизмы оценки

Глава 1

Лексические модели формирования русской ценностной картины мира

1.1. История становления общеоценочной лексики русского языка: семантика положительной оценки

Развитие функционального направления в лингвистике, обращение к прагматическому аспекту исследования языка выдвинули феномен оценки на одно из центральных мест в отечественной и зарубежной лингвистике.

В научной литературе 1970–80-х гг. активно обсуждаются вопросы объема и содержания понятия «оценка», природы и типов языковых оценок¹, статуса оценки как лингвистической категории в соотношении с другими категориями (модальность, экспрессивность, эмоциональность и др.). Утверждается мнение о том, что

¹ Ср., напр.: *Василенко В.А.* Ценность и оценка: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Киев, 1964; *Столович Л.Н.* Ценностная природа категории прекрасного и этимология слов, обозначающих эту категорию // Проблема ценности в философии / Гл. ред А.Г. Харчев. М.; Л., 1966. С. 65–80; *Ивин А.А.* Основания логики оценок. М., 1970; *Арутюнова Н.Д.* К проблеме функциональных типов лексического значения // Аспекты семантических исследований. М., 1980. С. 156–249; *Она же.* Аксиология в механизмах жизни и языка // Проблемы структурной лингвистики. 1982. М.: Наука, 1984. С. 5–23; *Вольф Е.М.* О соотношении квалификативной и дескриптивной структур в семантике слова и высказывания // Изв. АН СССР. Сер. литературы и языка. Т. 40, № 4. 1981. С. 391–397; *Лукьянова М.А.* О соотношении понятий «экспрессивность», «эмоциональность», «оценочность» // Актуальные проблемы лексикологии и словообразования. Новосибирск, 1976. Вып. 5. С. 3–21; *Хидекель С.С., Кошель Г.Г.* Природа и характер языковых оценок // Лексические и грамматические компоненты в семантике языкового знака. Воронеж, 1983. С. 11–16.

оценка может рассматриваться как один из видов модальностей¹. Именно в категории модальности проявляется одна из существенных сторон, определяющих осмысленность и эффективность процесса коммуникации: с помощью модальных средств говорящий соотносит содержание высказывания с реальной внеязыковой ситуацией и выражает свое субъективное отношение к сообщаемому, дает оценку.

Оценка как ценностный аспект значения присутствует в самых разных языковых выражениях (морфема, слово, группа слов, целое высказывание). Имеются целые слои лексики, предназначенные для выражения оценки. Это в первую очередь прилагательные и наречия, которые обнаруживают большое разнообразие оценочной семантики и по своей природе наиболее очевидно выражают категорию оценки². Не случайно поэтому в фокусе исследовательского интереса оказывается системное описание оценочных прилагательных³, выявление некоторых общих закономерностей формирования и развития оценочного значения прилагательных, явление многозначности оценочных имен прилагательных⁴.

¹ *Вольф Е.М.* Функциональная семантика оценки. М.: Наука, 1985. С. 11.

² *Вольф Е.М.* Грамматика и семантика прилагательного (на материале иберо-романских языков). М.: Наука, 1978;

Шрамм А.Н. Очерки по семантике качественных прилагательных (на материале современного русского языка). Л.: Изд-во ЛГУ, 1979.

³ *Сергеева Л.А.* Качественные прилагательные со значением оценки в современном русском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Саратов, 1980; *Петрова З.М.* Развитие лексического состава русского языка XVIII в.: Имена прилагательные: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1983.; *Кулигина Т.И.* Категория оценки и средства ее выражения в современном немецком языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1985; *Маркелова Т.В.* Семантика оценки и средства ее выражения в русском языке. М., 1993.

⁴ *Сенкевич В.И.* Категория оценки в белорусском и русском языках (на материале названий лица): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Минск, 1987; *Фелькина О.А.* Развитие семантики славянских прилагательных общей оценки в русском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Минск, 1990; *Чернякова Т.А.* Закономерности формирования и развития оценочного значения (на материале имен прилагательных) // *Имя и глагол в исторической перспективе*: Науч. тр. Т. 558: Славянская филология. Рига, 1991. С. 72–81; *Куканова Н.Н.* Семантические изменения качественных прилагательных в русском литературном языке XVIII в., связанные с раз-

Дальнейший интерес к оценке как явлению языка вызвал активное обсуждение таких принципиальных вопросов, как структура оценочного значения, типы оценки, способы ее выражения в языке и тексте, в речевых актах и модальной рамке высказывания¹. «В мире оценок действует не истинность относительно объективного мира, а истинность относительно концептуального мира участников акта коммуникации»². Оценка свела в едином фокусе знания о мире, социальные стереотипы, личностные предпочтения и вкусы, цели речевых актов и многое другое. «Оценка создает совершенно особую, отличную от природной, таксономию объектов и событий»³.

Категория оценки рассматривается как сложная многоэлементная структура, которая включает в себя такие основные компоненты, как субъект оценки, объект оценки, сами оценки, основание оценки⁴. Противопоставление «субъект – объект» в оценочной структуре предполагает и наличие субъективности/объективности в семантике оценки. Имеется в виду, что объективная оценка характеризует прежде всего объект оценки (оценивается степень его соответствия определенному стереотипу, ср. *годный, подходящий, правильный* и т.п.). Субъективная оценка характеризует скорее субъект оценки (с точки зрения его вкуса, симпатий, антипатий), выражает его эмоциональное отношение к объекту оценки (ср. *приятный, неприятный, симпатичный, отвратительный, гадкий*). Но в принципе и субъект и объект оценки предполагают существование обоих факторов – субъективного и

личными основаниями оценки // Очерки по исторической лексикологии русского языка: Памяти Ю.С. Сорокина. СПб.: Наука, 1999. С. 89–107; *Лифшиц Г.М.* Виды многозначности в современном русском языке: На материале оценочных имен прилагательных. М.: МАКС Пресс, 2001.

¹ *Апресян Ю.Д.* Прагматическая информация для толкового словаря // Прагматика и проблемы интенциональности. М., 1988; То же // *Апресян Ю.Д.* Избранные труды. Т. 2. М.: Школа «Языки русской культуры», 1995. С. 135–155); *Арутюнова Н.Д.* Язык и мир человека. М., 1999; *Вольф Е.М.* Функциональная семантика оценки. 2-е изд., доп. М.: Эдиториал УРСС, 2002.

² *Вольф Е.М.* Функциональная семантика оценки. С. 203.

³ *Арутюнова Н.Д.* Аксиология в механизмах жизни и языка // Проблемы структурной лингвистики. 1982. М.: Наука, 1984. С. 5–23.

⁴ *Ивин А.А.* Основания логики оценок. М., 1970. С. 21–28.

объективного. Так, субъект, оценивая предметы или события, опирается, с одной стороны, на свое отношение к объекту оценки («нравится/не нравится»), а с другой стороны, на стереотипные представления об объекте и шкалу оценок, на которой расположены присущие объекту признаки. В то же время в оценочном объекте сочетаются субъективные (отношение «субъект – объект») и объективные признаки (свойства объекта). Субъективное и объективное неразрывно связаны, образуя континуум, где та и другая сторона нарастают/убывают обратно пропорционально друг другу¹.

Оценочные средства языка, таким образом, заключают в себе и собственно **оценочные** (субъективные) и **дескриптивные** (объективные) смыслы. Тот и другой вид значения может быть представлен в конкретном случае в различном соотношении (от нуля оценочных смыслов до нуля дескриптивных). В выражениях естественного языка, которые приписывают объекту те или иные свойства, оценочный и дескриптивный компоненты неразрывно связаны и во многих случаях неразделимы². Связь дескриптивных и собственно оценочных смыслов в значениях слов наиболее очевидно проявляется в системе прилагательных.

По соотношению оценочности и дескрипции выделяются три типа значений прилагательных³. Первый тип – прилагательные, **нейтральные** в оценочном отношении (ср. в прямом значении *каменный, железный, голубой, большой*). Второй – **частнооценочные**, содержащие указание одновременно на признак и оценку (ср. *умный, глупый, вредный, полезный, добрый, злой*). Третий тип – **общеоценочные** прилагательные, выражающие общую оценку, которая дается по совокупности разнородных свойств и реализуется прежде всего основными значениями прилагательных *хороший, плохой*, а также их экспрессивными и стилистическими синонимами (*отличный, замечательный, прекрасный, дрянной, скверный, паршивый*).

Среди прилагательных лишь часть имеют чисто оценочный или чисто дескриптивный смысл. Большинство прилагательных, как и вообще оценочных слов, их совмещают. В аксиологической

¹ Вольф Е.М. Функциональная семантика оценки. С. 23, 27.

² Там же. С. 24.

³ Там же. С. 29.

ситуации чаще всего не требуется определить абсолютную ценность объекта, рассмотреть его со всех сторон. Обычно объект оценивается с какой-либо одной стороны, и общеоценочные слова, употребляемые в конкретной ситуации, по сути, выступают в роли частнооценочных¹.

Частнооценочные значения, по определению Н.Д. Арутюновой, – это значения, «дающие оценку одному из аспектов объекта с определенной точки зрения»². Вследствие этого, исходя из взаимодействия субъекта оценки с ее объектом, частнооценочные значения могут быть представлены как определенные группы³. Первая группа – это **сенсорные оценки**, разделяемые на сенсорно-вкусовые, или гедонистические (*вкусный, душистый*), и психологические (интеллектуальные – *интересный, увлекательный*; эмоциональные – *радостный, желанный*). Вторая группа – сублимированные, или **абсолютные**, оценки – это эстетические оценки, основанные на синтезе сенсорных и психологических (*красивый, прекрасный*), и этические оценки, подразумевающие нормы (*добрый, порочный*). Третья группа – это **рационалистические** оценки, связанные с практической деятельностью человека. Они включают в себя следующие оценки: утилитарные (*полезный, нужный, вредный*), нормативные (правильный, точный, верный, здоровый), телеологические (*удачный, негодный*).

Соотношение оценки и дескрипции меняется в зависимости от синтаксической позиции. Типичной для дифференциации дескриптивных и оценочных смыслов является предикативная позиция, актуализирующая и усиливающая признаковые семы. Разница между оценочными и дескриптивными смыслами проявляется и в ряде конструкций, например в конструкции с интенсификатором (*У него совершенно каменный взгляд. *Это совершенно каменный дом*), в сочетаниях с прилагательными типа *настоящий, истинный (он настоящий художник)* и др.⁴

¹ Фелькина О.А. Развитие семантики... С. 6.

² Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений. Оценка. Событие. Факт. М., 1988. С. 75.

³ Арутюнова Н.Д. Аксиология в механизмах... С. 5–23.

⁴ Вольф Е.М. Функциональная семантика оценки. С. 31–32.

При любой оценке, количественной или качественной, частной или общей, в «картине мира» участников коммуникации существует определенная система стереотипов (набор признаков, общий для всех или большинства коммуникантов). Оценочные стереотипы включают в себя объекты, в том числе и положение вещей, с их признаками, а также их место в ценностной картине мира. Важно отметить, что стандарты существуют не только для собственных признаков предметов, но и для **общей оценки**. В логических теориях оценок подчеркивается, что слова *хороший*, *плохой* и т.п. «характеризуют отношение оцениваемых вещей к определенным образцам или стандартам. В этих стихийно складывающихся стандартах указываются совокупности эмпирических свойств, которые, как считается, должны быть присущи вещам»¹. Для общеоценочных признаков «хороший/плохой» и ряда других с широким спектром приложения не существует стереотипов вне объектов (свои стереотипы для каждого вида объектов). К тому же стереотипы исторически и ситуативно изменчивы.

Набор свойств, которые замещает общая оценка, является довольно неопределенным и в количественном, и в качественном отношении. И тем не менее если бы не существовало стереотипов, оценочные высказывания не могли бы служить для коммуникации (разное представление о соотношении дескриптивных признаков и оценки в применении к данному объекту создает «коммуникативный провал»). Следует отметить, что чисто субъективные («эмотивные») оценки не включают стереотипов, так как они не соотносятся с признаками объектов и не подразумевают классификаций. Так, например, не имеют стереотипов аффективные определения типа *потрясающий*, *сногшибательный* и т.п.: не существует стереотипов «потрясающих людей» или «сногшибательных спектаклей», хотя в конкретных ситуациях аффективные слова могут предполагать некий набор частных признаков, каузирующих оценку².

Проблема соотношения дескрипции и оценки имеет еще один аспект – это вопрос о первичности или вторичности оценочных и дескриптивных признаков (спорный вопрос в логических теориях

¹ *Ивин А.А.* Основания логики оценок. С. 38.

² *Вольф Е.М.* Функциональная семантика оценки. С. 61.

оценок). Как отмечает Е.М. Вольф, ссылаясь на предшественников, дескриптивные признаки оказываются первичными, если речь идет об оценочных выводах (свойства объекта мотивируют оценку, а не наоборот). Логическая первичность дескриптивного признака и вторичность оценки отражается также в порядке компонентов высказываний типа *Студент хорошо отвечал, и преподаватель обрадовался* (но не **Преподаватель обрадовался, и студент хорошо отвечал*), в порядке слов в предикативной позиции при сочетании общеоценочных и частнооценочных определителей (*Это кресло хорошее, удобное* – второе прилагательное мотивирует и конкретизирует оценку. *Это кресло удобное, хорошее* – второе прилагательное лишь усиливает оценку), частный и общеоценочный признаки не объединяются сочинительным союзом (**Эта книга интересная и хорошая*)¹. Тем не менее можно предположить и существование каких-то исключений, «периферийных» явлений. На это предположение наталкивают история и этимология слова *худой*, где причиной первичности общеоценочного *худой* ‘плохой’ и вторичности *худой* ‘худой, тощий’ был, как полагаем, генетический «слом» как следствие межкультурного взаимодействия (*худой* усвоено из скифо-сарматского субстрата части славянских языков, предполагает субституцию f->x-, ср. осет. *fud/fud* ‘дурной’; ‘зло, беда’, связанное с иранским **rūta*- как причастие прош. вр. от **rū*- ‘гнить’) [Абаев I, 489; Иванов 2002, 35]).

Определение места оценки в структуре лексического значения, выделение типов прилагательных по соотношению в их значении дескрипции и оценочности позволяет ставить и решать вопрос о наличии закономерности формирования и развития оценочного значения имен прилагательных. Занимавшаяся этим вопросом Т.А. Чернякова выделяет несколько этапов на пути формирования у слова оценочного значения.

Начальный этап – развитие оценочных коннотативных сем на базе дескриптивного признака (понятие о некотором качестве, свойстве при подключении системы ценностных представлений носителей языка вызывает положительные или отрицательные ассоциации, закрепление которых рождает оценочную коннота-

¹ Вольф Е.М. Функциональная семантика оценки. С. 33.

тивную сему). Deskриптивный компонент является на этом этапе ведущим в значении слова, оценочная сема – вторичной, периферийной.

На следующем этапе в результате регулярной актуализации оценочной коннотативной семы происходит изменение характера и соотношения deskриптивных и оценочных сем в значении слова: оценочная сема из коннотативной становится ядерной (без нее затруднительно сформулировать дифференциальный признак понятия). Роль deskриптивного компонента сводится к указанию на мотив (основание) оценки.

На заключительном этапе вследствие ослабления или утраты связи оценочного значения с исходным номинативным значением прилагательного, размывания критериев возникновения оценки развивается общеоценочное значение. Это отражается, как правило, на расширении круга существительных, с которыми сочетается прилагательное. В завершенном виде общеоценочное значение выражает «чистую» оценку, без опоры на deskриптивное значение. Модель эта схематически представляется следующим образом: **I. Deskриптивное значение → II. Deskриптивное значение, осложненное оценочной коннотацией → III. Частнооценочное значение → IV. Общеоценочное значение**¹.

Данную модель развития оценочного значения Т.А. Чернякова иллюстрирует семантической историей ряда прилагательных, имеющих в современном русском языке производное общеоценочное значение. Так, например, прилагательное *знатный* этимологически связано с глаголом *знати/знать* и имело первоначально значение ‘известный, знакомый’ (что подтверждается древнерусскими текстами). В силу регулярных ассоциаций, связывающих данный deskриптивный признак с наличием каких-либо положительных качеств предмета или лица, формируется значение с положительнооценочной коннотацией – ‘пользующийся известностью’. С усилением оценочной семы развивается значение, близкое к частнооценочному – ‘знаменитый, прославленный’ (знатные люди, знатная доярка). Здесь оценка входит в ядерную часть значения (‘известный своими заслугами, достоинствами,

¹ Чернякова Т.А. Закономерности формирования и развития оценочного значения... С. 74.

положительными качествами'). На основе частнооценочного значения, в свою очередь, складывается общеоценочное 'замечательный, отменный' (с лексикографической пометой «просторечное»). Возникновение общеоценочного значения прилагательного знатный сопровождается стиранием и утратой дескриптивного признака¹.

Выделение этапов эволюции части прилагательных от нейтральнооценочной до общеоценочной (эволюции, выстраивающейся как следствие изменения соотношения дескриптивного и оценочного компонентов значения) основывается на представлении современной лингвистики о месте оценки в структуре лексического значения. Это позволяет предполагать теоретически возможное определение для общеоценочных слов исходного, дескриптивного, компонента значения как мотива, основания оценки. Выделяемое дескриптивное значение диагностично как коррелят «вызова» определенного этапа историко-культурного процесса (какой признак, свойство и в какое время был маркирован как социально значимый и обобщен до общеоценочного). В связи с этим (имея в виду диахронные исследования) мы хотели бы обратить внимание на необходимость учитывать и типологию дескриптивных признаков в значениях, сформировавших общую оценку, с точки зрения историко-культурной вероятности/обусловленности. Обратиться к этой стороне вопроса об оценочном значении нас побуждают, с одной стороны, цели нашего исследования. С другой стороны, этот момент не привлекал внимание в диахронических построениях, о чем свидетельствует сделанный без оговорки вывод В.И. Абаева при выяснении этимологии осет. хорз|хварз 'хороший, добрый': «Любое приятное качество может быть обобщено до уровня 'хорошего' вообще, а любое неприятное – до уровня 'дурного'»². Любой признак – это если смотреть с точки зрения многообразия культур во времени и пространстве. Фактически же только определенный признак, отмеченный в культуре (сознании этноса), способен через устойчивую маркированность в

¹ Чернякова Т.А. Закономерности формирования и развития оценочного значения... С. 75.

² Абаев В.И. Историко-этимологический словарь осетинского языка. М.; Л., 1989. Т. 4. С. 218.

социуме стать знаком частной и/или общей оценки. Поэтому столь диагностичны в историко-культурном отношении семантические модели, по которым возникли общеоценочные значения.

Именно лексика с общеоценочным значением, фиксирующая выбор, предпочтения определенного времени через обобщение конкретного признака до максимально значимого и мотивирующего общую оценку, особенно интересна в лингвокогнитивном аспекте. Лексика эта изначально идеологична, поскольку несет информацию о характерных для данного уровня культуры представлениях о том, что хорошо и что плохо, а следовательно, что желательно и что должно. Это, в свою очередь, свидетельствует о тесной связи оценочности с модальностью необходимости: оценка соотносится с долженствованием прежде всего в социальном аспекте, отражая принятые стереотипы.

Как уже говорилось выше, оценочность рассматривается как вид модальности: оценка во многих случаях входит как один из компонентов в конструкции, в основе которых лежат другие модальности. Аксиологическая модальность сложными способами связана с модальностью долженствования: переход от фактического высказывания к высказыванию долженствования и императиву проходит через промежуточный этап высказывания с оценочным значением, которое определяет выбор. Оценочная модальность, таким образом, оказывается связующим звеном между ассерторической и деонтической модальностями¹. Оценки появляются в любых модусах, так или иначе связанных с желанием. Оценочный аспект содержат и другие модальности, где имеется взаимодействие модального субъекта и субъекта действия (модальность просьбы, модальность совета, модальности запрещения, предостережения, угрозы). «Можно предположить, что почти любая неиндикативная модальность так или иначе включает оценочный элемент и что взаимодействие оценочной модальности с другими модальностями представляет закономерность»².

В последние десятилетия появился ряд специальных лингвистических работ, авторы которых, отталкиваясь от логико-

¹ *Вольф Е.М.* Функциональная семантика оценки. С. 122 (с историей вопроса).

² Там же. С. 130.

философских концепций, пытаются описать семантику оценочных операторов «хорошо/плохо» в лингвистических терминах. Несмотря на то, что аксиологический оператор имеет два значения – «+» и «-» («хорошо» и «плохо»), в лингвистических описаниях, как и в логико-философских, исследуется обычно лишь «хорошо», а «плохо» остается в тени. Считается, что это отражает известную асимметрию положительных и отрицательных обозначений в языке (общая позитивная ориентация языковой нормы, и – как следствие – испытуемые в первую очередь называют позитивный член антонимической пары, выше частотность положительных ассоциаций). Возможно, сказывается бóльшая эгоцентричность положительной оценки: оценки зоны «+» чаще ориентированы на отношение субъекта к событию (зона «-» предпочитает указание на свойства и действия объекта, хотя бы и вымышленные)¹.

В результате лингвистического анализа были определены специфические свойства семантики слова *хороший*, и прежде всего то, что значение общеоценочного показателя не может быть выяснено в отрыве от определяемого, обозначающего объект оценки (Vendler, Ziff, Katz). Именно виды объектов и семантика сочетаний со словом *хороший* стали основой классификации типов оценки, которую предложил Х. фон Вригт. Он выделяет шесть «форм добра»: 1) добро инструментальное (*хороший нож, часы*); 2) техническое (*хороший шофер, оратор*); 3) медицинское (включая такие объекты, как глаза, сердце, память); 4) утилитарное, подразумевающее пригодность, полезность для определенной цели (*хороший план, случай, хорошая новость*); 5) гедонистическое (*хороший запах, вкус погода*); 6) добро человека (*хороший поступок, намерение*)².

«По существу все многообразие предметов человеческой деятельности, общественных отношений и включенных в их круг природных явлений может выступать в качестве «предметных ценностей» как объектов ценностного отношения, то есть оцениваться в плане добра и зла, истины и неистины, красоты и безобразия, допустимого или запретного, справедливого или неспра-

¹ Вольф Е.М. Функциональная семантика оценки. С. 20.

² Вригт Г.Х. фон. Логико-философские исследования: Пер. с англ. М., 1986.

ведливого и т.д.»¹. То есть оценка составляет основу любого вида человеческой деятельности и является одной из наиболее общих психических функций. Отсюда проистекает целесообразность параллельного рассмотрения культурологических и когнитивных аспектов оценочной семантики, разработки основ лингвокогнитивной теории как частных оценок, так и общей оценки. Эти аспекты оценочной семантики разрабатывались М.В. Писановой на материале русского и испанского языков как выявление национально-культурных аспектов оценочной семантики в эстетической и этической оценках².

Семантическое пространство оценочных значений, структурируемое с помощью тезауруса, мы, вслед за другими исследователями этой проблемы, рассматриваем как реальное таксономическое отображение эмпирического и теоретического знания о мире, в котором сконцентрирован национально-культурный опыт языковой общности. Динамический характер семантической структуры естественного языка позволяет сделать предположение, что оценочные значения могут быть объектом гибкого моделирования. Следовательно, важен и исторический подход к оценочному значению, находящемуся в неразрывной связи с дескриптивными компонентами семантики слов, выявление содержательной динамики в дескрипции разного типа оценок и их соотносимость с различными историко-культурными моделями. Лексико-семантическая группа слов, сформировавших и выражающих общеоценочное значение, рассматривается здесь как мировоззренческий конструкт естественного языка, специфицирующий национальные культуры на фоне мировой.

Диахронический подход к анализу языковых средств выражения качественной оценки действительности по признакам «хороший»/«плохой» позволяет поставить ряд вопросов, важных как в историко-лингвистическом отношении, так и в лингвокогнитивном и лингвокультурологическом. То же самое можно сказать и об исследовании категории модальности в целом (вопрос о необ-

¹ Философский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 765.

² Писанова Т.В. Национально-культурные аспекты оценочной семантики (эстетическая этическая оценки): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1997.

ходимости изучения модальности в историческом аспекте для полноты представления о специфике оформления этой категории в ее современном состоянии ставился еще в работе М.В. Ляпон, 1971 г.¹). Что касается общей оценки, то здесь диахроническое исследование может ставить и решать, например, вопросы следующего типа. К какому времени относится становление общеоценочной оппозиции? Какова динамика языковых средств представления этой оппозиции? Что за нею стоит, какие социально значимые признаки окружающего мира или отношений между людьми были «канонизированы», востребованы определенной историко-культурной ситуацией? В аспекте этих вопросов проанализируем лексемы, выражающие общую мелиоративную оценку.

Д о б р ы й

Ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что у славян наиболее ранними и основными языковыми средствами обозначения полюсов оценки являются **добрый** и **злой** (*добро* и *зло*). Несмотря на то, что в современном русском языке слова *добрый* и *злой* фактически утратили семантику общей оценки, она видна еще в отдельных употреблениях, ср. *добрая весть*, *добрый молодец*, *добро* и *зло* и др. Процесс вытеснения с позиции общей оценки этих лексем синонимами наблюдается и в других славянских языках, что, вероятно, связано с процессами демократизации литературных языков славян², тем не менее в славянских языках, кроме русского и украинского, значение ‘хороший’ остается у продолжений слав. *dobъгъ (ср. болг. *добър*, чеш., слвц. *dobrý*, польск. *dobry* ‘добрый, хороший; хорошего качества, полезный’ и т.п.). *Злой* (*zъlъ) в большей степени теснят синонимы, преимущественно экспрессивы по происхождению (ср. укр. *поганий*, *злий*, *слабий*, чеш. *špatný*, *zlý*, польск. *kiepski*, *zły*, *marny* при словен. *hud* ‘злой, плохой’, с.-хорв. *худ* ‘дурной, плохой; бедный’).

¹ Ляпон М.В. Из истории выражения модальности в русском языке (на материале сочинений Курбского): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1971. С. 3.

² Фелькина О.А. Развитие семантики. С. 9.

В исторической перспективе самые поздние и новые обозначения положительного и отрицательного полюсов оценки – русские *хороший*, *плохой* – имеют целый ряд своих предшественников. Уже на общеславянском уровне представлены в общеоценочной функции производные от *dobъ, *zъlъ, *blag, *lъrъ, *xud-, *lix-, (?) *lad-, более узко, в части славянских языков, включая русский, известны с этим значением продолжения *durn-, *l'ut-, *kras-n-, и, наконец, в русском – *хороший*, *плохой*. Наши привычные средства выражения полюсов оценки оказываются сравнительно молодыми, новыми: *хороший* в этой роли используется с XVI в. (отдельные употребления с XII, XIV вв.), *плохой* – эпизодически в различных памятниках XV–XVIII вв.

Начнем с языковой представленности первого противочлена оппозиции «хороший – плохой». Русское *добрый* имеет соответствия во всех славянских языках. Общеоценочность слав. ***dobъ** проявляется в широком спектре референции: это ‘подходящий, свойственный’, ‘годный, пригодный (о людях)’, ‘подходящий, благоприятный (о времени)’, ‘надлежащий, безупречный; дельный, умелый’, ‘добрый (о людях)’, ‘имеющий необходимые качества, хороший (о вещах)’, ‘урожайный (о земле)’, ‘сильный, быстрый (о коне)’, ‘здоровый, полезный’, ‘удачный, счастливый’. Генетически оно определяется бесспорно близким слав. ***doba** ‘то, что подходит, свойственно’, ‘(подходящее) мера, способ, форма, вид’, чаще ‘подходящее время, пора’, ***dobo** ‘время, пора’, ***dobъ** ‘время, пора, способ’, ***dobъ** ‘хороший, красивый, здоровый’¹. Эти славянские образования считаются продолжением и.-е. ***dhabh-** ‘прилаживать; подходящий’ и его производного и.-е. ***dhabh-ro-**².

Однокорневые образования от и.-е. ***dhabh-** есть также в германских и балтийских языках. Германские соответствия представлены гот. *ga-daban* ‘подобать, подходить’, *gadōfs* ‘приличест-

¹ Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд / Под ред. О.Н. Трубачева. М.: Наука, 1978. Вып. 5. С. 38, 40, 47, 50 = ЭССЯ; *Аникин А.Е.* Этимология и балто-славянское лексическое сравнение в праславянской лексикографии: Материалы для балто-славянского словаря. Вып. 1 (*а- – *go-). Новосибирск: Сибирский хронограф, 1998. С. 214–216.

² *Pokorny J.* Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern, 1959. Т. 1. S. 233–234 (= *Pok.*).

вующий, подходящий’, др.-англ. *ge-dafenian* ‘быть годным, подходящим’, *ge-dafen* ‘подобующий, подходящий’, др.-исл. *dafna* ‘делаться ловким, сильным’ и др.¹ Это преимущественно глаголы и отглагольные прилагательные. Им в славянских и балтийских языках соответствуют отыменные глаголы: **po-dobati*, **po-dobajet* ‘приличествует, следует’ (южн., вост.-слав.), ‘любить, иметь склонность’ (зап., вост.), **podobati se* ‘походить на кого-, что-либо, нравиться’ с точным соответствием в лтш. *dabât* ‘быть удобным, благоволить’. Славянское **dobiti* ‘делать подходящим’, **podobiti* ‘придавать нужную форму, вид’ и ‘украшать, наряжать’ (ср. чеш. *dobiti* ‘формовать’, в.-луж. *debić* ‘украшать, наряжать, чистить’), **podobiti se* ‘быть похожим’, **szdobiti* ‘улучшать, наряжать’ и **udobiti* ‘придавать нужную форму, вид, украшать’ сопоставляются с литов. *dabinti* ‘украшать, наряжать, применять, приспособливать’, *dabintis* ‘стесняться’, *dabûti* ‘(с)наряжать’²]. Отличие славянских и балтийских однокорневых образований от германских в их соотносительности с именной формой **doba* (славянские – словен. *dôba* ‘пора, подходящее время, срок, возраст, образ, способ’, н.-луж. *doba* ‘удобное время, пора’, ‘сутки’, ‘время’, ‘мера, степень’, др.-рус. *подобa* в значении ‘способ (действия), поведение, вид, облик’ и др., балтийские – литов. *dabà* ‘природа, свойство, характер’, *labdabls* ‘хорошего вида’, лтш. *daba* ‘вид, способ, характер, природное свойство’, *dabìgs*, *dabìskas* ‘природный’³). На этом балто-славянские сходжения не заканчиваются: балтийской основе **dabn-* (литов. *dabnùs* ‘изящный, красивый’) соответствует слав. **добнь-* (ср. рус. *удобный*, *подобный* и т.п.); славянское **dobъ-* ‘хороший, добрый’ (=‘подходящий’) при балтийском **dab(a)ra*, **dab(e)ra* (литов. *dabar* ‘теперь’, *dabartis* ‘современность’, *dābar* ‘еще’, прус. *dabber* ‘еще’). Семантическое различие между балтийскими и славянскими фактами может быть объяснено разной степенью обобщенности семантики: «лит. *dabar*

¹ *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка: В 4 т. М.: Прогресс, 1964. Т. 1. С. 519–520; Пок. 1. С. 233–234; *Lehmann W.P.* A gothic etymological dictionary. Leiden: E.J. Brill, 1986. S. 134–135.

² ЭССЯ 5. С. 39–40; *Аникин А.Е.* Этимология и балто-славянское... С. 215; *Słownik prasłowiański / Pod red. F. Sławskiego.* Т. 1–7. Wrocław etc., 1974–1995. Т. 3. S. 290 (= SP).

³ ЭССЯ 5. С. 29–39; *Аникин А.Е.* Этимология и балто-славянское... С. 214.

можно понимать как ‘соответствующий данному времени’, а слав. *dobъ – как ‘соответствующий...’, ‘подобающий...’ и т. д. – не только во временном плане»¹. Литовское dabar ‘теперь’, dābar ‘еще’, прус. dabber ‘еще’ имеют соответствие в функционально подобном употреблении в усилительном, частично-модальном значении др.-рус. *dobъ* ‘очень, весьма, чрезвычайно’, рус. диал. *дóбрэ* ‘очень, весьма’, ‘совсем’, ‘много’, ‘долго’, *добрó* ‘в самом деле’, ‘точно’, ‘однако’, ‘все-таки’ и т. п.²

На фоне такой формально-семантической близости славянских и балтийских рефлексов и.-е. *dhabh-г-, с одной стороны, и германских – с другой, подчеркнем еще одно отличие, которое нас интересует прежде всего: общеоценочное значение развилось только у славянской формы. Вследствие этого возникает вопрос: каков путь этого как будто бы собственно славянского становления общеоценочного значения?

Этот вопрос рассмотрен с позиций семантического синкретизма, механизмов его эволюции – трансформации синкретичного значения – на материале древнерусского языка М.В. Пименовой³. Преодоление исходного семантического синкретизма, по мнению автора, достигается в данном случае через включение механизма формальной деривации: «...отдельными производными лексическими единицами, ставшими относительно самостоятельными с точки зрения семантики, постепенно закрепляется тот или иной компонент первоначально диффузного значения»⁴. По мнению М.В. Пименовой, синкретизм этимона *dob- производное слово *добрый* преобразует в мелиоративную общую оценку, в положительную этическую оценку, определяющуюся ценностями христианского идеала, в рационалистическую оценку, определяющуюся тривиальными ценностями (утилитарные, телеологические, нормативные значения: ‘благоприятствующий, благополуч-

¹ *Топоров В.Н.* Прусский язык: Словарь. Т. 1. 1975. С. 284.

² Там же; Словарь русских народных говоров. Вып. 1–37. М.; Л.: Наука, 1972. 2003. Вып. 8. С. 75–77 (=СРНГ).

³ *Пименова М.В.* Эстетическая оценка в древнерусском тексте: Дис. ... д-ра филол. наук. СПб., 2000. С. 237 и след. (=2000а); Она же. Семантический синкретизм и синкретсемия в древнерусском языке. СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 2000. С. 9–10 (=2000б).

⁴ *Пименова М.В.* 2000б. С. 9.

ный; подходящий'). Элемент *добр-* активно участвует в представлении абсолютной эстетической оценки совокупности признаков предмета (явления, процесса, состояния), воспринимаемых зрительно (*добровидный, доброличный* и др.), на слух (*доброгласный, доброязычный* и т.п.), при помощи органов обоняния (*добровоние, доброухание* и др.). Значение этической оценки, связанной с нравственным кодексом воина, выражают производные от *добл'-* (продолжение **dob-*), такие как *добле, прѣдоблиш, доблестный* и под. Префиксально осложненное *доб-* реализует утилитарно-рационалистическую оценку, связанную с физической или психической пользой или ее отсутствием (*удобь, удобьей, удобие, удобьный* и под., *бездобь, бездобьный*). Deskриптивное значение сохраняют продолжения *доб-* с префиксом *по-* (*подобие, подобный, подобник, подобитель*) и производные от *добл-, добел-, дебел-* (*добель, добельство, дебелый, доблито* и т.п. в значениях 'толстый, тучный, полный, крупный', 'толстеть' и под.)¹.

Нельзя не согласиться с выводом автора исследования, что «разрешением/расщеплением синкретичного значения в средневековый период не заканчивается история семантического синкретизма и синкретсемии как лексико-семантической категории, поскольку в соответствии со «спиралеобразным» движением языка, мышления и сознания в XIX–XX вв. вновь наблюдается тенденция (но уже на новом «витке» истории, на новом уровне развития) к нерасчлененному объединению представлений и понятий...»². Действительно, дискретизация окружающего мира, сведений о нем все время сопутствует человеку познающему (*homo cogitans*), накопление знаний, впечатлений ведет к усложнению понятий, представлений (в разной степени на разных этапах развития культуры), усложнение, «разбухание» понятия ведет к его расчленению, на уровне языка происходящему как процесс формальной и семантической деривации. Следовательно, синкретсемия сопровождает развитие понятий, являясь определенным и периодически формирующимся этапом их истории, получающим выражение в языке.

¹ Пименова М.В. 2000б. С. 9.

² Там же.

Соглашаясь в принципе с таким представлением истории становления общеоценочного значения слав. *dobъ, отметим те моменты, которые остаются проблемными. Во-первых, сближение *добрый*, *доблесть* и *дебелый* предполагает чередование и.-е.*dhabh- с и.-е.*dhab-, которое признается возможным не всеми этимологами: они считаются вариантами одного корня в словарях А. Преображенского, М. Фасмера и П.Я. Черных¹, разграничиваются как разные корни Э. Бернекером и В.Н. Топоровым². К производным и.-е.*dhab- относят рус. *дебелый*, диал. *доболый* ‘крепкий дюжий, плотный, здоровый’ и родственную им лексику славянских языков, др.-в.-нем. *tarfar* ‘храбрый, сильный, крепкий’, др.-исл. *darǫ* ‘тяжелый, мрачный’, ср.-ниж.-нем. *dapper* ‘тяжелый, сильный, храбрый’, нем. *tapfer* ‘храбрый’. В этот ряд В.Н. Топоров включает и балт. прусск. *debīkan* ‘большой’, *dabli* ‘обильно’, *dabligs* ‘роскошный’³, сближая *дебелый*, *дебелеть* со слав. *debatī, *debēti (< и.-е. *dheb-) ‘бить, ломать’: ‘сбитый’, ‘сбитень’ → ‘плотный, крепкий’⁴. Но, в свою очередь, *дебелый* непосредственно отграничивается от производных основы *dobl’- (< *dobъ, того же корня, что и *doba, *dobъ): ст.-слав. *добль* ‘доблестный, мужественный’ (близкие по значению слова – *доблестьнь*, *крплькъ*, *сильнь*⁵), др.-рус. *доблий* ‘крепкий, сильный (телом)’; ‘доблестный, мужественный’; ‘искусный в ответах’, словен. *dóbālǝj*, *dóbļa* ‘способный, годный’, рус. *доблесть*, причем др.-рус. (с XI в.), ст.-слав. *дебелый* ‘толстый’, как и болг. *дебѣл*, с.-хорв. *дѣбео*, могло относиться и к людям, и к вещам (ср. *дебелые бревна*, *дебелая стена*, с.-хорв. *дебло* ‘ствол дерева’ и др.); производные основы *dobl’-, как и *dobel- (>*debel-) отсутствуют в запад-

¹ Преображенский А.Г. Этимологический словарь русского языка. Т. 1–2. М., 1910–1914. Вып. последний // Тр. Ин-та рус. яз. 1949. Т. 1. С. 176; Фасмер М., 519–520; Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. Т. 1–2. М., 1994. Т. 1. С. 258.

² Топоров В.Н. Прусский язык... 1. С. 310–312; Berneker E. Slavisches etymologisches Wörterbuch. Bd. 1–2. Heidelberg, 1908–1913. Bd. 1. S. 205.

³ Топоров В.Н. Прусский язык... 1. С. 310–312.

⁴ Там же.

⁵ Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков) / Под ред. Р.М. Цейтлин, Р. Вечерки, Э. Благовой. 2-е изд., стер. М., 1999. С. 190.

нославянских языках¹. При таком формально-семантическом пересечении, наверное, есть основания либо предположить лексическую аттракцию, либо признать *dhab(h)- корнем с вариативной финалью (прецедентов подобного немало). В случае признания вариативности *dhab(h)- появляется возможность определить дескриптивный признак, запечатленный этим языковым знаком, признак, имевший столь высокую социальную значимость, что смог стать точкой отсчета для формирования оценочного значения: ‘сильный, крепкий/плотный, тяжелый’; ‘храбрый’ (релевантные признаки) как основа обобщения ‘подходящий, соответствующий’. Указанная модель с точки зрения историко-культурной типологии достаточно вероятна.

Во-вторых, что касается праслав. *doba, то анализ производных и.-е.*dhab(h)- ‘соответствовать, подойти’ показывает, что это проявление славяно-балто-германского регионализма – отголоска того времени, когда в обозначенном историко-культурном регионе человек находил языковые средства оценки своих отношений с внешним миром («нормативная», позитивная оценка). Синкретизм этой региональной языковой единицы видится в нерасчлененности в ее семантической структуре дескриптивного и оценочного значений (дескриптивное значение, осложненное оценочной коннотацией?). И производное *dhabh-г-, вероятно, представляет два варианта преобразования синкреты *dhabh-: в варианте балтийских языков (литов. dabar ‘теперь’, dābar ‘еще’, прус. dabber ‘еще’) обобщение получил, видимо, дескриптивный компонент значения, а в славянском – оценочный. В славянских же языках актуализация оценочного потенциала значения *dob- произошла не только у производного (*dobъгъ), но и ареально у продолжений неосложненного производящего, ср. рус. диал. *доббй* ‘хороший’ (пск.), *доб* (кратк. прилаг.) ‘хорош’, *доб* (сущ.) ‘избалованный, баловень’ (ср.-урал.), *доб*, *-а*, *-о* ‘добр, хорош’ (пск., новг., горьк.), ‘силен, здоров’ (смол.), *доб-здоров* ‘в совершенном здоровье’ (пск.), *доб-парень* ‘красивый парень’ (новг.), укр. диал. *дббый* ‘хороший’ (мукач.)².

¹ Преображенский И. С. 176; Фасмер И. С. 490, 519–520.

² ЭССЯ 5. С. 47.

В рассмотренной славяно-балто-германской изоглоссе есть и еще одна проблемная сторона, касающаяся расширения ее границ. Дело в том, что практически все авторитетные исследователи относят, хотя и с разной долей уверенности, к и.-е. *dhabhr- лат. *faber*, -i ‘мастер, ремесленник, художник, кузнец’ (у Плавта: *faber ferrarius* ‘кузнец’, у Горация: *faber aeris* ‘медник, чеканщик’, у Цицерона: *faber tignarius* ‘плотник’), *faber*, *bra*, *brum* ‘мастерской, искусной работы, художественно выполненный’, *fabrica* ‘ремесло, мастерство, изделие’ и арм. *darbin* ‘кузнец’¹. При их формально-семантической близости балто-славянским производным основы *dhabhr- (семантически как ‘подходящий, годный/способный’ > ‘мастерской’) бросается в глаза и резкое отличие по статусу, функциям: если слав. *dobъгъ и балт. *dab(a)г- являют собой определенные элементы системы однокорневых слов, то *faber* и *darbin* изолированно представлены в латинском и армянском языках, терминологичны. То есть в этих языках существуют производные по форме (*dhabh-r-) и значению (‘годный/способный’ > ‘мастерской’) и нет и следов производящего. Эта ситуация наводит на мысль о «Kulturwörter», и поскольку это связано с ремесленной терминологией, в частности и с обработкой металла, то заставляет предположить возможность культурного посредничества кельтов/галатов (именно они были у истоков европейской металлургии и других ремесел в Приальпийской зоне, в Средней Европе², расселились на севере Апеннинского полуострова и в Малой Азии). Такое решение снимает и противоречие, касающееся лишь частичного совпадения ареала распространения продолжений основы *dhabh- (балт.-слав.-герм.) и ее производной *dhab(h)-го- (арм.-лат.-балто-слав.-герм.) при аккумуляции мелиоративного значения только в праславянском (мелиоративное значение, которое следует предполагать производящим для лат. *faber* и арм. *darbin*). Оно также определенным образом интерпретирует ареал распространения инновации – общеоценочное значение у части

¹ *Рок. I. С. 233; Фасмер I. С. 520–521; ЭССЯ 5. С. 46; Топоров I. С. 282.*

² *Седов В.В. Славяне: Историко-археологическое исследование / Ин-т археологии Рос. академии наук. М.: Языки славянской культуры, 2002. С. 79–88; Шукин М.Б. Кельты, германцы и исчезнувшие бастарны // Язык и культура кельтов: Материалы VII Коллоквиума (Санкт-Петербург, 29 июня–1 июля 1999 г.). СПб.: Наука, 1999. С. 56.*

продолжений *dob- (рус. диал. *добой*, укр. диал. *дбый*, см. выше): он совпадает с территорией крайне восточного продвижения кельтов (псковский ареал, Галиция), с определяемым кельтским компонентом в составе зарубинецкой культуры¹. Это предположение, конечно же, всего лишь попытка как-то интерпретировать вскрываемые языковыми фактами противоречия (слав. *dob- и слав. *dobъ – лат. *faber* и арм. *darbin*) через соотнесение их с историко-культурными, историко-археологическими материалами и их оценкой. Значительной степени гипотетичности невозможно избежать в силу отсутствия языкового материала вследствие исчезновения кельтских языков Средней Европы, в силу фрагментарности материала живых языков по причинам внутреннего и внешнего для языков порядка, поздней письменной традиции в этой зоне вечного евроазиатского «фронттира», культурного диалога.

Дальнейшая история прилагательного *добрый* связана с поэтапной утратой общеоценочной функции. Поскольку в церковнославянской литературе наиболее актуальным из оценочных значений является значение положительной этической оценки, то это сказывается и на семантике общеоценочных слов, вызывая определенную ее трансформацию: *добрый* активно употребляется в значении положительной оценки с позиций христианской морали и участвует в формировании нового синонимического ряда (*добрый – прпдобный, правдъный, истинный, вѣрный, чистый, чистотный, безгрѣшный, непорочный и др.*). В языке повествовательно-исторической и светской художественной литературы, в языке частной переписки и документов актуализировались другие разновидности семантики общей оценки (напр., *добрый челоукъ, мужъ* означает ‘хозяйственный, порядочный, уважаемый, дееспособный’, а не ‘праведный, добродетельный’) и синонимизируется с другим рядом слов (типа *изрядный, бесподобный, отличный*), которые в церковнославянском языке выражали бы скорее отрицательную оценку². С началом демократизации литературного русского языка уже в XVI в. *добрый* периодически заменяется на хо-

¹ *Мачинский Д.А.* О культуре Среднего Поднепровья на рубеже скифского и сарматского периодов // КСИА. Вып. 133. 1973. С. 3–9; *Седов В.В.* Славяне. С. 128.

² *Фелькина О.А.* Развитие семантики. С. 10.

роший, а в XVII–XVIII вв., будучи маркированным как церковно-славянизм, употребляется преимущественно для выражения этической оценки (там же). В современном русском языке в семантике лексемы *добрый* основным стало частнооценочное значение, выражающее этическую оценку (‘расположенный к людям, отзывчивый, исполненный доброты, сочувствия к ним, готовности помочь’), но в семантической структуре этого прилагательного сохраняется комплекс значений, представляющих собой реализацию общеоценочного компонента (правда, подаваемый традиционно как набор отдельных, самостоятельных значений): ‘хороший, нужный, полезный людям’ (*добрый совет, доброе дело*), ‘благоприятный, несущий благо, успех, радость’ (*добрая весть, в добрый час, доброго здоровья*), ‘очень хороший, отличный, доброкачественный’ (*добрый обычай, добрая сабля*)¹.

Подводя итоги анализа становления общеоценочного значения у слав. *dobъ, можно заключить (несмотря на некоторые остающиеся неясности), что его общеоценочное значение есть результат преобразования значения слав. *doba как (нечто) соответствующее (мере, норме), обособившегося из регионального (славяно-балто-германско-?кельтского) образования *dhabh- ‘подходящий, соответствующий’. Возможно, исходным, получившим оценочность, было значение ‘сильный, способный/храбрый’, если принимать *dhab(h)- как вариативный по финали корень). Славянское *doba с нерасчлененностью дескриптивного и оценочного значения участвует в обозначении целого ряда представлений («время, пора», «сутки», «возраст», «свойство», «вид, образ», «способ» и т.п.), оно привносит в семантику компонент мелиоративной оценки (‘подходящий, соответствующий, удобный’; ‘природный’). Аргументом в пользу изначального нормативнооценочного значения может быть тот факт, что производные от *доб-* стали не только средствами выражения оценки, но и развивали значение модальности необходимости, ср. наличие значения необходимости у производных от *доб-* (с префиксами *по-* и *на-*): др.-рус. *подоба* (в сост. сказ) ‘следует, подобает’, *въ подобу* ‘верно, справедливо’, ‘подобующим, надлежащим образом’ (1073 г.), *внѣ подобы* ‘не-

¹ Словарь русского языка: В 4 т. / Гл. ред. А.П. Евгеньева. 2-е изд., испр. и доп. М.: Рус. яз., 1981. Т. 1. С. 410–411 (=МАС).

возможно, сверхъестественно' (XII–XIII вв.), др.-рус. *надобѣ* (наречие с вариантами *надобѣ*, *надобеть*, *надобеть*, *надобно*) в составе безличного сказуемого встречается в текстах XI века в значении 'надо, нужно, необходимо, требуется' (прилагательное *надобный* 'нужный, необходимый' с XIV в.)¹.

Свидетельство общеоценочного характера слав. **doba* представляет и прозрачная словообразовательная история его производных в сравнении с употреблением в общеоценочном значении структурно простой, непроизводной формы. Так, *надобѣ* – это форма дат./мест. падежа др.-рус. *надоба* 'надобность, потребность', продолжением которого в современном русском выступает слово *надобность* 'необходимость, потребность', *надо*, *надобно* (устар. и прост.), *надобный* (устар.), диал. *надоть*²; др.-рус. *подоба* имеет значения 'способ (действия), поведение', 'вид, облик' и 'подобие, сходство' (XI в.), затем 'то, что подобает, потребно, нужно' (*надобѣ*, **подобѣ*, **по добѣ* – это собственно = *'по мерке, по принятому образцу', значение, которое можно считать инвариантным для лексем *подоба*, *подобие*). С этой производной лексикой соотносится непроизводное – ст.-рус. *доба* (XVI в.) 'польза, выгода' и рус. диал. *добой* 'хороший' (пск.), *доб*, *-а*, *-о* 'добр, хорош' (пск., новг., горьк.), *доб-здоров* 'в совершенном здоровье', *доб-парень* 'красивый парень', укр. диал. *добый* 'хороший'³. Спектр значений *доб*- и его производных хорошо согласуется с положением о том, что в переходе от ассерторической к деонтической модальности промежуточным этапом оказывается оценочное значение, которое и определяет выбор (об этом выше).

О синкретичности слав.**doba*, видимо, можно говорить в том плане, что семантика этой лексемы отражала отсутствие осознания на том уровне культуры ценностного различия разных сфер человеческой жизни. Если в слав.**doba* следует полагать нерасчлененность дескриптивного и оценочного компонентов, то в производном от него слав.**dobъ* дескриптивная часть значения

¹ Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1–26. М.: Наука, 1975–2002. Вып. 10. С. 72 (=СлРЯ XI–XVII вв.).

² *Berneker I.* С. 203; *Фасмер III.* С. 38; *МАС II.* С. 345.

³ Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 10. С. 72; ЭССЯ 5. С. 47; СРНГ. Вып. 8. С. 72–73.

гасится, на первый план выступает оценочная. *Добрый* (слав.*dobъ) выступает как специализированное языковое средство выражения мелиоративной общей оценки, ситуативно (контекстуально) выступая в функции различных частных оценок (этической, эстетической, утилитарной и т.д.).

В верификационном отношении интересно сопоставить изложенную историко-этимологическую характеристику *добрый* и семантический «портрет», получившийся в результате логико-семантического анализа синонимичной пары *добро* – *благо*, анализа, основанного на особенностях функционирования этих лексем в современном русском языке. Выделенные И.Б. Левонтиной смысловые константы языковых знаков *добро*, *добрый* («Добро абсолютно...<...> Представление о добре может измениться только вместе со всей ценностной шкалой человека. <...> Добро внутри человека, благо вне его. <...> Добро рассматривается как абсолютная ценность и поэтому способно обозначать абстракцию высокого уровня»¹) вполне соотносятся с исходным значением как реализация потенциала обобщения мелиоративной оценки, представленной еще на праславянском уровне. Общеоценочное значение, сформировавшееся на основе исходного – ‘соответствующее мере (оценке, норме)’, изначально ориентировано на оценку и внешнюю (с точки зрения социума), и внутреннюю (с точки зрения человека как части социума). В средневековой истории *добрый* в части славянского ареала оказалось втянуто в сферу влияния иной культуры, иных смысловых оппозиций, и это сказалось на его функционально-семантических особенностях: в истории русского языка оно получило стилистическую маркировку и стало употребляться преимущественно в функции этической оценки.

¹ Левонтина И.Б. ДОБРО 1, БЛАГО 1 // Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Вып. 1. 2-е изд., испр. / Ю.Д. Апресян, О.Ю. Богуславская, И.Б. Левонтина и др.; Под общ. рук. Ю.Д. Апресяна. М., 1999. С. 79–82.

Г о д н ы й

Рефлексы праслав. *godьpь(jь) в одних славянских языках выражают утилитарную оценку (болг. *góden* ‘годный, подходящий’, диал. ‘удобный, выгодный’, рус. *годный* ‘могущий быть полезным, пригодным, подходящий, удобный’), в других она совмещается с этической (н.-луж. *gódnju* ‘годный, способный, благоприятный, удобный’, ‘достойный, важный, приличный’, польск. *godny* ‘достойный, подходящий, подобающий’ и (стар.) ‘крупный, значительный’, слвц. разг. *hodny* ‘хороший, порядочный, добросовестный’), дополняется гедонистической, эстетической (с.-хорв. *godan* ‘годный, способный’, ‘приятный, угодный’, ‘красивый’, чеш. *hezký* ‘красивый, хороший (в нравственном отношении)’, укр. *гідний* ‘годный’, *годний* ‘почтенный, достойный, уважаемый, хороший’, ‘достойный, стоит’, ‘согласный’, диал. ‘красивый, хороший’). Реализуясь в славянских языках в широком спектре частных оценок, слав. *godьpь на общеславянском уровне представляет общую мелиоративную оценку.

Семантические параметры, определяемые на основании предполагаемого исходного (инвариантного) значения ‘подходящее время, срок’ для существительного *godь, позволяющим считать производящим для него, как и для прилагательного *godьpь(jь), скорее глагол *goditi¹ (хотя М. Фасмер предполагает, наоборот, отыменной характер глагола, а В. Махек разделяет *godь и *goditi²).

Семантические отношения в этимологическом гнезде праслав.*goditi, где в семантической структуре его продолжений в славянских языках представлен широкий круг значений, позволяют группировать их как обозначение действия ‘улаживать/уладить’ с широким спектром его реализаций: ‘ждать/выбирать (подходящий момент)’, ‘метить, целить’, ‘создавать благоприятные условия, угождать’, ‘мирить, договариваться’, ‘соединять’ – и состояние в результате этого действия (‘подходить, соответствовать’, ‘удовлетворять, нравиться’): ст.-слав. *goditi* ‘угождать, удовлетворять’, макед. диал. *годи* ‘нравиться,

¹ ЭССЯ 6. С. 192–193.

² Фасмер I. С. 426; Махек. С. 129.

быть приятным’, польск. *godzić* ‘приводить к соглашению, мирить’, ‘соединять’, ‘нанимать’, ‘рядиться’, ‘метить, целить’, ‘бить, поражать’, с.-хорв. *gòditi* ‘заключать (сделку, договор)’, *gòditi* ‘веселиться, пользоваться’, рус. стар., прост. *годить* ‘ждать’, диал. *годить* ‘метить, целить во что-л.’, ст.-укр. *годити* ‘создавать благоприятные условия’, укр. *годити* ‘угождать, помогать’ и т.п.¹ Анализ семантического спектра не дает оснований не согласиться в принципе с предлагаемой реконструкцией слав. **godъ* как ‘подходящее время, срок’, праслав. **goditi* как ‘делать что-либо в добрый час, разумно, впадать’, ‘попадать’, откуда в славянских языках значения ‘нравиться, ‘медлить’, ‘целить(ся)’, ‘бросать’², которые можно интерпретировать как ‘выбирать/выбрать подходящий (годный) срок, способ действия, объект’, иначе говоря, ‘улаживать/уладить’.

Если праслав.**goditi* признается производящим в гнезде однокорневых слов, то относительно возвратной формы *годиться* есть предположение о более позднем ее возникновении и о влиянии именной семантики на становление позднеслав. **goditi se* («возвратная форма возникла позже и в своем развитии связана с *годный*»³), т.е. ‘быть годным’ = ‘годиться’. Более позднее становление возвратной формы отразилось в том, что русскому *годиться* ‘быть годным’ (=‘способным удовлетворять определенным требованиям’), ‘подходить’ (ср. *годиться в отцы*) соответствуют с тем же значением глаголы лишь в восточнославянских и западнославянских языках (напр., польск. *godzić się* ‘договариваться, соглашаться’ ‘наниматься’, ‘годиться, подходить’, ‘приходиться (друг другу, о родне)’). Иная ситуация сложилась в южнославянских, где с.-хорв. *gòditi se* означает ‘казаться’, словен. *goditi se* ‘удаваться, получаться (о делах)’, ‘происходить, случаться’, и не всегда формы с залоговой частицей соотносятся по семантике с формами без этой частицы (ср. с.-хорв. *gòditi* ‘заключать (сделку, договор)’ при *gòditi se* ‘казаться’, чеш. *hoditi* ‘бросить, швырнуть, метнуть’, диал. *hodit* ‘бросить, оставить’, *hoditi se* ‘броситься, кинуться’, ‘подходить, соответствовать’ при *hodnota* ‘стои-

¹ ЭССЯ 6. С. 188–190.

² Черных I. С. 198–199; ЭССЯ 6. С. 192–193.

³ Черных I. С. 198–199.

мость', 'достоинство', 'ценность' и др.). В то же время, др.-рус. *годити* 'угождать' имеет пару с эквивалентным значением основы – *годится* 'годиться, подходить'¹.

Влияние именной семантики на позднеслав. **goditi se* можно видеть и в таком факте. Только в древнерусском глагол получает модальное значение: в безличном употреблении глагол *годиться* – это 'подобать, следовать'. Похоже также, что *годится* не первый из однокорневых слов, получивший модальное значение: этот глагол впервые отмечен в тексте конца XIV в.², а в текстах XI–XII вв. употребляется *годовати* в значении 'позволять', в безличном употреблении – *не годоваеть* 'не позволено, не подобает', ср. *годоюще* 'как подобает' (Ефр. Корм., 609. XII в.: *Своихъ брата твоего небрѣгущо или врага приобрѣтати не годоваеть*). В других славянских языках аналогичный глагол не отмечен в подобном значении (ср. ст.-слав. *годовати* 'нравиться', макед. *годува* 'заклучать (сделку и т.п.)', 'договариваться', 'угадывать', диал. 'обручать', с.-хорв. *годовати* 'праздновать', 'ценить, хвалить' и т.п. Праслав. **godovati* – глагол на -*ovati*, производный от имени **godъ* 'подходящее время, срок'³. Позднее в этом ряду появляется и третий глагол – *годствовать* 'подобать' (1676 г.: *Аще бо епископу, со своимъ митрополитомъ прящуся, годствуетъ судитися предъ патриархомъ, костянтинополскимъ*)⁴. Этот глагол есть и в словаре В. Даля в значении 'годиться, быть приличным'⁵. Таким образом, модальная семантика необходимости у глагола в данном случае сформировалась под влиянием именной: 'годный' – 'соответствующий определенным требованиям' (личности, общества), 'годный' ~ 'подходящий, достойный' и потому 'нужный'.

Анализ словообразовательно-семантических отношений в этимологическом гнезде **god-*, выявляющий затруднения в определении направления формальной деривации (от глагола к имени или наоборот; см. [ЭССЯ]), а также отмечаемое активное влияние именной семантики на глагольную, участие оценочной именной

¹ ЭССЯ 6. С. 189–190.

² Срезневский I. С. 536.

³ ЭССЯ 6. С. 190–191.

⁴ Словарь XI–XVII вв. Вып. 4. С. 59.

⁵ Даль I. С. 901.

семантики в формировании модального значения необходимости, — все это подталкивает к «крамольной» мысли об изначальности производящего имени, а *godънь ‘подходящий’ становится возможным интерпретировать как ‘имеющий *godъ’, ‘обладающий *god’ом/*годностью’, подобно тому как *достойный* соотносится с *достой* в выражениях типа *по достою* ‘по достоинству или стоимости’, *не въ достоу* ‘слишком дорого’¹ (ср. подобные словообразовательные проблемы в гнезде *dob-).

Сравнение с родственной лексикой других индоевропейских языков выявляет близость слав. *godъ с алб. ngē (ngeh) ‘удобный случай’, литов. tagad ‘теперь, в данное время’ и с преимущественно производными по значению германскими однокорневыми образованиями, обнаруживающими отглагольную природу (др.-в.-нем. gi-gat ‘подходящий’, англосакс. ge-gada ‘супруг; товарищ’, нем. Gatte ‘супруг’ и гот. gadiliggs, др.-сакс. gaduling ‘родственник, свояк’, англосакс. gædeling ‘товарищ’). Славянское *goditi генетически соотносимо и семантически близко к лтш. gadīt ‘попадать, приобретать, находить’, gadītîs ‘случаться, появляться’, gadīgs ‘способный, почтенный’ и, возможно, тохар. А, В kātк ‘радоваться’. С другой стороны, оно имеет родственную лексику в германских языках: герм. *gattjan, откуда др.-фриз. gadia ‘объединять’, ср.-в.-нем. ergetzen ‘радовать, улаживать’, gaten, gegaten ‘подходить друг другу’, ср.-н.-нем. gaden ‘подходить, нравиться’, англ. together ‘вместе, друг с другом’, to gather ‘собирать (урожай)’, ср.-в.-нем. vergatern ‘объединяться’ и др.²

Определяемая в таких границах изоглосса включает в себя единичные рефлексy и.-е. корня *ghadh- в албанском, балтийских и, возможно, тохарском, в германских языках это уже гнездо однокорневых слов, и полное всего эта этимологическая группа представлена в славянских языках. Славянские языки выглядят как «эпицентр» развития производных и.-е. корня *ghadh- с предполагаемым исходным значением ‘подходящий, годный’: в семантике славянских продолжений этого и.-е. корня есть все со-

¹ Словарь XI–XVII вв. Вып. 4. С. 337.

² ЭССЯ 6. С. 190, 192. Pok. 423–424. Fraenkel E. Litauisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1955. S. 127; Etymologisches Wörterbuch der Deutschen / W. Pfeifer etc. Berlin, 1993. Bd. 1. S. 488–489 (=EWD).

держательные компоненты, присутствующие в других языках у однокорневых слов лишь частично. Так, наличие у родственной лексики значения ‘подходящее время, случай’ – основание для выделения славяно-балто-албанской изоглоссы (см. выше: слав. *godъ, лтш. gadît, gadîtiês, алб. ngë). Значение ‘подходящий’ как ‘достойный, ценимый’ объединяет славянские континуанты с балтийскими (*годний* ‘почтенный, достойный, уважаемый’, чеш., словц. hodný ‘достойный, порядочный’, словц. byt’ hoden ‘быть достойным, заслуживать, стоить’ и т.д., литов. guðdas ‘честь, слава, угощение’, лтш. gùods ‘честь, слава’, gadîgs ‘способный, почтенный’). Семантическая линия развития исходного ‘подходящий’ как ‘нравящийся, близкий’ и ‘подходить (друг другу), нравиться’; ‘договариваться, объединяться’ сближает славянские рефлексы корня *ghadh- с германскими: ст.-слав. *годити* ‘угождать, удовлетворять’, польск. godzić ‘приводить к соглашению, мирить’, ‘соединять’, рус. *годиться* (в отцы, дочери и т.п.) при гот. gadiliggs, др.-сакс. gaduling ‘родственник, свояк’ и др. (выше), др.-фриз. gadia ‘объединять’, ср.-в.-нем. gaten, gegaten ‘подходить друг другу’, vergatern ‘объединяться’ и т.д., то есть здесь реализуется предполагаемая исходная семантика ‘улаживать/уладить (межличностные отношения)’, ‘быть в ладу с кем-л.’ и ‘те, с кем находишься в ладу’.

Семантика германских соответствий более однородна, акцентирует внимание на межличностных отношениях. Значимость этих отношений для древних германцев, основным занятием которых, по свидетельству античных авторов, были военные походы (как и наличие такого социального института, как *hansa*), как полагаем, и выразилась в том, что однокорневое рассмотренной лексике образование (корень в степени продления) служит в германских языках для обозначения общей положительной оценки (гот. gōþs ‘хороший’ – продолжение прагерм. *gōd, ср. англ. good, нем. gut и т.п.). Другая культура, образ жизни, ориентированность сознания славян на мирные, бытовые ситуации определила для слав. *godъпъ(жь) широкий спектр референции и функцию общей мелиоративной оценки, которая в конкретной реализации, видимо, преимущественно выступала как утилитарная оценка (ср. *угодный, выгодный, погода*). И таким образом возникает любопытное «пересечение»:

по сформировавшейся общеоценочной функции однокорневых слов выделяется славяно-германская лексико-семантическая изоглосса (у герм. *gōd общеоценочная – это единственная функция, у слав. *god-ьнь – одна из ряда функций), а по форме корня германскому *gōd ближе балтийские образования – литов. gūdas ‘честь, слава, угощение’, лтш. gūods ‘честь, слава’ (это только восточнобалтийские соответствия, в древне-прусском подобное образование не отмечено, что также показательно, учитывая сепаратные западнобалтийско-славянские связи и социальную маркированность средств общей оценки). Семантика же балтийских соответствий определенным образом перекликается как с содержательной стороной слав. *godъ (ст.-слав. годъ ‘год’, ‘праздник’, ‘удобное время’, чеш. hod ‘церковный, престольный праздник’, hodu мн.ч. ‘пир, угощение, праздничный стол’, рус. диал. годы мн.ч. ‘празднество, пир’ и т.п.) и его производных (с.-хорв. годовати ‘праздновать’, ‘ценить, хвалить’, чеш. hodovati ‘давать пир’).

Таким образом, значения генетически близкой лексики других (неславянских) языков подтверждают хронологическую глубину очерчиваемого семантического континуума слав. *god(n)-, на основе которого сформировалась частная (утилитарная) оценка (ср. *удобный, погода*). Расширение оценочного спектра значения позволило слав. *god(n)- выражать и этическую, эстетическую оценки (ср. укр. *годний* ‘достойный, уважаемый, хороший’, диал. ‘красивый, хороший’, слвц. разг. *hodny* ‘хороший, порядочный, добросовестный’, чеш. *hezký* ‘красивый, хороший (в нравственном отношении)’¹. То, что слав. *godьнь, подобно герм. *gōd-, имело общеоценочное значение, «подсказывается» возникновением значения модальности долженствования у однокорневых глаголов, на формирование семантической структуры которых, как отмечают, повлияла именная семантика (*годится* ‘случиться, оказаться’, ‘годиться, подходить’, *безл.* ‘подобать, следовать’ (см. выше): ‘быть годным’ = ‘быть хорошим’ = ‘быть нужным, должным’. Подтверждением функционально-семантической близости, синонимичности в общеславянском *godьнь и *dobъгь могут служить

¹ *Machek V.* Etymologický slovník jazyka českého a slovenského. Praha, 1957. S. 129: *god-jъ, суф. =k-, ассимиляция ne-hozky>ne-hezky.

обнаруженные в реликтовой майнсковенедской области соответствующие лексико-семантические изоглоссы: в номенклатуре, первоначально связанной, вероятно, с обозначением хороших сельскохозяйственных угодий, производные с корнем *dobr- представлены на запад от реки Регниц, в восточной части региона зафиксированы продолжения корня *god- (*godica, *godьn-, *godьsi)¹.

Предполагая, что слав. *godьn- конкурировало в общеоценочной функции с *dob-г- (разные диалектные образования?), отмечаем, что в ареале распространения древнерусского языка в этой функции выступило и производное от *god- – *godjьjь, представленное как рус. прост. *гожий* ‘годный, пригодный’, *не гоже* ‘не хорошо’, широко известное по диалектам *гожий* – ‘хороший, годный, подходящий’, субстантивное *гожь* ‘что-либо хорошее, прекрасное; прелесть’ (яросл.), *гоже* (дон.) нареч. ‘пригодно, хорошо’ (*гожы написала*), *гоже* (дон.) част. ‘хорошо, ладно’ (*гожы, иду доить корову*), укр. *гожий* ‘хороший, красивый; погожий, благоприятный, удобный, нужный, годный’, блр. *гожы* ‘годный, пристойный’². Таким образом, это еще один, ареальный, случай максимального усиления оценочного значения у производного от *god-, восточнославянская инновация, возникающая, возможно, не без внешнего, восточногерманского, влияния (гот. *gōþs* ‘хороший’ – продолжение прагерм. *gōþ, ср. англ. *good*, нем. *gut* и т.п.). На эту мысль наводят не только ареал распространения *гожий* и *годный* в общеоценочном значении и в этом качестве эксклюзивность древнерусско-германской (восточногерманской) изоглоссы, но и наличие в славянских языках подобного (уже не семантического, а лексического) заимствования из восточногерманских языков. Речь идет о слав. *gorazdь, представленном в чеш. (стар.) *horazd* ‘большой’, ст.-польск. *gorazdy* ‘удачливый, ловкий, счастливый’, др.-рус. (под 987 г.) *гораздо* ‘искусно, хорошо, совершенно, вполне’, *гораздый* ‘умелый, ловкий, искусный’, рус. *гораздно* ‘хорошо,

¹ Трубачев О.Н. Этногенез и культура древнейших славян: Лингвистические исследования. 2-е изд., доп. М., 2002 (со ссылкой на Й. Шютца).

² ЭССЯ 6. С. 190; Словарь русских донских говоров / Редкол. Т.А. Хмелевская, В.С. Овчинникова и др. Т. 1–3. Ростов н/Д: Изд-во Ростов. ун-та, 1975–1976. Т. 1. С. 103 (=СРДГ).

довольно' (Даль), ст.-блр. *gorazdo*, *gorazno* чаще всего 'хорошо, умело', укр. *go(a)razd* 'добро, счастье, благополучие, достатки', чеш. (валаш.) *harasní* 'хороший'¹. Эта лексика считается продолжением старого заимствования из герм. **garazds* (ср. гот. *ga* – приставка, *razda* – 'говор, речь', развитие значения 'речистый' → 'умный, способный (вообще)'². Интересно, что и ареал распространения рефлексов этого заимствования совпадает с территорией наиболее долгих по времени контактов славян с восточногерманскими племенами³.

Следует отметить и раннее расщепление семантики вост.-герм./гот. **garazds* 'речистый', адаптированного в славянских языках не только как 'способный, искусный, удачливый', но и 'сварливый'. Это расщепление семантики (как часто бывает, одно и то же качество может оцениваться и знаком «+», и знаком «-») ярко проявилось в семантической вариативности слав. **gorazditi* (др.-рус. *gorazditися* 'преуспевать', рус. диал. *gorázdить* 'строить, делать, ладить, придумывать, умудряться', укр. диал. *gараз-дітися* 'удаваться' при чеш. диал. *horazditi* 'бранить, ругать', польск. диал. *gара́zdzić* 'бесчинствовать, сеять смуту'), в венгерском заимствовании из славянских *gара́zda* 'сварливый, грубый, бесчинствующий', *gара́zna* 'то же'⁴.

На последующей судьбе синонимичных на общеславянском уровне лексем **dobъg* и **godъpъ* сказались, как представляется, разница в семантическом потенциале, внутренней форме каждой из них. Славянское **doba* показывает особенностями своего функционирования, семантикой производных как исходное значение '(нечто) соответствующее (мере, норме)', т.е. выражает позитивную норму, косвенно определяя субъект и объект оценки. В то же время слав. **godъpъ* представляет объективную оценку, т.е. нацелено на характеристику ценностной стороны объекта и косвенно обращено к норме. Полагаем, что это и определило преимущества

¹ ЭССЯ 7. С. 31–32; Восточнославянские изоглоссы. 1995. М.: Наука, 1995. С. 102.

² ЭССЯ 7. С. 31–32.

³ Седов В.В. Славяне. С. 122–125, 142–150.

⁴ ЭССЯ 7. С. 31–32; Хелимский Е.А. Компаративистика, уралистика: Лекции и статьи. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 453.

слав. *dob-, *dobъгъ по сравнению со слав. *godьль в конкуренции синонимов и сказалось на особой функционально-смысловой нагруженности *dobr-, использованного для выражения славянских христианских представлений о нравственных ценностях человека.

Таким образом, слав. *god- и *dob-г- имеют на первый взгляд близкое исходное значение – ‘подходящий/соответствующий’ (общепринятая реконструкция). При более внимательном и глубоко (сравнительно-историческом) их сопоставлении видим, что смысловые центры семантики этих слов смещены относительно друг друга. В одном случае в смысловом фокусе соответствие мере, позитивной оценке, в другом – соответствие объекта по своим качествам, годность для использования, употребления, установления отношений (ср. значения производных *ghadh- ‘товарищ’, ‘объединяться’, ‘заключать договор’ и т.п.), иначе говоря, ‘годный’ как ‘соответствующий потребности’ (и не обязательно соотносении с нормой, по крайней мере, она не в фокусе оценки). То есть акцент, как представляется из анализа материала, оказывается на разных составляющих оценки (объект оценки, основание оценки). Это некоторое внутриоценочное различие в исходной семантике не помешало возникновению в дальнейшем определенного функционально-семантического сходства, синонимичности (междиалектной?) слав. *god- и *dob-г-, реализации и в более позднее время *годный*/*godьп- и *гожий*/*godjьъ в общеоценочной функции (ареально). Сходство в семантической структуре образований данных этимологических гнезд касается и взаимодействия значений оценочной модальности и модальности необходимости (оценочной модальности с модальностью необходимости, телеологической модальностью: ‘подходящий (по соответствию норме / по своим качествам)’ → ‘хороший’ → ‘такой, как нужно, должный’).

Б л а г о й

Есть люди необычной судьбы, которых она (судьба) вдруг вознесет высоко и превратит в яркую звезду на небосклоне человеческой истории. Есть и слова необычной судьбы, путь которых отмечает взлеты, прозрения целых народов. И поэтому история таких слов, как *добро*, *благо*, *зло*, всегда притягательна как возмож-

ность заглянуть, когда, как появилась значимость и глубина таящихся за ними смыслов.

Интересна в этом отношении история слова *благой*. В русском языке известна большая группа слов с корнем *благ-/блаж-*. В литературном русском языке само прилагательное *благой* в значении ‘хороший, добрый’ является устаревшим, известно существительное *благо* ‘благополучие, счастье, добро’, но более всего *благо* как первая часть сложных слов со значением ‘хорошо, добро’ (*благоволить, благодарить, благоустроенный, благоразумный, благополучие* и т.п.). С корнем *блаж-* употребительны в литературном языке *блаженный* ‘в высшей степени счастливый’ (*блаженно, блаженство, блаженствовать*), разг. ‘глуповатый, чудаковатый’ (*блажененький*; первонач. ‘юродивый’), *блажь* ‘нелепая причуда, прихоть, дурь’, в просторечии – *блажить* ‘поступать своенравно, сумасбродно; дурить’ (*блажной*)¹. В диалектных вариантах русского языка иная картина: *благой* реже ‘хороший, добрый’, чаще – ‘глупый’, ‘взбалмошный’, ‘капризный’, ‘злой’ и ‘плохой’, *благо* ‘хорошо’ и ‘плохо’, *благо* (сущ.) ‘добро’ и ‘все плохое, злое’².

Наличие не только разнообразных, но и противоположных значений у слов на *благ-*, *блаж-* давно привлекало внимание исследователей (Б.А. Ларин, В.Н. Прохорова, О.И. Смирнова, О.Г. Порохова и др.)³. Было замечено, что производные от этих корней в «положительных» значениях имели широкое употребление в книжных памятниках, начиная с древнейших из них (Остромирово Евангелие и др.) и, часто являясь терминами новой на Руси христианской религии, «переводились» на древнерусский. Так, например, русским соответствием церковнославянскому *благо* осознавалось слово *добро* (как отмечал Ф.П. Филин, слово *добро* употреблялось вместо *благо* в поздних списках Лаврентьевской

¹ МАС I. С. 96.

² СРНГ 2. С. 305–306.

³ Порохова О.Г. Из истории лексики: Слова с корнем *благ-* (*блаж-*) в русском языке // Слово в русских народных говорах. Л., 1968. С. 181.

летописи, где церковнославянские слова обычно заменяются словами русской народной речи¹.

Другим русским соответствием славянским словам на *благ-* были слова с восточнославянской огласовкой корня *болог-*, ср. как первую часть сложных слов в «Русской Правде» в списках XIV–XV вв. (*Въ бологодѣти* ‘бесплатно, безвозмездно’, *бологодѣти* = *благодѣти*), существительное *болого* встречается в тексте «Слова о полку Игореве» (= *благ*: ...а древо не бологомъ листвие срони), в Новгородской берестяной грамоте конца XIII–нач. XIV в. (*Моги же водати от тога ти нама хоче болого*), в старорусских текстах – наречие *болозѣ* ‘хорошо’². При этом восточнославянские варианты с полногласием единичны в древнерусских памятниках, исчезают они, видимо, довольно рано, почти не сохранившись в современных восточнославянских языках: как след этого полногласного варианта – некоторые диалектные формы русского языка (пск. *бологой* ‘старый, больной’, брянск. *бологое* сущ. ‘добро, хорошее’, тверск. *Бологое* – название города; сев. и вост. (Даль) *болозе* ‘благо’, ‘хорошо’, ‘гораздо’, ‘ладно’, ‘хорошо, что’, ‘спасибо, что’), укр. диал. *не-з-болѡга* ‘не с добра’, блр. *балазе* ‘хорошо’³. О.И. Смирнова, детально разбиравшая употребления слов на *благ-* в древнерусской письменности, отметила, что *благ-* в южнославянской огласовке становится в древнерусском языке единственной формой этого слова и употребляется в письменности и вне религиозных контекстов, в памятниках разных жанров⁴.

Наличие у производных *благ-*, *благ-* противоположных значений не имеет однозначного истолкования. Составители словаря

¹ *Филин Ф.П.* Лексика русского литературного языка древнекиевской эпохи. Л., 1949. С. 26.

² Словарь XI–XVII вв. Вып. 1. С. 282; *Арциховский А.В., Борковский В.И.* Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1956–1957 гг.). М., 1963. С. 50.

³ *Журавлев А.Ф.* Заметки на полях «Этимологического словаря славянских языков» // *Этимология.* 1988–1990. М.: Наука, 1992. С. 80; *Гістарычны слоўнік беларускай мовы / Рэд. А.М. Булыка.* Минск: Навука і тэхніка, 1983. Вып. 1. С. 48; *Етимологічний словник української мови.* Т. 1–3. Київ, 1982–1989. Т. 1. С. 203 (=ЕСУМ).

⁴ *Смирнова О.И.* Один случай энантиосемии // *Лексикология и словообразование древнерусского языка.* М., 1966. С. 57–58.

русского языка XI–XVII вв. решили проблему в пользу энантиосемии¹: для *благий* (-ой) определяются значения 1. ‘добрый, хороший’ с вариантом ‘благоприятный, удобный’; 2. ‘приятный, красивый, прекрасный’; 3. ‘злой, свирепый’ с вариантом ‘плохой, негодный’. Традиция представления данного слова как энантиосемичного идет еще от В.И. Даля («*Благий* или *благой* выражает два противоположных качества...»². Д. Зеленин, В. Хаверс полагали, что отрицательные значения возникли в результате описательного табуистического употребления³. А.Г. Преображенский также говорит об энантиосемии как результате эвфемизации, но сравнивает слово *благой* в значениях ‘добрый, хороший’ и ‘глупый, дурак’⁴. Тождество слова *благой* 1 и 2 предполагают М. Фасмер, О.Н. Трубочев (ср. О.Н. Трубочев: «...все-таки не кажется необходимым полное этимологическое разграничение слов *благой* (рус. диал.) ‘плохой, безумный, неразумный’ и *благой* ‘добрый’»), подобная точка зрения представлена в историко-этимологическом словаре П.Я. Черных, где *благой* ‘плохой, дурной’ помечено как «устар.» и «обл.» к *благой* устар. ‘хороший’⁵.

Некоторые не менее авторитетные этимологи считают, что это гетерогенные образования. Ф. Миклошич, Э. Бернекер, Ю. Покорный сопоставляют рус. *благой* ‘плохой’ как продолжение праслав. **blag-* ‘плохой, слабый’ с лат. *flassus* ‘вялый, слабый’, греч. βλάξ ‘вялый, расслабленный’, полагая их производными от и.-е. **bh(e)lāg-*, а *благой* ‘добрый, хороший’ как продолжение слав. **bolgъ* ставится в иной ряд индоевропейских соот-

¹ Словарь XI–XVII вв. Вып. 1. С. 191.

² *Даль В.И.* Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. 3-е изд., испр. и доп. / Под ред. И.А. Бодуэна де Куртенэ. СПб.; М., 1994. Т. 1. Ст. 222.

³ *Зеленин Д.* Табу слов у народов Восточной Европы и Северной Азии. Л., 1930. Ч. 2. С. 155; *Havers W.* Neuere Literature zum Sprachtabu. Wien, 1946. С. 133.

⁴ *Преображенский И.* С. 24.

⁵ *Фасмер И.* С. 171; *Черных И.* С. 92; Этымалагічны слоўнік беларускай мовы / Рэд. В.У. Мартынаў. Минск: Навука і тэхніка, 1978. Т. 1. С. 355–356 (=ЭСБМ); *Трубочев О.Н.* Рец. на «L. Sadnik – R. Aitzetmüller. Vergleichendes Wörterbuch der slavischen Sprachen» // *Этимология.* 1970. М.: Наука, 1972. С. 374.

ветствий от и.-е. *bhel(e)g- (о них ниже)¹. Э. Френкель также исходит из основы *blag-, сравнивая рус. *благой* ‘плохой’ со ст.-литов. *blagnas* ‘негодный, злой, плохой’, *blagniškaĩ* ‘ungeeignet’, *blāgnytis* ‘трезветвь (о чел.), проясняться (о погоде)’ и отделяя их от *благой* ‘хороший’ («Russ. *blagoj* etc. haben daher nichts gemeinsam mit abg. *blag gut...*»); литов. *blõgas* ‘плохой, слабый’, лтш. *blāgs* ‘слабый, плохой, злой’ <слав.>². Эта версия пока не опровергнута³, хотя В. Шмальштиг еще в рецензии на словарь Э. Френкеля предлагал расценивать этот случай как славянское заимствование в литовском⁴. Осторожно оценивает ситуацию в словаре балто-славянских сходжений А.Е. Аникин, приводя отдельно **bolgь* ‘добрый, хороший’ и **bolgь* ‘плохой, недобрый, скверный’ и делая вывод о проблематичности реконструкции и этимологии **bolgь* ‘плохой’⁵. И действительно, нельзя не согласиться с этим выводом: ведь и в том, и в другом случае (лексическая ли это омонимия или этимологическая) остается нерешенным вопрос соотнесения временных и пространственных характеристик этого лексического явления при отсутствии надежных внешних сходжений для предполагаемой Э. Френкелем балто-славянской изоглоссы и др.

Очевидно, что столь широкий диапазон решений вопроса о семантической структуре слова *благой* есть следствие неясности происхождения и этимологических связей и слав. **bolgь* ‘добрый, хороший’, о чем говорят авторы ЭССЯ⁶: «праслав. **bolgo* имеет вид архаического слова, однако его происхождение и этимологические связи с точностью не установлены» (обзор разных этимологий *благой*⁷). Обычно слав. **bolgь* сравнивают с авест.

¹ *Berneker I. C. 58; Machek. C. 33; Pokorny I. C. 1244; Miklosich F. Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. Wien, 1886. S. 13, 17; L. Sadnik – R. Aitzetmüller. Vergleichendes Wörterbuch... S. 326–327.*

² *Fraenkel. C. 45–46.*

³ *Аникин А.Е. Этимология и балто-славянское... С. 55.*

⁴ *Schmalstieg W.R. E. Fraenkel. Litauisches etymologisches Wörterbuch // Word. 1956. 12. № 2. S. 333–334.*

⁵ *Аникин А.Е. Этимология и балто-славянское. С. 55.*

⁶ ЭССЯ 2. С. 172–174.

⁷ *Etymologický slovník jazyka staroslovenského. Praha, 1990. P. 2. S. 65 (=ESJSSI).*

bəgəʃaueiti ‘приветствует, воздаёт почести’, bəgəg- ‘ритуал, обычай’, др.-инд. bhāsa-rāti- ‘господин молитвы’ и т.п. (при этом недоказанным с точки зрения формы остается историческое тождество индо-иран. -r- < и.-е. -l-)¹. С тем же пластом иранской лексики сравнивает слав. *bлaгъ А.А. Зализняк, определяя это как собственно славяно-иранские схождения, это мнение поддержано в работе Д.И. Эдельман по истории славяно-иранских отношений². Другой вариант – сопоставление с продолжениями и.-е. основы *bhelg- ‘блестеть, сверкать’ (др.-инд. bhārga- ‘блеск’, литов. bālga-nas ‘беловатый, белесый’, тохар. А, В pālk- ‘светить, гореть’, лат. fulgor, flagro ‘горю, пылаю’)³. В «Этимологическом словаре славянских языков» допускается как формально правдоподобное также сближение *bol-g-o- и *bolъjь (ср. рус. *более, больше*), отклоняемое М. Фасмером по фонетическим соображениям⁴.

Как видим, все три предлагаемые решения оказываются на уровне «корневой этимологии», поддержкой для них является то, что они либо опираются на известную культурную модель, в которой ‘свет, светлый’ соотносится с полюсом положительной оценки (а соответственно, ‘тьма, темный’ – с отрицательной), параметр большой величины (‘больше’) также может быть мотивирующим признаком общей положительной оценки (ср. *вяче-, вели-, боле-* как первая часть композитов), либо исходят из (как возможного) семантического развития ‘добро, благо’ < *‘то, что почитаемо’.

Многое в этимологии слов на *благ-, блаж-* касается особенностей развития их значений, весьма важным является выяснение исторических условий и времени, в которое происходили изменения этих значений, хронологическое соотношение отдельных этапов этого процесса. Так, анализом особенностей употребления слов на *благ-* в древнерусской письменности и привлечением дан-

¹ *Berneker I. С. 69; Machek. С. 33; Фасмер I. С. 188; ЭССЯ 2. С. 173.*

² *Зализняк А.А. Проблемы славяно-иранских языковых отношений древнейшего периода // Вопросы славянского языкознания. Вып. 6. М., 1962. С. 34–36; Эдельман Д.И. Иранские и славянские языки: Исторические отношения. М.: Вост. лит., 2002. С. 168.*

³ *Фасмер I. С. 188; Рок. I. С. 124; Черных I. С. 92; Аникин А.Е. Этимология и балто-славянское... С. 55.*

⁴ *ЭССЯ 2. С. 173; Фасмер I. С. 188.*

ных диалектной русской лексики О.И. Смирнова в статье «Один случай энантиосемии» подтверждает выдвигавшееся ранее предположение, что *благой* 'плохой' произошло путем переосмысления слова *благой* в значениях 'своенравный, злой' (которые образовались от *благой* 'святой, юродивый')¹. Этот вывод был скорректирован О.Г. Пороховой на основании соотнесения типов семантических изменений в словах на *благ-*, *блаж-* с ареалом распространения этих слов в «положительных» и «отрицательных» значениях, установления относительной хронологии рассмотренных семантических процессов. Результатом этого уточнения стало утверждение, что семантическое изменение 'святой, юродивый' → 'глуповатый' было исходным не для всех слов на *благ-*, *блаж-* в отрицательных значениях². Вследствие этого семантического изменения у слов *блаженный*, *благой* появились значения 'глупый', 'бешеный', 'злой', 'своенравный' и т.п. как выражение отрицательной характеристики умственных способностей и свойств характера. Другое дело, например, глагол *блажить* в значении 'говорить вздор' из Словаря-дневника Ричарда Джемса, в значении которого «проявилось ироническое или скептическое отношение к содержанию церковнославянского слова»³. То есть значение 'говорить вздор' явилось результатом иронического переосмысления непосредственно старославянского слова *блажити* 'восхвалять', а не следствием влияния *блажить* 'сходить с ума', 'иметь беспокойный характер' (от *блаженный*, *благой* 'глупый', 'взбалмошный').

О.Г. Порохова, не отрицая того, что ироническое отношение в русской бытовой речи к «высоким» старославянским словам меняло эмоциональную окраску этих слов с положительной на отрицательную (что часто способствовало и изменению их значений, иногда на противоположные), указывает на особенность ситуации с *благой*. Дело в том, что слова *благой* 'хороший' и *благо* 'хорошо' уже в древнерусскую пору могли использоваться и в разго-

¹ Смирнова О.И. Один случай энантиосемии. С. 56–67.

² Порохова О.Г. Из истории лексики. Слова с корнем *благ-* (*блаж-*). С. 186–187.

³ Ларин Б.А. Русско-английский словарь-дневник Ричарда Джемса (1618–1619 гг.). Л., 1959. С. 255.

ворном языке. Здесь они становились словами, стилистически нейтральными. «Лишаясь оттенка высокой экспрессивности, они теряли условия для иронического переосмысления. Показательно в этом смысле, что *благой* и *благо* в значениях ‘хороший’, ‘хорошо’ попадают даже в диалекты русского языка и не имеют там какой-либо экспрессивной окраски»¹.

Логически возможное изменение *благой* ‘своенравный, злой’ в *благой* ‘плохой’ вряд ли могло быть исторической реальностью. Свидетельство тому – наличие *благой* ‘плохой’ и его производных в современных украинском и белорусском языках и их диалектах (укр. *благий* ‘благой, блаженный’ и ‘плохой’, ‘пустяковый’, ‘никудашный’, ‘незначительный’, ‘ветхий’, ‘немошный’, *благенький* ‘плохонький’, полес. *благий* ‘плохой, старый, убогий’, блр. *благі* ‘плохой, скверный; нездоровый, нехороший на вид’, *благое* ‘дурное’, *благэць* ‘худеть’ и др.)². Давнее существование их там подтверждается заимствованиями XVI в. из украинского в польский³. Все это свидетельствует о том, что *благой* ‘плохой’ являлось принадлежностью древнерусского языка еще до разделения восточнославянских языков. Слова же *блаженный*, *благой* в значении ‘взбалмошный, злой’ и *блажной*, *благь* отсутствуют в украинском и белорусском, что дает основание предполагать их более позднее происхождение. Отсюда О.Г. Порохова делает важное – с нашей точки зрения – заключение: «Если слово *благой* в значении ‘плохой’ действительно существовало в древнерусском языке раньше, чем слова *блаженный* и *благой* в значениях ‘взбалмошный, капризный, злой’ и т.п., значит, оно появилось независимо от них»⁴.

¹ Порохова О.Г. Указ. соч.

² Словарь украинского языка, собранный редакцией ж. «Киевская старина». Ред., добавление собственных материалов Б.Д. Гринченко. Т. 1–4. Київ, 1907–1909. Т. I. С. 70 (=Гринченко); Носович И.И. Словарь белорусского наречья. СПб., 1870. С. 26; Белорусско-русский словарь / Под ред. К.К. Крапивы. М., 1962. С. 126; Лисенко П.С. Словник поліських говорів. Київ, 1974. С. 33; Шатэрнік М.В. Краевы слоўнік Чэрвеншчыны. Минск, 1929. С. 32.

³ Machek. 33. Sławski F. Słownik etymologiczny języka polskiego. Т. 1–5. Krakow, 1953–1979. Т. 1. S. 307.

⁴ Порохова О.Г. Указ. соч. С. 188.

Образования с корнями *благ-*, *блаж-* в отрицательнооценочных значениях характерны только для восточнославянских языков. Они полностью отсутствуют в южнославянских языках, а встречающиеся в западнославянских языках такого типа отдельные лексемы относят к заимствованиям из восточнославянских (такие, как польск. *bląhu* ‘дурной, плохой’, *bląhość* ‘ничтожность, пустота’ и, возможно, диал. *blągi* ‘плохой, нестоящий’; чеш. *bláhový* ‘дурашливый, блажной’, *bláhovec*, диал. *bláhút* ‘дурачок, блаженный’)¹. Отсюда логично проистекает вывод-перспектива: материал для решения вопроса о связи слова *благой* ‘плохой’ со словами старославянского происхождения могут дать только изучение лексики украинских и белорусских диалектов, а также сведения об употреблении слов на *благ-*, *блаж-* в отрицательных значениях в древнерусском языке до XV в. Это заключение сделано О.Г. Пороховой в работе 1968 г. В последующие десятилетия продолжались сбор и описание диалектной лексики, появился исторический словарь белорусского языка², словарь староукраинского языка XIV–XV вв.³, проблема генетических связей *благой*, *благо* решалась в этимологических словарях украинского и белорусского языков⁴, но оснований для принципиальных изменений в решении рассматриваемой проблемы не появилось (можно сказать, что задачи остались прежними, требуется целенаправленное обследование определенной части диалектных ареалов, следует только добавить к числу «подозреваемых», возможно, и восточнобалтийский материал).

Лексикографические источники показывают давнюю функционально-стилистическую дифференциацию *благой* 1 и *благой* 2: в церковнославянских текстах *благий* (-ой) употребляется в значениях ‘добрый, хороший; приятный, красивый’ (1019 г.: *Лежа тѣло святого... свѣтло и красно и цѣло и блугу воюю имуце*) и в текстах бытового, делового характера *благой* – это ‘злой, свирепый’ (*благой слон* в «Хождении Афанасия Никитина», XV–

¹ *Machek*. С. 33; *Fraenkel*. С. 45–46; *Порохова О.Г.* Указ. соч. С. 189.

² Гістарычны слоўнік. С. 22.

³ Словник староукраїнської мови XIV–XV ст.: В 2 т. Київ: Наукова думка, 1977–1978.

⁴ ЕСУМ I; ЭСБМ I.

XVI вв.~1472 г.), ‘плохой, негодный’ (1689 г.: *Сказали про ту дорогу... что той Сухоной рѣкой не бывали тяжелые возы, а у нихъ той рѣкой кони грязли, сломывались по благимъ мѣстамъ*)¹, *благить* ‘говорить вздор’ (в Словаре-дневнике Ричарда Джемса, нач. XVII в.² Это же различие отмечает в русском языке В. Даль: *Благій* или *благой* ‘добрый, хороший, полезный, добродетельный’ («церк. стар., а частью и нынѣ»), ‘злой, упрямый, своенравный, дурной, неудобный’ («въ просторѣчїи»)³. Сохраняется оно и в украинском языке: *благий* – разг. ‘слабый, старый, убогий, плохой’; устар. ‘добрый, лагідний’. И словарь староукраинского языка (XIV–XV вв.) показывает, что *благый* в текстах встречается лишь в значениях ‘ласковый, милостивый’ (1415 г.), ‘благочестивый’ (1322 г.)⁴. В историческом словаре белорусского языка ранние употребления *благий*, *благый* в значении ‘дрэнны’ относятся к концу XVI в.⁵ В современном белорусском *благі* ‘нехороший, дурной, нездоровый’, *благое* ‘дурное’ активно и в литературном языке, где *благі* является ближайшим синонимом *дрэнны* ‘плохой’ (ср. синонимический ряд⁶: *дрэнны, благі, кепскі, паганы, нядобры*). Таким образом, оказывается, что слово с «хорошим» смыслом функционирует в сфере влияния старославянского/церковнославянского, с «плохим» – преимущественно в разговорной речи русского, украинского, белорусского.

Интерес к культурнозначимому *благо, благой* не пропадает и в последние десятилетия. К сожалению, авторы этих работ не учитывают результаты анализа древнерусского и диалектного русского материала из работ О.И. Смирновой и О.Г. Пороховой (см. о них выше). Например, в предпринятом исследовании проблемы иконичности добра и зла Г.И. Берестнева⁷ или относительно недавнее представление Э.А. Балалыкиной эмоционально-

¹ Словарь XI–XVII вв. Вып. 1. С. 191.

² *Ларин* 1959. С. 255.

³ *Даль* I. Ст. 222.

⁴ Словник ст.-укр. мови I. С. 99.

⁵ *Гістарычны слоўнік*. С. 22.

⁶ *Клышка* М.К. Слоўнік сінонімаў і блізказначных слоў. Мінск: Выш. шк., 1976. С. 153.

⁷ *Берестнев* Г.И. Иконичность добра и зла // ВЯ. 1999. № 4. С. 99–113.

экспрессивного употребления как основы семантического переосмысления для *благой*¹. В специальной работе попыталась проанализировать семантическую структуру слав. *bolgo ‘благо’ Л.А. Сараджева: «Дифференцированная этимология этого слова остается неясной (или не вполне ясной) в том отношении, что исследователь не знает точно, какое из значений слова (реально представленное или реконструированное) «закрывает» этимологию, делая ее законченной, дифференцированной и однозначной»². Основывая свой анализ на учете значений славянских континуантов *bolgo и его производных и соглашаясь с истолкованием *благой* ‘хороший’ и *благой* ‘плохой’ как энантиосемии, автор исследования приходит к предположению, что «праслав. *bolgo первоначально обозначало, как и слав. *bogъ, долю, удел как восприятие человеческой жизни в целом»³. Данное решение практически не обращается к этимологии, выяснению генетических связей, а строится на типологическом подходе: у слав. *bogъ и его производных (*bogaty, *u-bogъ, *ne-bogъ; *sъ-božьje ‘богатство, имущество’, ‘хлеб в зерне’) обнаруживается сходный круг значений, связанный с обозначением счастливой и несчастливой доли (‘богатство/благо/счастье’ – ‘несчастье’). Но в семантическом поле слав. *bogъ и его производных, как и в привлекаемых индоиранских параллелях (др.-инд. su-bhāga, авест. hu-baga ‘имеющий долю, счастливый, богатый’ и a-bhāga ‘обездоленный, несчастный’), противопоставленность положительной и отрицательной семантики у однокорневых слов создается словообразовательными средствами, а не за счет семантической деривации (если *благой* 1 и 2 рассматривать как энантиосемию). Таким образом, эта экстраполяция, эта реконструкция исходного значения, иерархии в семантической структуре слав. *bolgo не представляется убедитель-

¹ Балалыкина Э.А. Развитие противоположных семантических оттенков в пределах одного слова в истории русского языка // Семантика русского языка в диахронии: Сб. науч. тр. / Калинингр. ун-т. Калининград, 1994. С. 6–7.

² Сараджева Л.А. Славянское *bolgo «благо» (к соотношению смысловой структуры) // Языковая деятельность: переходность и синкретизм: Научно-методический семинар «Textus»: Сб. ст. к 75-летию В.В. Бабайцевой. Вып. 7. Москва; Ставрополь, 2001. С. 44.

³ Сараджева Л.А. Славянское *bolgo «благо»... С. 45.

тельной или имеющей какие-то преимущества по сравнению с ранее предложенными.

Семасиологический подход, продемонстрированный О.И. Смирновой и О.Г. Пороховой, его результаты, безусловно, необходимы для исторически корректного решения вопроса. Не менее важен ономасиологический ракурс исследования, особенно если семасиологический анализ не дает ответа на возникающие вопросы (прежде всего: полисемия или омонимия?). Поэтому с чем мы не можем согласиться в выводах О.Г. Пороховой, так это с утверждением об отсутствии зависимости между особенностями функционирования слова, развитием его семантики и происхождением слова: «Несомненно, что происхождение слова *благой* ‘плохой’ не имело особого влияния на его историю в русском языке»¹. Наверное, это слишком поспешное утверждение. Попробуем посмотреть на эту проблему с другой стороны – с точки зрения особенностей функционирования *благой* ‘хороший’.

Как известно, сравнительно-исторический метод реализуется через внутреннюю и внешнюю реконструкцию. Внутренняя реконструкция содержательной стороны языкового знака общеславянского уровня – как в данном случае – предполагает максимально полное привлечение к анализу значений рефлексов этого знака в славянских языках, затем соотнесение их группировки с географической и историко-культурной спецификой отдельных славянских регионов. И с этой точки зрения интересна сводка материала по *благой*, *благо* ‘хороший, хорошо’ и их производным в «Этимологическом словаре славянских языков»². Однокорневых лексем праславянского уровня набирается немногим более десятка (по ЭССЯ). Первое, что обращает на себя внимание, это определенная поляризация ареала южнославянских языков по отношению к восточно- и западнославянскому. Слав. ***bolgъ(jь)** в западнославянских языках реализовалось в значениях ‘блаженный, счастливый, благой, добрый, благоприятный’ (чеш., словц. *blahý*, польск. *łogi*), в древнерусском *благий (-ой)* ‘добрый, хороший; благоприятный; приятный, красивый’, сюда же по значению при- мыкает ст.-слав. *благъ* ‘добрый, милостивый; хороший, прият-

¹ Порохова О.Г. Из истории лексики: Слова с корнем *благ-* (*благж-*). С. 190.

² ЭССЯ 2. С. 172–174.

ный'. Слав. ***bolgo** продолжено в чеш., словц. *blaho* 'блаженство, счастье, преуспевание', польск. стар. *blago* 'благо, счастье', др.-рус., цслав. *благо* 'добро, доброе дело; богатство'; мн. ч. 'блаженство, благополучие, блага', др.-рус. *болото* 'добро', рус. диал. *болото* 'хорошо, хорошо, что'.

Как видим, во всех значениях *благой*, *благо* служат для выражения общей и этической оценки или обозначения связанных с ними общих, абстрактных понятий. Иная картина вырисовывается в южнославянских языках, где у однокорневых слов наличествует также и конкретная, предметная семантика и частная оценка, связанные с обозначением пищи. Так, слав. **bolgъ(ь)* представлено как болг. *благ* 'благой, милостивый, кроткий, мягкий' и 'сладкий, вкусный', *благый* 'добрый, хороший, кроткий' и 'сладкий, скромный', диал. *блак* 'сладкий', макед. *благ* 'сладкий; сладкий, не острый (о перце и т.п.)'; 'пологий, покатый', 'мягкий, добрый', с.-хорв. *blâg*, *blâga*, -*go*, напр. *милијeko*, 'сладкий, хороший', словен. *blâg*, *blâga* 'благородный, милостивый, благой'. Славянское **bolgo* предстает как болг. *благо* 'добро, имущество, благо, богатство, блаженство' и 'варенье', 'скромное', макед. *благо* 'благо, добро, богатство, имущество', с.-хорв. *blâgo* 'богатство, деньги, домашний скот' и *благва* 'съедобный гриб', словен. *blâgo* 'добро, благо, скот, товар', *blagva* 'название грибов', ст.-словен. *blava* (<**blagva*) 'хлеб (вообще)'¹.

В исследовании, посвященном прилагательным общей оценки в славянских языках, О.А. Фелькиной высказано предположение, что слово *благъ* (судя по употреблению в древнейших памятниках старославянского языка в значениях типа 'приятный', 'мягкий по своему воздействию', 'вызывающий приятные ощущения' и учитывая семантику аналогичных прилагательных в современных славянских языках) приобрело значение общей положительной оценки в старославянском языке под влиянием греческого². Каким образом это могло произойти? *Благъ* в текстах является соответствием (переводом) таких древнегреческих слов, как *ἀγαθός* 'хороший, добрый', 'доблестный, благородный', *χρηστός* 'полезный, годный, способный'; 'хороший, добрый', *καλός* 'прекрасный (о

¹ ЭССЯ 2. С. 172–174; Словарь XI–XVII вв. Вып. 1. С. 191; СС 1999. С. 90.

² Фелькина О.А. Развитие семантики... С. 9.

лицах и предметах, о наружной и внутренней красоте)’, ‘хороший, способный, годный’, εὐσεβής ‘благочестивый, почтительный’, εὐμεγέθης ‘очень большой, значительный’, ἅγιος ‘святой, священный’, ἀφθονός ‘независтливый, щедрый’, εὐε! = ст.-слав. *благоже!* ‘хорошо, так и надо!’¹. Да, семантическая структура части греческих слов имеет значение общей положительной оценки, но на каком основании они переводились бы словом *благъ*, если бы оно не имело такого значения, если бы их функции не совпадали?

Семантика производных лексем еще ярче выражает противопоставленность южнославянского и западно-, восточнославянского ареалов. Так, например, в болгарском прилагательное *благътый* имеет значение ‘счастливый’ и диалектный вариант *благът* ‘сладкий’; болг. *благувам* – это ‘жить счастливо, в довольстве’, с.-хорв. *благдвати* ‘пировать’; болг. *благинá* ‘скоромная, жирная пища (масло, молоко сыр и др.)’, диал. *благина* ‘пищевой жир’, *благ’ина* ‘заготовленные на зиму мясные и молочные продукты’, с.-хорв. (стар.) *благинья* ‘благость, доброта’, диал. ‘жир для мыловарения’ при ст.-слав. *благыни* ‘доброта, добро’ и др.-рус. цслав. *благиня*, -и ‘добродетель, благо, блаженство’. Или пример с глаголом *блажити*, который в древнерусском, церковнославянском имеет значение ‘восхвалять, оказывать милосердие’, подобно ст.-слав. *блажити* ‘восхвалять’, в то время как болг. *блажа́* – это ‘есть скоромную, жирную пищу’ и ‘творить благо, благословлять’, макед. *блажи* ‘сладить, иметь сладковатый вкус’, ‘скоромиться’, с.-хорв. *благжити* ‘есть скоромное’, ‘ублажать’ при словен. *blážití* ‘облагораживать, укрощать, осчастливить, освежить (физически)’, чеш. *blážití* ‘приносить радость, благо кому-л.’, то же слвц. *blažit’*. Иногда такое различие в семантике наблюдается среди южнославянских континуантов: болг. *благотá* ‘благость, благо’ при с.-хорв. *blagòta* ‘благо’ и диал. *благота* ‘молочные продукты, яйца’; болг. *благост* ‘благость’ и ‘сладость’ при с.-хорв. *благòст* ‘доброта’².

¹ СС 1999. С. 87, 90; *Дворецкий И.Х.* Древнегреческо-русский словарь: В 2 т. М., 1958. Т. 1.

² ЭССЯ 2. С. 172–174; Словарь XI–XVII вв. Вып. 1. С. 191, 232; СС 1999. С. 90–91.

В противовес этому *благой* в значении ‘плохой’ демонстрирует скорее «северную» ориентацию: эта лексическая изоглосса объединяет северо-западный ареал восточнославянских диалектов, возможно, включая и восточнобалтийские, по виду частной оценки, сопутствующей общей оценке «плохой». То есть в реализации пейоративных вариантов *благой* наблюдаются ареальные различия. В большей части русских и в украинских диалектах оно определяет характер, поведение человека (реже – животного) – ‘упрямый, своенравный, дурной, взбалмошный’¹. В северо-западных говорах русского языка это прилагательное широко используется и для определения неодушевленных предметов и явлений природы – ‘плохой, негодный, неудобный’: петерб., новг. *Постройката уж благая*; пск. *Благое это весло*; твер. *Пашня благая* ‘тяжелая’; влад. *Съезд больно благой*; пск. *Благие уши* ‘плохой слух’; влад. *Благой домшко* и т.п.² То же отмечается в украинских, белорусских говорах, где это прилагательное определяет человека, предметы чаще по внешнему виду, пригодности – ‘плохой, старый, слабый’ (полес. *благий* ‘плохой, старый, убогий’, блр. *благі* ‘плохой, скверный; нездоровый, нехороший на вид’)³. Исторический словарь белорусского языка для *благий, благый*, кроме ‘добры, хорошы, прыемны’, дает значение ‘дрэнны’ (1607: *видель есми, ижъ тело небощыковское ничым не прыкрыто, одно обрусомъ благимъ старымъ*)⁴. Обращение к данным картотеки псковского областного словаря (картотека СПбГУ) подтверждает отмеченную особенность, поскольку функционирование этого слова в псковских говорах связано в основном с выражением утилитарной оценки (наряду с общей оценкой): *благо* употребляется в значении ‘вред, худое’ (*от всякого глазу, от всякого благу*), *благой* ‘плохой’ (день, место), *благий, блаженный* ‘старый, ветхий, плохонький’

¹ СРНГ 2. С. 305–306; Тимченко Е. Русско-малоросійський словарь: В 2 т. Київ, 1897. Т. 1. С. 17; Гурт А. Словарь русско-галицкій: В 2 т. Вена, 1896. Т. 1. С. 32; Иваницький С., Шумлянський Ф. Російсько-український словник: В 2 т. Вінниця, 1918. С. 17.

² СРНГ 2. С. 307; Литвиненко В.Е. О семантических диалектизмах в русских говорах // Лексический атлас русских народных говоров. 1998. СПб., 2001. С. 186.

³ Лисенко П.С. Словник. С. 33; Шатэрнік М.В. Краевы слоўнік. С. 32.

⁴ Гістар. слоунік 2. С. 22.

(*Вот так и живу ф халупк'е свајеј благ'ин'кај*), *благой* 'плохой, некачественный' (напр., *благой хлеб, мука, квас, керосин*), 'больной' (*ја благаја была / думал'и што ја памру*), *благие слова* (= бранные), *благой жених* (= некрасивый), *ягоды благие* (= гнилые), *благой гриб* (= червивый), *благая вода* (= грязная), *благая собака* (= бешеная) и т.п.

Анализ семантического варьирования **bolgъ*(jъ) в славянском ареале, и прежде всего в восточнославянском, показывает, что есть основания объяснять появление пейоративной оценки в оценочном спектре семантики *благой* ('взбалмошный, своенравный, злой' и т.п.) как результат воздействия эвфемизации, табу (ср. *блаженный* 'святой, праведный и 'юродивый', именование *благая* для болезни, нечистой силы). Но это поляризация в пределах одной, этической, оценки. На фоне употребления *благой* в значении 'плохой' (преимущественно о человеке; этическая оценка) только в восточнославянских языках не ясна причина локального привлечения здесь прилагательного *благой* для выражения утилитарной оценки (из этической оценки утилитарная?). Какова в данном случае собственно языковая и/или культурная (что скорее всего) детерминация?

Выявляемые особенности семантического варьирования не объясняются, на наш взгляд, и предположением о древности заимствования из церковнославянского в русский: «...не всегда возможно отличить древние заимствования из церковнославянского от более поздних, однако в ряде случаев имеет место характерное расхождение значений между аналогичными по форме церковнославянскими и диалектными словами, которое может указывать на древность заимствования; ср., например, такое расхождение между церковнославянским *благий* и русским *благой* (в русском языке слово приобретает отрицательное значение)»¹. Что в древности (до христианизации? в процессе христианизации?) способствовало не только изменению полюсов в рамках этической оценки (что может быть объяснено экстралингвистическими факторами), но и подвижке от этической к утилитарной оценке? Другой вариант объяснения появления пейоративной оценки у *благой*

¹ Успенский Б.А. Краткий очерк истории русского литературного языка (XI–XIX вв.). М.: Гнозис, 1994. С. 39.

исходит из устного пути заимствования южнославянской лексики типа болг. *благ* ‘сладкий (о яблоках)’, ‘жирный (о еде)’, откуда значение ‘скромный, запретный’, затем ‘нечистый, проклятый’ и др. (Страхов, 1988¹). Но у восточнославянских континуантов не отмечено ни значение ‘запретный (как скромный)’, ни ‘нечистый (в результате ритуального нарушения)’. Есть *благой* как ‘нечистая сила’, но это не имеет отношения к христианским ритуалам (запрету во время поста не употреблять скромное).

Обозначенные вопросы, неясность культурно-языковой детерминированности (*благой* ‘хороший’ принадлежит древнерусской письменной речи, *благой* ‘плохой’ – народно-разговорной) влекут за собой необходимость пересмотра и предполагаемых генетических связей *благой* ‘добрый, хороший’ (см. выше), поскольку если теоретически (с точки зрения значимости, символичности в культуре) можно предположить возникновение общей положительной оценки как обобщения значений типа ‘воздавать почести’, ‘ритуал, обычай’, ‘молитва’ или ‘блеск, свет’, то такая проекция на южнославянский материал предполагает исходить из сужения общеоценочной семантики до ‘сладкий’ и затем уже до значения ‘жирная (молочная и мясная) пища’. Вариант ‘хороший, добрый’ → ‘жирная пища’ → ‘сладкий’ так же нереален с типологической и общекультурной точки зрения.

Итак, для обозначения важного в этической системе христианства понятия было использовано языковое средство южнославянских языков, позволявшее выразить идею значимости бескорыстных добрых дел, поступков (получать удовлетворение как сладость/наслаждение от благих/добрых деяний). Это, в свою очередь, предполагает, что *благой* ‘сладкий, доставляющий удовольствие’ (см. выше южнославянские соответствия) было функционально близким к общеоценочному ‘хороший’. Существовавшее общеоценочное *добрый* с его лексико-семантическими связями (*удобный, надобный, подобный* и т.д.) менее подходило для выражения идеи даруемого Богом блага-благости, наслаждения, радости от бескорыстных добрых дел, провозглашаемых как сущее и должное в согласии с канонами христианства. С другой стороны, *благой* ‘добрый, хороший’ как результат семантической deriva-

¹ Аникин А.Е. Этимология и балто-славянское... С. 55.

ции старославянского языка репрезентирует в составе однокорневых слов в южнославянских языках семантическую модель ‘сладкий’ → ‘приятный’ → ‘хороший’, модель, явно являющуюся инновацией этой части славянских языков. Именно инновацией, поскольку существующие способы формирования общеоценочного средства исходят из других ценностных параметров: ‘соответствующий, подходящий’ → ‘хороший’ и ‘приличествующий, красивый’ → ‘хороший’ (ср. *добрый, годный, гожий и ладный, лепый, красный*).

Если это инновация, то где ее истоки? Собственно славянской культурной детерминации здесь не просматривается. В таком случае возможен еще вариант, что это какая-то архаичная культурная схема, которую славяне, южная их часть, могли усвоить уже в историческое время, расселяясь в Причерноморье, нижнем течении Дуная и по Балканам. Их расселению на этой территории предшествовало формирование здесь на рубеже II–III вв. н.э. крупного культурного образования – черняховской культуры. В III–IV вв. данная культура распространилась в границах от нижнего Дуная до Северского Донца. Славяне, продвигаясь с Верхнего Поднестровья, расселялись на землях, ранее занимаемых ираноязычными сарматами и скифами, фракийскими гето-даками, которые также включились в генезис черняховского населения¹. Фракийцы известны еще со времен Геродота своим оседлым образом жизни и по этому параметру близки славянам, поэтому меньше оснований ожидать принципиально иную оценочную модель в такой культуре. А вот обращение к фактам другого типа культуры (скотоводческо-кочевого), к фактам иранских языков позволяет утверждать, что именно сознанию носителей этих языков была присуща культурная модель ‘сладкий’ → ‘приятный’ → ‘хороший’.

Характеристику этой черты сознания ираноязычных народов, увиденную через ее представленность в фактах языка, находим у В.И. Абаева в его «Историко-этимологическом словаре осетинского языка». Опираясь на мнение известных иранистов (Вс. Миллер, Г. Моргенштерн, Э. Бенвенист), В.И. Абаев определяет осет. *xorz* | *xwarz* ‘хороший’ как продолжение др.-иран. **hwarz-* или **hwarzu-* ‘сладкий’, тем самым осетинские лексемы включа-

¹ Седов В.В. Славяне... С. 150–186.

ются в широкий круг предполагаемых однокорневых образований, значения которых группируются вокруг двух семантических центров – ‘сладкий’ и ‘пища’ (авест. *xvarəza* – ‘сладкий’, пехл. *xwālišt*, *xwārzišt* ‘сладчайший’, бел. *awarzā* ‘приятный’, позднего-резм. *xž*, *xžyk* ‘хороший’, ‘приятный’, сак. *hvarra* ‘сладкий’ и т.д. при перс. *xwāl* (**hwarza* > **hwarda* >. *xwāl*) ‘пища, еда’, заа *xōl* ‘пища’ и др. < **hwar-* ‘есть’; «семантическое движение – ‘сладкий’ → ‘приятный’ → ‘хороший’»¹.

Еще один источник формирования представления о сладком у носителей иранских языков приводит И.М. Стеблин-Каменский в новом этимологическом словаре ваханского языка (resp. памирских языков): «...понятия «сладкий» и «молоко» в иранских языках совпадают», ср. перс. *šīg* ‘молоко’, *šīgīn* ‘сладкий’ и др., подобная картина наблюдается и в соседних дардских, кафирских языках².

Для иранских народов, не одно тысячелетие занимавшихся кочевым скотоводством, такой путь возникновения понятия «сладкий» и «хороший» представляется закономерным. Возвращаясь к ситуации в южнославянских языках, где в *благой* ‘добрый, хороший’ можно видеть результат обобщения представления о жирной мясной и молочной пище как эталоне сладкого, приятного, мы полагаем, что это представление усвоено носителями южнославянских языков из субстратной культуры, от тех, кого славяне при расселении ассимилировали. Вариант, предполагающий формирование таким путем представления о приятном, хорошем, имеет собственно славянское авторство, следует исключить в силу специфики историко-культурных параметров славян периода распада славянской общности. Изложенные аргументы представляются достаточными, чтобы предполагать, что *благой*, *благо* не продолжают праславянскую (общеславянскую) модель формирования общеоценочного значения, а восходят к инокультурной модели, авторами которой не могли быть южные славяне. Конечно, это предполагаемое решение проблемы ставит новые вопросы, прежде всего о генетических связях для *благо* и *благой*. Попытаемся

¹ *Абаев IV*. С. 218.

² *Стеблин-Каменский И.М.* Этимологический словарь ваханского языка. СПб., 1999. С. 409, 445.

предложить вариант решения этого вопроса в рамках предполагаемого культурного взаимодействия.

Поскольку речь идет о северо-западном Причерноморье, ниже Подунавье, куда выселилась часть антского населения (ср. «...славянские передвижения, приведшие к формированию ранне-средневековых болгар, сербов, хорватов и македонцев, исходили из антского ареала»¹) и о возможности усвоения южными славянами на этой территории субстратной культурной модели (*‘молоко’/*‘пища’ →) ‘сладкий’ → ‘приятный’ → ‘хороший’ (достаточно известной в иранских языках), логично было бы обратиться к фактам скифо-сарматских языков, носители которых представляли иранский мир в этом регионе. Кстати здесь вспомнить упоминаемое еще Гомером скифское кочевое племя, питавшееся кобыльим молоком – гиппомол(ь)ги (Ил. XIII, 5–6: «*Ζεῦς <...> созерцающий землю фракиян, наездников конных, / Мизиян, бойцов рукопашных, и дивных мужей гиппомолгов, / Бедных, питавшихся только млеком, справедливейших смертных*»). Подобные упоминания встречаются у Гесиода (Ϝππμολυός (Σκίθαι) ‘доющий лошадей (о скифах)’) и у Эсхила (Ϝππκῆ – это ‘сыр из кобыльего молока’)². Интересна в этом плане и легенда, передаваемая Геродотом (V в. до н.э.), об ослеплении скифами рабов якобы из-за того, что они пьют молоко кобылиц: «После доения молоко выливают в полные деревянные чаны. Затем, расставив вокруг чанов слепых рабов, скифы велят им взбалтывать молоко. Верхний слой отстоявшегося молока, который они снимают, ценится более высоко, а снятым молоком они менее дорожат» (Геродот, кн. IV, гл. 2).

В Причерноморье (на Кавказе) сохранился совсем небольшой островок некогда большого ираноязычного региона – осетины. Но похоже, что ни в осетинском, ни в таджикском, ни в памирских языках, ни в известных текстах, глоссах хорезмийского, согдийского, хотано-сакского языков (в том, что сохранилось от иранских языков Великой степи от Карпат до Тянь-Шаня) нет похожей языковой единицы в таком значении (нет, по крайней мере, в эти-

¹ Седов В.В. Славяне... С. 195.

² Дворецкий I. С. 827–828.

мологических словарях иранских языков¹, в словаре В.С. Расторгуевой и Д.И. Эдельман *blag- соотносится с авест. bəṛəg- ‘восхвалять, приветствовать (при встрече)’, ‘поклоняться, почитать’, bəṛəg- ‘религиозный ритуал, обычай’, bəṛəxda- ‘желанный’ и т.д. (подробнее об этой лексике см. выше)². Нет ничего похожего в работе А.А. Зализняка, посвященной характеру языкового контакта между славянскими и скифо-сарматскими племенами, или в анализе славяно-иранских лексических отношений О.Н. Трубачева³. Следовательно, оказывается, что есть определенная модель образования общезначимого значения, широко представленная в иранских языках, но нет реального «исполнителя» этой роли из иранской среды, могущего быть соотнесенным со слав. *blag-. Однако это не исключает посреднической роли иной языковой среды. Следует ведь учитывать, что славяне расселяются на Балканах (в северо-западном Причерноморье) достаточно поздно, когда ираноязычное население в этом регионе уже было ассимилировано, как и некоторые другие этносы, например кельты (ср. у Геродота Γαλλαική ‘Галлаика (область во Фракии) ’; Γαλλῆος. ‘принадлежащий галлам, т.е. жрецам Кибелы’, Γάλλος ‘галл, жрец Кибелы’). При всей безнадежности на первый взгляд наших поисков, как кажется, есть все же интересный сюжет.

С середины IV в. до н.э. Среднее Подунавье освоили кельты, которые в первой половине III в. до н.э. осели в Нижнем Подунавье, отдельные группы их достигли верхнего Днестра и часть переселилась в Малую Азию (галаты – кочевые галлы – осели в центре Малой Азии, в Галатии). Страбон при описании областей Нижнего Подунавья и их обитателей сообщает, что еще Гомер соединил здесь с мисийцами гиппемолгов, галактофагов и абиев, «которые и есть кочующие в кибитках скифы и сарматы. Действ-

¹ *Абаев В.И.* Историко-этимологический словарь осетинского языка; *И.М. Стеблин-Каменский.* Этимологический словарь ваханского языка.

² *Расторгуева В.С., Эдельман Д.И.* Этимологический словарь иранских языков: В 2 т. М.: Вост. лит., 2000–2003. Т. 2. С. 111–112.

³ *Зализняк А.А.* О характере языкового контакта между славянскими и скифо-сарматскими племенами // *Славянское языкознание: Краткие сообщения ин-та славяноведения.* М., 1963. № 38. С. 1–22.; *Трубачев О.Н.* Из славяно-иранских лексических отношений // *Этимология.* 1965. М., 1967. С. 3–81.

вительно, еще и теперь эти племена, так же как и бастарны, смешаны с фракийцами (правда, больше живущими по ту сторону Истра и с теми, что живут по эту сторону). С ними смешались кельтские племена – бойи, скордиски и тавриски»¹. Основными занятиями кельтов было земледелие и животноводство. В индоевропейских языках нет общего названия молока (имеющиеся наименования региональны и не имеют производящей семантики типа ‘доить’, ‘пить’), широко распространенные продолжения и.-е. *melg/k-* ‘доить’² первоначально, вероятно, значили ‘сосать’ (есть мнение, что этимологически вскрываемое отсутствие антропогенных мотивов названия молока свидетельствует об относительно позднем развитии молочного хозяйства³). В кельтских языках название молока, родственное лат. *mulgeo*, литов. *melžti*, др.-в.-нем. *melchan* ‘доить’, *miluch*, гот. *miluks* ‘молоко’ и рус. *молозиво* (и.-е. **mēlg’-*, **melg’-*⁴), имеет исторически варианты формы, ср. ирл. *melg-*, *mlicht*, *blicht* ‘молоко’, *mligid* ‘доить, выдаивать’, отглагольное имя *mlegon*, *blegon* ‘надоенное/выдоенное’, ‘молоко’ («...и.-е. *mg-*, *ml-* первоначально сохранились в древнеирландском языке, но позднее дали *br-*, *bl-*»⁵). Следовательно, долгое пребывание в северо-западном Причерноморье кельтов (галлов) – реальная основа для их знакомства с культурными традициями скифов-скотоводов, усвоения их ценностных ориентиров. Соответственно, и культура кельтов могла быть той культурой-посредником, благодаря которой в южнославянских языках оказалась лексема *благо* в значении ‘сладкий (о молочной, жирной пище)’, ‘приятный’, ‘хороший’ и вместе с этим субстратная

¹ Страбон. География: В 17 кн. // Под общ. ред. С.Л. Утченко. М.: Ладомир, 1994 (репринт 1964). С. 271.

² Рок. I. С. 724.

³ Трубачев О.Н. Происхождение названий домашних животных в славянских языках (этимологические исследования). М., 1960. С. 9–10; ЭССЯ 18. С. 84–87.

⁴ Черных I. С. 540; ЭССЯ 18. С. 84–87.

⁵ Льюис Г., Педерсен Х. Краткая сравнительная грамматика кельтских языков: Пер. с англ. / Ред., предисл. и примеч. В.Н. Ярцевой. М.: Иностр. лит., 1954. С. 84; см. также: *Vendryes J. Lexique etymologique de l'irlandais ancien. Lettres MNOP. Dublin; Paris, 1960. М-33, М-56, М-57.*

(иранская) модель формирования общей мелиоративной оценки на основе утилитарной и гедонистической оценок.

Следствием такого истолкования происхождения *благой* ‘добрый, хороший’ является его признание гетерогенным образованием по отношению к *благой* ‘плохой, старый, негодный’. Для выяснения собственно языковых и историко-культурных условий возникновения второй лексемы необходимо дополнительное исследование материала диалектного континуума, представляемого частью восточнославянских диалектов и восточнобалтийских (см. об этом выше).

В качестве верификационного средства для предполагаемого диахронного построения – формально-семантического становления и эволюции *благой* ‘добрый, хороший’ – привлечем выводы реконструкции определенных черт духовного мира средневекового человека по фактам старославянского языка Т.И. Вендиной¹, Г.И. Берестнева² и результаты логико-семантического анализа синонимичной пары *добро* – *благо*³, анализа, основывающегося на особенностях функционирования этих лексем в современном русском языке, чтобы увидеть, насколько синхронный и диахронный «взгляды» противоречат/не противоречат друг другу.

В сознании средневекового общества за понятием «благо» стоял сущностный атрибут Бога: благо исходит от Бога, благодать – это божественная милость, изъявляемая Богом человеку. На эту божественную благодать человек отвечает верой, воздавая ему славу и благодарение: у верующего человека дух тяготеет к благому. Соответственно, «благо» соотносилось с этическим аспектом, с моральными нормами общества (*благообразьнь* ‘добропорядочный, почтенный’, *благостьнь* ‘добрый, милостивый’), иногда с эстетическим понятием – понятием красоты (*благолъпнь* ‘красивый, прекрасный’). В отличие от понятия «добро», оно могло рассматриваться и вне социальных различий: *благородие* ‘душевное

¹ Вендина Т.И. Средневековый человек в зеркале старославянского языка. М.: Индрик, 2002. С. 183–189.

² Берестнев Г.И. Иконичность добра и зла // ВЯ. 1999. № 4. С. 99–113.

³ Левонтина И.Б. ДОБРО 1, БЛАГО 1 // Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Вып. 1. 2-е изд., испр. / Авторы: Ю.Д. Апресян, О.Ю. Богуславская, И.Б. Левонтина и др.; Под общ. рук. Ю.Д. Апресяна. М., 1999. С. 79–82.

благородство', душевным благородством мог обладать любой человек, а не только знатный¹.

Общий же вывод автора (Т.И. Вендиной) по сопоставлению семантики *добра* и *блага* не совсем нам ясен. Сначала в результате сравнения понятий отмечается, что «понятия добра и блага, имея некоторые общие точки соприкосновения в языковом сознании средневекового человека (и прежде всего то, что оба эти понятия были сущностными атрибутами Бога, апеллировали к нравственности человека и расценивались как добродетели), в целом все-таки расходились: если «добро» постигалось разумом (ср. *добро-разоумивъ*) и принималось человеком (ср. *доброприимати*), то «благо» изволялось человеку Богом (ср. *благоизволение*), оно могло дариться (ср. *благодарьствити*), возвещаться (ср. *благовѣствовати*) и прославляться (ср. *благословение*), оно составляло основу веры человека в Бога (ср. *благовѣрие*), которая жила в его душе, поэтому благом определялось его душевное спокойствие (ср. *благодоушие*)». Заключается это выводом: «...понятие блага в старославянском языке покрывало значительно большую часть семантического пространства, чем понятие добра»². О каком семантическом пространстве идет речь? С какой сферой земного и/или небесного существования оно соотносится? Если оба слова обозначают сущностные атрибуты Бога, то различие их смысловых объемов не есть ли следствие принципиального противопоставления в христианском мировидении сакрального и профанного? Ведь замечено уже, что лексика старославянского языка делится на два функционально-семантических класса: одни лексические единицы употребляются преимущественно по отношению к особой, сакральной стороне бытия, другие – для характеристики земных, «профанных» ценностей³.

Г.И. Берестнев, рассматривая проблему иконичности добра и зла на примере двух систем мировидения (исконно русской и старославянской), однозначно определяет функционально-семантическое различие между *благой* и *доброй*. «Основную функциональную особенность слов с корнем *добр-* составляет то,

¹ Вендина Т.И. Средневековый человек... С. 188–189.

² Там же.

³ Успенский Б.А. Краткий очерк... С. 48.

что они употребляются по отношению к эмпирически воспринимаемой реальности – т.е. земному миру». Прилагательное *добръ*, по его мнению, «характеризует предмет с точки зрения его качества, добротности, бытовой функциональной пригодности... <...> Эта связь сохраняется даже тогда, когда подобные предметы рассматриваются как символы – служат для выражения идей, наполненных духовным содержанием»¹. Слова с корнем *благ-*, употребленные в отношении человека, показывают его особую причастность небесной сфере постольку, поскольку благо исходит от Бога (по свидетельству евангелия, *никто не благ, как только один Бог*). «Также и действия человека, если они определяются как *благие*, рассматриваются как осуществляющиеся на земле, но принадлежащие иной, небесной сфере и имеющие особую, абсолютную значимость»². В этой интерпретации различие семантики производных *добр-* и *благ-* укладывается в рамки противопоставления сакральное – профанное.

С точки зрения оценочности различие в семантике сходных по значению лексем *добрый* и *благой* оказывается различием в сфере реализации оценки. *Благо, благой* прежде всего соотносено с этической оценкой, «однороднее» в оценочном отношении. *Добро, добрый* реализуют более широкий спектр оценок. Оценочная полифункциональность в данном случае есть следствие того, что это древнее праславянское общеоценочное средство. Поэтому именно оно и было использовано как языковое выражение, с одной стороны, сущностного атрибута Бога, а с другой – того хорошего, что соотносится еще и с человеком (истинное добро исходит от Бога, но оно может умножаться и усилиями человека). Большая дискретность понятия «добро» проявляется через синтагматику и парадигматику его выражающей лексики. Так, из анализа старославянской лексики Т.И. Вендиной добро – это не только благое дело, но и разум, знания (*доброразоумивъ* ‘очень сведущий, знающий’), стремление следовать принятым нормам, правилам поведения (*доброобразнь* ‘добропорядочный’ < *образъ* ‘пример, образец’) и даже ‘смелость’ (*добродръзостьнь* ‘откровенный’). Добро в средневековом обществе – это и красота (*добръ* ‘красивый’),

¹ Берестнев Г.И. Иконичность... С. 105.

² Там же. С. 104.

доброта ‘красота’, *доброличьнь* ‘красивый’), и социальная маркированность (*добродие* ‘знатность’), и витальные параметры человека (*доброприимати* ‘быть здоровым, сильным’), и выражение прагматической оценки (*добропотрѣбьнь* ‘очень полезный, нужный’)¹. По данным «Старославянского словаря» *добрѣ* (нареч.) ‘хорошо; красиво, прекрасно’, *добрѣ* синонимичны *благь*, *красьнь*, *благородьнь*, *благовѣрменьнь*, *лоучи*, *оуни*, в то время как *благь* сходно в значении с *добрѣ*, *миль* (*миль* ‘вызывающий сострадание’, ср. *милосердие*) и переводит древнегреческие слова со значением ‘добрый, хороший, приятный’². Так выглядит *добро* / «добро» и *благо* / «благо» в зеркале старославянского языка. И это зеркало показывает, что спектр оценочной функции есть следствие закономерной реализации оценочного потенциала, обусловленного тем (дескриптивным) признаком, на базе которого формировалось оценочное значение, и, видимо, степенью закрепленности этого признака, его знаковой функцией в культуре (выше ср. генетически заданный семантический потенциал основ *добр-* и *благ-*).

Иная картина семантических отношений *благо/благой* и *добро/добрый* рисуется фактами русского языка. Синонимы *добро* и *благо* различаются в картине русского мира по следующему ряду смысловых признаков³. Первое. **Добро** абсолютно, признается таковым по сути своей, а не относительно того или иного человека. Представление о добре может измениться только вместе со всей ценностной шкалой человека. **Благо** же относительно, оно исчисляется применительно к обстоятельствам. Причем благо даже не всегда то, что действительно хорошо, а часто то, что в данном случае лучше (напр., *развод в этой ситуации благо*). Второе. **Добро** в большей степени предполагает этическую оценку действия или его результата, а **благо** – утилитарную характеристику итогового положения дел. Добро внутри человека, благо вне его. Представление о благе как представление о справедливости и правде связано с человеческим судом, с точкой зрения людей вообще, а представление о добре, как представление о совести и ис-

¹ Вендина Т.И. Средневековый человек... С. 184–185.

² СС 1999. С. 90, 192.

³ Левонтина И.Б. ДОБРО 1, БЛАГО 1... С. 79–82.

тине, – с абсолютной, высшей, может быть, божественной точкой зрения на мир. И третье. **Добро** рассматривается как абсолютная ценность и поэтому способно обозначать абстракцию высокого уровня – положительное нравственное начало в душе человека. Человек видит добро в природе вещей, наряду с красотой и смыслом. **Благо** же стоит в ряду таких понятий и слов, как *польза, благополучие, отчасти счастье*¹.

Как видим, в зеркале русского языка отражается иной образ, отчасти даже противоположный старославянскому. Сравни, например, выделенную черту, важную для русского («Добро внутри человека, благо вне его»²) и старославянского мировидения («*Благо* сокровенно, оно составляет цель в н у т р е н н е г о, духовного бытия человека и актуально прежде всего для духа. *Добро* же лежит вовне, будучи всегда открытым миру в своей очевидности, и достигается в н е ш н и м напряжением человеческой жизни»³). По определению принадлежности добра и блага внутреннему или внешнему миру человека эти утверждения противоположны. Но это только на поверхности, «в зеркале», противоречиво. Внутренне, с генетических позиций, это выглядит как непротиворечивый процесс семантического развития в результате актуализации разных аспектов исходной семантики.

Так, основа *благ-*, с «этимологического слоя» претерпевшая изменение *‘молоко’/*‘вкусная пища’ → ‘вкусный, сладкий’ → ‘приятный/дающий наслаждение’, ‘хороший’, может выразить внутреннее, душевное состояние человека (сладостное чувство, наслаждение), в «высоком» регистре старославянского как нечто дарованное Богом, в «низком», земном, – это нечто (= внешний по отношению к человеку объект реального мира), дарующее жизнь и чувство наслаждения, – (вкусная) пища. И как ни странно это кажущееся на первый взгляд дескриптивно-оценочное значение, став культурнозначимым, как будто через тысячелетия «прорастает» и «контролирует» семантический спектр этимологического гнезда (даже в современном русском языке значение слова *блага* имеет семантический компонент ‘удовольствие’: *блага* – это ‘то,

¹ Левонтина И.Б. ДОБРО 1, БЛАГО 1... С. 79–80.

² Там же.

³ Берестнев Г.И. Иконичность... С. 106.

что служит к удовлетворению каких-л. человеческих потребностей, дает материальный достаток, доставляет удовольствие¹⁾.

Таким образом, разные признаки, поставленные «во главу угла» разными историко-культурными ситуациями (традициями) и ставшие «знаковыми» для них, выражающие в одном случае исходно позитивную (нормативную) оценку, в другом – сенсорно-вкусовую, гедонистическую, получают свою специфичную траекторию развития, совпав в общеоценочной функции.

Л е п ы й

Уже в ранних текстах др.-рус., рус.-цслав. *лѣпный* реализует значительную часть спектра положительных оценок – эстетическую, этическую, утилитарную, нормативную, которые пересекаются со значениями модальности необходимости: ‘красивый’ (XII–XIII вв.: *Бъаше же дѣци ему лѣпа и прѣлѣпа видѣниемъ и красьна тѣлѣмъ*), ‘хороший’ (XV–XIII вв.: *Идаменеусъ... чръновласъ, смыслень, стрѣлецъ лѣпъ, веледушенъ*), ‘годный, полезный, необходимый’ (XV в. ~ 1047 г.: *И поштитъ гъ вседръжителъ стада своего дому Иудова, и учинитъ я яко коня лѣпа ему въ брани*), ‘подобующий, надлежащий, должный’ (XIII в.: *И помолитъ старьца пряти его съ лѣпымъ епитиемъ*. Ср. *безъ лѣпа* ‘без причины, без надобности’. 1147 г.: *Тако ли намъ безъ лѣпа хрсть цѣловати*)²⁾. Сходный круг значений и у производных от *лѣпный*: *лѣпота* ‘красота; приличие, благопристойность’ (1093 г.: *Въ лѣпоту ‘заслуженно, по справедливости; так или такой, как нужно’*), *лѣпотный* ‘прекрасный, красивый; славный, блистательный; подобующий, приличный’ (XII–XIII вв.: *Такъ съ лѣпотною чьстю и съ лѣниемъ погребоша чьстное тѣло его*), *лѣпость* ‘красота’, но *безъ лѣпости* ‘непристойно’ (1073 г.: *Язвени бывъше, бѣжаша безъ лѣпости*), *лѣпостный* ‘красивый’ и др.)³⁾.

В современном литературном русском языке (как и в украинском, белорусском) это прилагательное вышло из употребления,

¹⁾ МАС I. С. 92.

²⁾ Словарь XI–XVII вв. Вып. 8. С. 208, 210.

³⁾ Там же. С. 209.

его след сохраняется в составе производного *нелепый, нелепость* (изменение значения можно проследить по форме, приведенной В.И. Далем (II, 1357): *нелѣпый* ‘некрасивый, непригожий, незиящный’ и ‘бесмысленный, вздорный, пустой’). *Лепый* в словаре В.И. Даля приводится со значениями ‘хороший, красивый, прекрасный, благовидный’ с пометой «церк., стар., перм.»). По данным СРНГ, *лепый* употребляется в ряде диалектов русского языка в значениях ‘красивый, прекрасный, хороший’ (перм., урал., олон., смол.: *Она лицом лепа. Лепая лошадь*), ‘хороший, добрый’ (печор.) при *лепо* нареч. ‘красиво, хорошо’, ст.-блр. *лепыи* ‘добрый, пригожий’. Отмечены в отдельных говорах и производные: (калуж.) *лепо* ‘красиво, хорошо’ (Слов. Акад. 1847, «церк.»), *лепотá* (арх.) ‘красивая внешность, дородность’, *лѣпоть* (олон.) ‘красота’¹.

В семантике соответствий в других славянских языках также преобладает выражение абсолютной (эстетической) оценки (болг. *леп* ‘красивый, хороший’, с.-хорв. *лѣп* (ист.), *лѣп* (зап.) ‘красивый, видный; знатный; примерный’, диал. ‘хороший, большой’, *lijer, lijera* ‘decens, decogus, пристойный, такой, какой следует; красивый’, чеш., словц. *leпý* ‘красивый, прелестный’, в.-луж. *lepy* ‘ловкий; милый, привлекательный, красивый’ и др.²). Это же демонстрирует «Шестоднев» Иоанна Экзарха Болгарского (1263 г.), которого называют главным «трансформатором» византийских философско-эстетических идей в славянскую культуру: *красота, красьнь* нечасто встречаются в «Шестодневе», чаще используются их синонимы *лепота, лепъ, доброта, добръ* (*красота* встречается 11 раз, *красьнь* – 15, *лепота* – 25, *лепъ* – 30, *доброта* – 35, *добръ* – более 200 раз, правда, не всегда как эстетическая оценка)³.

В славянских языках **лѣръъ* ‘красивый’ известно еще в одной, важной, роли: от его основы образован общеоценочный компаратив к *добрый* – **лѣръъъ* ‘лучше, лучший’ (др.-рус. *лѣплий* и *лѣпшиий*, *лѣпшиайшиий* ‘лучший, лучше, самый лучший’ и ‘знатный, знатнейший’, ‘более благопристойный, благовидный’, *лѣпле*,

¹ СРНГ 16. С. 366, 368; ЭССЯ 14. С. 226.

² ЭССЯ 14. С. 225–228.

³ Бычков В.В. Русская средневековая эстетика XI–XVII вв. 2-е изд. М., 1995. С. 71, 625.

лһнише ‘лучше’, рус. диал. *лепей, лепше* (пск., смол.), укр. *ліпший* ‘лучший’, чеш. *lepší*, польск. *lepszzy* ‘лучше’). В старославянском известен только вариант *лһнһи* и нет производных от этого компаратива (как и в древнерусской письменности), отмеченных в отдельных регионах славянских языков (глагол **lěрьšati*, представленный в с.-хорв. *лѣпшати*, словен. *lěřšati* в значении ‘делать красивым, украшать; усовершенствовать’, польск. *lepszeć* ‘снискать уважение у людей, милость у бога’, *lepszeć się*, блр. *лѣпшаць* – ‘становиться лучше, выздоравливать’; **lěрьšestь*, известное только в западнославянских языках: чеш. *lěřšost* ‘высшая степень, преимущество’, ст.-польск. *lepszość* ‘наивысшая степень’, в.-луж. *lěřšosć* ‘улучшение в болезни’, словин. *lěřšosc* ‘люди, относящиеся к высшим сферам, богачи’; **lěрьšina* как в.-луж. *lěřšina* ‘преимущество, выгода’, рус. диал. (смол.) *лепшинá* ‘что-либо хорошее, высокое качество предмета’¹). Обозначенная ситуация дает основание предположить относительно позднее на общеславянском уровне образование компаратива и тем более его производных. Но это может уточниться только в ходе анализа формирования оценочного значения у слав. **lěрь*.

Относительно этимологии праслав. **lěрь* существует три гипотезы. В рамках первой из них² слав. **lěрь* сближается с лат. *lepidus* ‘милый, остроумный’, *lerog* ‘прелесть’, семантическое развитие которых идет по модели ‘слабый, нежный’ → ‘тонкий, изящный, прелестный’ (что не соотносится с эволюцией семантики сопоставляемых славянских слов). Авторы второго и третьего предположений исходят из связи праслав. **lěрь* с и.-е. корнем **leip-: *loip-: *lip-* ‘мазать жиром, маслом; клеить’ (от полной ступени его образованы др.-инд. *lērayati* ‘мажет’, *lēra* ‘мазь, жир, грязь’ и от слабой ступени – др.-инд. *liprāti* ‘мазать; красить; прикреплять, присоединять’, литов. *lipri* ‘липнуть, прилипнуть’, *λίπος* ‘жир’³). Праслав. **lěpiti* (каузатив к **lěpēti*, **lěpnQti*) трансформировал исходную семантику как ‘мазать чем-л. клейким’ → ‘клеить’, ‘мазать глиной’ → ‘формовать из глины’, ср. с.-хорв. диал. *lijèpnuti* ‘соединять клейким веществом; облеплять замазкой,

¹ СС 1999. С. 314; Словарь XI–XVII вв. Вып. 8. С. 210; ЭССЯ 14. С. 232.

² *Machek*. 264.

³ *Miklosich*. С. 178; *Berneker I*. С. 712; *Pok. I*. С. 670–671.

штукатурить; делать что-л. из липкой массы, лепить’, болг. диал. *léna* ‘белить дом’, польск. *lerić* ‘обмазывать глиной, лепить’, ст.-укр. *лһптити* ‘мазать, штукатурить’ и др.; укр. *ліплянка* ‘мазанка, хижина из глины, из хворосту, облепленного глиной’; *Іѣръ ‘клей, птичий клей’ и т.п.¹

По одной гипотезе (Р. Мерингер) семантика слав. *Іѣръѣ объяснена своим происхождением изменению (*‘мазать жиром, маслом; клеить’ → ‘жирный, тучный → ‘красивый’ (ср. макед. диал. *masnina* ‘красота’ при **masty* ‘жир’). У этой гипотезы не оказалось последователей. По иной интерпретации семантических связей в гнезде праслав. *Іѣръ, принятой многими авторами этимологических словарей (М. Фасмер, А. Брюкнер, П. Скок, Ф. Славский, О.Н. Трубачев), изменение происходило следующим образом: ‘прилипающий, льнуший’ → ‘соответствующий’ → ‘хороший’ → ‘красивый’². Мотивационные отношения с этим этимологическим гнездом были ослаблены у слав. *Іѣръѣ еще в праславянский период³. Типологически подобное развитие семантики видят в гнезде слав. **mazati*: рус. диал. *мазь* ‘благоприятные условия’, *смазень* ‘щеголь’, *смазливый* ‘красивый’)⁴.

Несмотря на то, что эта последняя интерпретация семантических изменений у производных слав. *Іѣр- представляется в целом убедительной, обращает на себя внимание один факт, одна несостыковка материала и предложенной схемы.

Старославянское *лһпъ*, *лһпый* имеет два значения – ‘великолепный, красивый’ и ‘приличный, уместный, надлежащий’. И только др.-рус., цслав. *лһпый* соответствует ему в значении ‘подобающий, надлежащий, должный’, да еще у с.-хорв. *lijer* отмечается значение ‘пристойный, такой, какой следует; красивый, *decens, decorus*’, т.е. модальное значение необходимости не является общеславянским, а представлено в старославянском и в сфере его активного влияния. То же самое наблюдается и в семантической структуре производных: ст.-слав. *лһпо есть* ‘должно, уместно, надо, надлежит’ (*и паче поминати лһпо*), *лһпота* ‘красота, великолепие’ и *съ лһпоты, по*

¹ ЭССЯ 14. С. 217.

² Там же. С. 226–227.

³ *Рок. I*. С. 670–671; ЭССЯ 14. С. 227.

⁴ ЭССЯ 14. С. 227.

лһпотһ ‘прилично, уместно, надлежащим образом’, *лһпотьнь* ‘приличный’, др.-рус., рус.-цслав. *лһпо* ‘надлежащим образом, хорошо; красиво’ и безл. ‘прилично, подобает следует’, *лһпотный* ‘прекрасный, красивый, славный, блистательный, подобающий, приличный’¹. А если это так и в предложенной схеме семантических изменений производных слав. *lǣp- не было этапа ‘соответствующий (прилициствующий, надлежащий)’, то как же возникло значение ‘красивый’ и компаративное ‘лучше’?

Ответ видится, в общем-то, простой, «прописанный» в семантических отношениях производных слав. *lǣp-, где возник целый ряд омонимичных образований в результате нарушения мотивационных отношений. Так, кроме приведенного в ЭССЯ праслав. *lǣpiti, там же дается *lǣpiti II, реконструированное на основе словен. *lepiti* ‘украшать’, с.-хорв. *lijèpiti* ‘делать так, чтобы объект стал красив, украшать’, ст.-чеш. *lepiti sě* ‘улучшаться’². Что общего между ‘мазать’ и ‘украшать’? Какие факты культуры может отражать их сближение?

Обращение к истории материальной культуры славян (в данном случае – и германцев) показывает, что между этими значениями существует прямая связь. Вспомним, что стены жилища древних славян (и германцев) представляли собой «плетень», обмазанный глиной (ср. известный до сих пор способ штукатурки деревянных стен на дранку) или глинобитные стены. О том, что это был самый распространенный способ строительства жилья, известно не только по данным историков, археологов, античных авторов, таких как Плиний, Тацит (ср. мазанки – и поныне известный тип жилья на Украине, в степных районах), но и по свидетельствам языка (ср. изменение значения ‘мазать’ → *‘строить’ → ‘делать’ у германских соответствий слав. *mazati– др.-в.-нем. *mahhon*, нем. *machen*, англ. *make*; при нем. *winden* ‘плести, обвивать’ и *Wand* ‘стена’, собств. ‘плетень’). Из этого же ряда и слав. *mazati, *lǣpiti (глину сначала набрасывают на стену, лепят, а потом разравнивают), ср. с.-хорв. *лѣповина* ‘замаска; смесь из глины с водой и соломой, которой обмазывают стены дома; лепешка’. Способ подновления, улучшения внешнего вида такого жилища,

¹ СС 1999. С. 314; Словарь XI–XVII вв. Вып. 8. С. 209.

² ЭССЯ 14. С. 219.

мазанки, – периодическое нанесение слоя свежей (жидкой) глины (для того же служит и побелка). По сообщению античных авторов, германцы любили украшать жилища, обмазывая их разноцветной глиной. Сопоставим с этими фактами языковые данные. В пользу того, что изменение значения ‘мазать’ в ‘украшать/делать лучше’ стало основой формирования значения ‘красивый’ и ‘лучше’ у производных *lěp-, свидетельствует как сравнение семантики *lěpiti I и значения и *lěpiti II, так и значения ст.-слав. *лѣпствовати* ‘выделяться, отличаться (с лучшей стороны)’, др.-рус., рус.-цслав. *лѣпствовати* ‘отличаться, быть заметным; блистать’, *лѣпovati* ‘быть заметным, отличаться’, с.-хорв. *lǝpjeti* (*lěpěti) ‘становиться лучше, красивее’, болг. диал. *лѣпен*’е ‘мазание стен или пола глиной’, словен. *lepotica* ‘украшение, драгоценности, отделка; косметика’, слав. *lěpota I ‘красота, убранство, украшение, привлекательность’ и *lěpota II в рус. диал. *лепотá* (сев.-двин.) ‘глинистая грязь’, блр. диал. *лепота* ‘снег с дождем, жидкая грязь’, чеш. *lepý* ‘клейкий’ и др.-рус. *лѣпный* ‘подобающий, надлежащий’ и др.¹). Типологически подобное изменение семантики наблюдается и у производных близкого по значению слав. *mazati, ср. укр. *мазати* ‘мазать, облепливать глиной; белить; мазать; баловать, ласкать’, болг. *мазне* ‘гладить’, *мазне се* ‘ласкаться’ и макед. *мазни* ‘гладить, украшать’, *масен* (*mazънь) ‘красивый’².

Из анализа семантических отношений в этимологическом гнезде слав. *lěp- видно, что значения ‘красивый’ и ‘лучше’ у производных не связаны в своем происхождении с обобщением значений типа ‘ладный, статный, дородный’ и т.п., иначе говоря, не связаны с обозначением внешнего вида человека, но соотносятся с определением преобразующей деятельности человека: ‘мазать’ → ‘украшать/делать лучше’, откуда ‘украшенный/*выделяющийся внешним видом’ → ‘красивый’, ‘(ставший) лучше’. Именно эти значения (‘красивый’, ‘лучше’) являются общеславянскими. В древнерусском, где, кроме эстетической, *лѣпный* может выражать и другие оценки, где шире всего спектр частных оценок, эта лексема несет нагрузку общеоценоч-

¹ ЭССЯ 14. С. 215–232.

² ЭССЯ 17. С. 25–31.

ной. И, следовательно, общая мелиоративная оценка возникла здесь на основе абсолютной (эстетической).

Появление у лексемы *лһнь*, *лһный* в старославянском модально-го значения необходимости (и под влиянием старославянского широко представленного в древнерусском) мы относим к разряду заимствований (семантическая калька) как результату взаимодействия славянской и византийской культур. Славянское **лѣрьъ* ‘красивый’, исходно как ‘украшенный’/*выделяющийся внешним видом’, не могло получить значение прескриптивной модальности (‘такой, как нужно’) ни по логике дескриптивного компонента (не такой признак, чтобы получить значение «обязующего»), ни по историко-культурным параметрам без «возмущающего» инокультурного влияния. Чтобы выяснить это, обратимся к списку греческих коррелятов старославянскому *лһный*. Согласно данным словаря старославянского языка¹, ст.-слав. *лһнь*, *лһныи*, имеющее значение ‘великолепный, красивый’, соответствует греч. εὐσπλαγχνος ‘добро-сердечный, милосердный’, во втором значении – ‘приличный, уместный, надлежащий’ – его греческими эквивалентами будут προσήκων ‘приличествующий, подобающий’, δεῶν ‘долженствующий’, ἐνδεής ‘нуждающийся’, πρέπων ‘приличный, пристойный, соответствующий’ (от πρέπω ‘отличаться, быть видным’ и ‘быть приличным, пристойным’); ст.-слав. *лһнота* ‘красота, великоле-пие’ передает греч. ε(π)ρέτεια ‘красивый вид, красота, изящество; видимость истины’, κ)σμος ‘украшение, наряд, краса, порядок’; (НЗ) ‘земные блага’, ο)ραι)της ‘подобное, надлежащее’, τό εὐσχημον ‘благопристойность; благородство, изящество, красота’; *сь лһноты, по лһнотѣ* ‘прилично, уместно, надлежащим образом’ – греч. αναγκα)ως ‘по необходимости’, καλ)ς ‘красиво, прекрасно; хорошо, превосходно; честно, доблестно’, ε)κ)τως ‘естественно, прилично, как следует’, εὐλ)ως ‘разумно’².

По соответствиям видим, что славянское **лѣрьъ* регулярно передает на уровне старославянского языка значения греческих слов, в семантике которых чаще всего соседствовала эстетическая оценка и модальность необходимости (ср. πρέπων от πρέπω ‘отли-

¹ СС 1999. С. 314.

² Дворецкий 1958. Т. 1–2.

чаться, выдаваться, блистать, быть видным' и 'быть приличным, пристойным' или τό εἰσχημον 'прелесть, красота, изящество' и 'благопристойность, благовоспитанность, благородство', производное от σχῶμα 'наружный вид, образ, положение в жизни' и мелиоративной приставки ε(-), семантика греческих коррелятов *лн-ный* также могла содержать этическую и общую оценки (ср. *лн-ный* ~ εἰσπλαγχνος 'добросердечный, милосердный', καλῶς, выражающее широкий спектр оценок), причем знаки оценок могли не совпадать (εσχ→μων 'благопристойный, полный достоинства; красивый, прекрасный, благородной внешности; почтенный, уважаемый' и 'притворный, лицемерный'). Наверно, можно в данном случае говорить о своеобразной ремотивации с точки зрения христианского мировидения, в котором высшие ценности – духовные, нравственные и поэтому 'должное, подобающее, приличествующее' есть и 'прекрасное, красивое'.

Таким образом, праслав. *lěръjь, представляющее частную (эстетическую) оценку, есть собственно славянская семантическая инновация (ср. самое близкое по значению – лтш. laĩrns 'приветливый, дружелюбный'). Частнооценочное значение возникло в результате семантических изменений, укладываемых, как полагаем, в схему **'мазать' → 'украшать/делать лучше'**, откуда **'украшенный'/*выделяющийся внешним видом' → 'красивый', '(ставший) лучше'**. Предполагаемое направление семантической эволюции находит подтверждение в семантике производных слав. *lěp-, объясняет одновременно появление значения 'красивый' и 'лучше'. Региональное появление у прилагательного *лнный* функции общей оценки мы связываем с появлением в семантике этого слова модального значения необходимости, возникшего в этом же ареале, как полагаем, в результате влияния греческого языка, шире – византийской культуры ('хороший → 'такой, какой следует, должный' и наоборот). Следы этих значений (общеоценочного и модального значения необходимости) сохраняются в ареале старославянского и древнерусского/церковнославянского, ср. болг. *леп* 'красивый, хороший', с.-хорв. *лѣп* (ист.), *лѣп* (зап.) 'красивый, видный; знатный; примерный', диал. 'хороший, большой', lijep, lijèpa 'decens, decorus, пристойный, такой, какой следует; красивый' и рус. диал. *лєный* употребляется в ряде диалектов русского языка в зна-

чениях ‘красивый, прекрасный, хороший’ (перм., урал., олон., смол.).

Л а д н ы й

Региональная и поздняя реализация общеоценочного значения в восточнославянских языках – прилагательное *ладный*. Слав. **ladnъjъ* производно от **ladъ* (ср. рус. *лад* ‘согласие, мир; порядок, слаженность; способ, манера’, укр. *лад* ‘порядок, обычай; лад, взаимное согласие’, блр. *лад* ‘лад, мир’, диал. ‘порядок, обычай’; ‘лад, согласие’, польск. *ład* ‘порядок, строй’, диал. ‘дело’), представленного только в восточнославянских и польском. В других западнославянских языках и в южнославянских **ladъ* неизвестно, но распространена форма **lada* (**lado*), употребляемая как ласкательное название супруги (супруга), любимого существа и т.п. (в этом качестве известно и в восточнославянских)¹. Письменная история существительного *лад* начинается с XVII–XVIII вв., где ст.-рус. *ладъ* имеет значения, похожие на современные, – ‘согласие, порядок, мир’ (*на что кладъ, коли в семье ладъ*), ‘лад, строй’ (*старую погудку на новой ладъ*). Хотя единично это слово отмечено и в более раннем памятнике, XI–XII вв., известном в списке XV в., где выражение «На ладу быть съ кем, чем-л.» означает ‘равняться с кем, чем-л.’ (*Аже будет свиный хвостъ локоть во-длѣ, не может с коневим хвостом на ладу быть*)².

Употребление производного от существительного глагола *ладити(ся)* документировано в древнерусском языке в памятниках письменности начиная с XII в.: *ладити* в значениях ‘мирить’, ‘настраивать (музыкальный инструмент)’, ‘справляться с кем-л.’, *ладитися* – ‘мириться, договариваться’, ‘умещаться, укладываться’, ‘иметь близкие отношения с кем-л.’ (*А которой члвкъ хочет часто з женками ладится...*)³. В близких значениях этот глагол приводится у В. Даля (*ладить обѣдъ, чай; ладить свадьбу, ладить дѣло, ладить с кем* ‘жить мирно, соглашаться’), широко употребителен он в современном русском языке, в говорах (ср. рус. *ла-*

¹ ЭССЯ 14. С. 9.

² Словарь XI–XVII вв. Вып. 8. С. 160.

³ Там же. С. 160–161.

дить ‘жить в согласии, мире, дружить; приводить в порядок, в исправное состояние; изготовлять, делать, строить’, диал. ‘обещать, уговаривать, угождать, подходить, соответствовать’ и др.). В сходных значениях *ладить* известно в украинском и белорусском языках. В западнославянском ареале этот глагол представлен чеш. *laditi* ‘приводить к согласию’ и польск. диал. *ładzić* ‘приводить в порядок, располагать, готовить; подсобать, быть приятным’¹.

Славянское **ladnъjъ* представлено как др.-рус. *ладный* ‘равный, одинаковый; подобный’ (XVI в.~XII в.: *Вси же ладна оружиа носят, яко велможа, тако и худши*), в западнославянских как ст.-польск. *ładny* ‘подходящий, упорядоченный’, польск. *ładny* ‘привлекательный, красивый’; ‘немалый’, диал. ‘взрослый’, ‘крупный’, ‘чистый’, ‘красивый’, словин. *ładni* красивый, хорошенький и чеш., слвц. *ladný* ‘миловидный, ладный’ (при отсутствии производящего существительного вероятно польское или/и восточнославянское влияние). И лишь в восточнославянских языках встречаем общеоценочное значение: рус. *ладный* ‘живущий в мире, согласии; хорошо сложенный, статный; хороший, дельный’, диал. ‘хороший; должный; покладистый, согласный’ (пск., твер.); ‘хороший, здоровый’ (иркут., том.), ‘большой’ (смол., том.), ‘красивый’ (том.), ‘годный, пригодный’ (твер., пск., новг., вят., барнаул.); укр. *ладний* ‘согласный; красивый; порядочный; взрослый; свежий, доброкачественный’, диал. ‘хороший, вкусный, красивый’, блр. *ладный* ‘порядочный; хороший, похвальный’, диал. *ладны* ‘хороший; пригожий, ладный; умный, интересный’².

То есть в ареале современного употребления прилагательное **ladnъjъ* выражает разнообразные оценки: чаще эстетическую, а также наряду с утилитарной – этическую, общую. Общеоценочным значением обладает словообразовательный вариант к *ладный* – рус. диал. *ладкий* ‘хороший, годный’ (при с.-хорв. *ладак* ‘мягкий, легкий’) и наречие *ладно*, которое в ранних древнерусских текстах употребляется в значении ‘равно, одинаково; согласно; четным

¹ *Фасмер II*. С. 447; ЭССЯ 14. С. 10.

² *Словарь XI–XVII вв.* Вып. 8. С. 161; СРНГ 16. С. 236; Гринченко 2. С. 340; ЭССЯ 14. С. 10–13.

числом', а в текстах XVII в. — 'благополучно, успешно', безл. в знач. сказ. 'хорошо', ср. рус. разг., укр. *ладно* 'в согласии, хорошо'¹.

Достоверной этимологии слово до сих пор не имеет. Существующие сближения *ladъ ничего не дают для раскрытия структуры слова (сопоставление *ladъ с гот. *lētan* 'пускать' у М. Фасмера², в словаре Бернекера — с ирл. *laaim* 'бросать, класть, посылать', греч. *Υλάω* 'гнать'³). Из новых этимологических решений в первую очередь заслуживает внимания предлагаемое О.Н. Трубачевым решение вопроса: первый компонент слова можно рассматривать как реликт старого указательного местоимения *ol- (в функции предлога-приставки) и второй компонент — ступень редукции и.-е. *dhē- 'класть, ставить'⁴ (собств. 'это/так расположенное', 'со-расположенное'?)). Правда, при таком подходе к определению истоков этого этимологического гнезда остается еще много неясности и со спецификой семантического варьирования (если объединять как генетически близкие *ladъ, *lada, *lado), и с ареалом распространения.

Этимологи отмечают функционально-семантическую близость слав. *ladъ и *lagoda (*lagodъ, *lagodъ), ср. др.-рус. *лагода* 'угождение, потворство', рус. диал. *лагóда* 'лад; лады, мир; порядок, устройство; кротость, доброта', *лагодить* 'ладить', *лагóжий* 'хороший, пригожий, красивый' ст.-чеш. *lahoda* 'удовольствие, склонность', в.-луж. *lahoda* 'привлекательность, прелесть' и т.п. в других славянских языках⁵, которое также не имеет приемлемого этимологического решения. Демонстрируемая слав. *lagoda близость с гнездом *god- даже вызвала предположение о контаминации *ladъ X *god-⁶.

Подводя итог, при имеющихся скудных данных по биографии слова и непроявленности внешних (внеславянских) связей следует подчеркнуть исторически засвидетельствованный ареальный характер распространения *ladъ, *ladнь, *laditi, центр ареала — древ-

¹ ЭССЯ 14. С. 10–13.

² *Фасмер II*. С. 447.

³ *Berneker I*. С. 683.

⁴ ЭССЯ 14. С. 11.

⁵ Там же С. 13–14.

⁶ Там же. С. 14.

встречается: др.-рус., рус.-цслав. *красьный* ‘красивый, прекрасный’ (XI–XII вв.: *Бяше же красьнь лицьмь; красная дѣвица*); ‘очень хороший, превосходный; дарующий радость’ (1096 г.: *красная память; красный свѣтъ* ‘благодатная земля, мир’; *красная зоря, красный мѣсяць* — ласковые обращения к человеку), ‘яркий, выделяющийся цветом, цветной, пестрый’ (XIV в.: *ризы красные*); ‘главный, парадный’ (1157 г.: *Разграбиша его дворъ его красны; красное крыльцо, красное окно*), в сост. сказ., преимущ. в кр. ф. ‘уместен, удобен’ (1076 г.: *Красьна естъ милостини въ врѣмя ск(ѣ)рби, яко же и облаци дѣждевьнии въ время ведра*). *Красный*, реализующий варианты общеоценочного значения, представлен в текстах **старорусского периода**: *красень* как ‘ясен, погож, светел’ (1697 г.: *День былъ до полудня красень, а къ вечеру былъ снѣгъ*), *красный* как ‘высокосортный, наиболее ценный’ (1576 г.: *красный (яловичий) товаръ* ‘хорошо выделанная кожа высшего качества’. 1673 г.: *красная рыба* ‘хрящевые рыбы, являющиеся высшим сортом съедобных рыб’)¹). В диалектной лексике современного русского языка *красный* также известно в частнооценочном (‘красивый’) и общеоценочном значениях: *красный* ‘красивый, прекрасный, превосходный, лучший’; ‘большой, здоровый, сильный’; ‘славный, известный’; ‘(о погоде) хороший, погожий, солнечный’, ‘очень хороший (обед)’ (*Свадьба бываить, или умретъ хто, делаютъ красный абет*)².

Эта ареальная ситуация не есть явление позднее или вторичное, т.е. нет оснований предполагать утрату *красный* как цветообозначения на остальной территории Славии. Об этом свидетельствует, в частности, письменная история семантики слова, от которого произведено *красный* и близкородственные ему слова: так, др.-рус. *краса* сначала в текстах встречается в значении ‘радость’ (как соответствие греч. τὴν τερπνότητα от τέρπω ‘улаживать, радовать’; XI в.), затем — ‘украшение, красота’ (XIV–XV вв.) (ср. и с.-хорв. поэт. *крась*, укр. диал. *крась* ‘красота’), др.-рус. *красота* — это ‘великолепие, тонкость, остроумие’ (X в.), ‘красота, прелесть’ (XI в.); *красоватися* ‘радоваться, наслаждаться’³.

¹ Словарь XI–XVII вв. Вып. 8. С. 20–21.

² СРНГ; СРДГ II. С. 88.

³ Словарь XI–XVII вв. Вып. 8. С. 15. С. 19.

Лишь в текстах **начала XVI в.** *красный* появляется как обозначение цвета: ‘красный’, а также ‘бурый, рыжий, карий, коричневый с красноватым оттенком’ (1516 г.; *красная лисица, красный воск* ‘воск с примесью красной краски’, *красные блины* ‘блины из гречневой муки’) и ‘крашенный, цветной’ (1589 г.: *тритьцать яиць сырыхъ да десять красныхъ*; 1649 г.: *сто ложець красныхъ вятскихъ*)¹.

Обращение к фактам других славянских языков показывает, что слав. **krasъpъ(jь)* является общеславянским только в значении ‘прекрасный, красивый’² и что только в ареале древнерусского и его продолжений (ср. укр. *красний* ‘прекрасный, красивый’ и ‘хороший’, *кращий* ‘лучший’) развивается, с одной стороны, значение ‘красный’ (красный цвет как символ красивого), с другой – ‘хороший, пригожий’. В качестве обозначения такого цвета в других славянских языках и в древнерусском используются другие языковые средства (ср. рус. *чермный*, др.-рус. *чърмьнь*, др.-серб. *чрман*, словен. *črmljen* ‘красный’ от праслав. **sъrъmь* ‘червь’ и производные от родственного ему праслав. **sъrъmь* – рус. *червленный*, др.-рус. *чървень*, болг. *чървен*, с.-хорв. *црвен*, словен. *črļjen* и др.)³.

Прослеживаемая в семантике прилагательных *лепый, ладный, красный* особо тесная связь эстетической и общей оценки, а также первичность эстетического и вторичность общеоценочного значений у *лепый, ладный* и *красный* (подтверждаемая языковыми фактами) свидетельствуют об устойчивой архаической черте собственно славянского мировидения: семантика лексики, ее обозначающей, не имеет неславянских соответствий, в отличие от других средств общей мелиоративной оценки, производных от основ **dob-*, **god-* (с балто-германскими связями).

В свою очередь, это позволяет, видимо, предполагать для определенной стадии истории славян (и особенно восточных) скорее актуальность нерасчлененности этих двух оценок, чем невычлененность эстетической оценки и средств ее выражения из общей оценки, как полагает В.В. Бычков. Занимаясь проблемами русской средневековой эстетики, он анализирует «Шестоднев» Иоанна

¹ Там же. С. 20.

² *Фасмер* I. С. 368; *Черных* I. С. 440 и др.

³ Там же.

Экзарха Болгарского, который практически первый столкнулся с проблемой перевода на славянский язык развитой греческой философской терминологии, в том числе и терминов, выражающих эстетические понятия. В.В. Бычков, в частности, отмечает, что «термин красота не часто встречается в «Шестодневе», однако самой проблеме прекрасного его автор уделяет достаточное внимание, чаще используя в качестве синонимов «красоты» (*красьнь*) термины «лепота» (*лепъ*) и «доброта» (*добръ*). <...> Согласно частотному словарю Р. Айцетмюллера... *красьнь* встречается в тексте 15 раз, *лепъ* – 30, *добръ* около 200 раз (не все из них в эстетическом значении)»¹.

Разрушение характерной для восточнославянского ареала тесной связи частнооценочного (эстетического) и общеоценочного значений наступило в связи с возникшим сближением и уподоблением эстетической оценки и конкретного цвета (красного), ставшего (в определенном месте и в определенное время) символом красоты. Следствием этого стали закрепление за прилагательным *красный* цветообозначения и передача частнооценочного значения производному *красивый* (в текстах с XIV в.: *Бяше же злоустъ неправъ дѣлы красивъ ризами и нравы же нелѣпъ*), а также архаизация общеоценочного значения.

Эта ясная по письменным памятникам ситуация с первичностью частнооценочного значения для слав. **krasъnъ*(ъ) и возникновением локально (в ареале древнерусской культуры) на его основе значения общей положительной оценки и цветообозначения становится неясной, и даже парадоксальной, если мы соотнесем ее с особенностями нынешней картины функционирования производных слав. **kras-* во всем славянском ареале.

Исходя из того, что семантические отношения разворачиваются на всем языковом пространстве, в котором используется данная единица номинации/морфема (с какими бы другими единицами, в том числе словообразовательными, она ни сочеталась), С.М. Толстая привлекает внимание к такому явлению, как семантический параллелизм между целыми лексическими (этимологическими) гнездами праславянского лексикона. Примером такого

¹ Бычков 1995. С. 71, 625.

семантического параллелизма являются праславянские гнезда *kras- и *květ¹.

Описанное семантическое пространство этих гнезд в славянских языках «обнаруживает очень большую степень семантической «связности», т.е. выводимость одних значений из других»². Семантика единиц того и другого гнезда создает большой общий спектр, который структурируется значениями из области вегетации растений, значениями из области физиологии человека, свадебной семантикой, семантикой света и некоторыми другими направлениями семантической производности.

Номинацию цветения (иногда всходов) растений, самого цветка, пыльцы в большинстве славянских языков выполняют производные корня *květ- (рус. *цветок, цвести*, польск. *kwiat, kwitnąć*, с.-хорв. *цвет, цвасту* и т.д.). Но в ряде языков и диалектов (прежде всего восточнославянских) в этой позиции находятся продолжения корня *kras- (блр. диал. *краса* ‘цветение злаковых растений, садов, опыление’, блр. тур. *краса, краска* ‘пыльца злаков’, рус. диал. *краса* ‘цветение злаковых’, *краска* ‘цветок’, *красоваться* ‘цвести (о ржи)’ и т. д.). И если в группе значений из области физиологии человека значение ‘кровь’ представлено главным образом лексемами с корнем *крас-* (ср. рус. диал. *краска* ‘кровь’ и др.; имплицитно же это значение может присутствовать и в производном от корня *цвет-*, например рус. донск. *цветный* ‘цветущий (о человеке)’ как ‘полнокровный, здоровый’), то для обозначения женских месячных (реже послеродовых) очищений и для представления вегетативной метафорой «пика» жизни, полноты жизненных сил, производительных сил человека (прежде всего женщины) широко используются образования от обоих корней. Причем, по мнению С.М. Толстой, это не «поверхностные» метафоры, а номинации, выражающие глубинные смыслы, относящиеся к сфере производительных сил человека (отчасти и животных). Слова с корнями *крас-* и *цвет-* также могут выступать в функции ключевых вербальных символов свадебного обряда (прежде всего

¹ Толстая С.М. Семантическая реконструкция и проблемы синонимии в праславянской лексике // Славянское языкознание. XIII Международный съезд славистов. М., 2003. С. 553–561.

² Там же. С. 560.

в восточнославянской традиции, частично в западнославянской и в меньшей мере в южнославянской). Обозначение небесного, солнечного света представлено прежде всего производными корня *kras-*, но этимологически исходная семантика праслав. *květ- ‘яркий цвет и свет’ (< и.-е. ‘белый, светлый’¹), реализацию которой, например, можно видеть в рус. диал. *цветсти*, *цветать* ‘рассветать’ или серб. *цвет* ‘пламя свечи’, *цветати* ‘гореть, пламенеть (о свече)’. Основные наиболее ярко проявленные линии семантической филиации обоих гнезд вместе с еще несколькими характерными для производных этих корней значениями (значения, связанные с цветом, окраской, окрашенностью предмета, пестротой, оценочные значения типа ‘красивый, прекрасный’ и – как специальные – обозначения жира, скоромного) проявляют мотивированность семантической деривации для обоих гнезд в такой степени, что автор сопоставительного анализа заключает: «Это почти «текст»².

В приложении к материалу сопоставительного описания гнезд *kras- и *květ- ареально-историческая оценка рисует парадоксальную картину: цветообозначение от *kras- возникает относительно поздно и на ограниченной и компактной территории (фактически это пространство Древней Руси, включая западнорусские земли с прилегающими польскими, где, как известно, существовала подвижность государственных границ и «руска мова» была основным языком Великого княжества Литовского), но в языках всей Славии производные *kras- используются для обозначения реалий, явлений, соотносящихся с красным цветом!

Что стоит за этой противопоставленностью эксплицитного и имплицитного обозначения красного цвета у производных от слав. *kras-? Невыясненность этого вопроса, как и непроявленность дескриптивного признака, на основе которого сформировалось значение эстетической оценки, делает обязательным обращение к этимологии слав. *kras-. В ситуации близости словообразовательно-этимологических гнезд *kras- и *květ- следует, видимо, идти путем определения того, какова относительная хронология и

¹ ЭССЯ 13. С. 161–165.

² Толстая 2003. С. 560.

какой «культурной памятью» порождено семантическое сближение, «синонимизация» этих гнезд.

Для производных корня ***kras-** С.М. Толстая предполагает (вслед за О.Н. Трубачевым) семантическое развитие от ‘цвет жизни’ к ‘красный цвет, румянец (лица), далее ‘цветение’, ‘цвет (растений)’ и затем – более общее – ‘красота’. Направление семантического изменения производных корня ***květ-** определяется от ‘блестящий, светлый, белый’ к ‘цвет, окраска, цветение’ и ‘красный’ (цвет). Таким образом, в этом случае следует видеть явленные в языке две линии формирования понятия «цвет»: 1) ‘красный’ (как цвет жизни)→ ‘цвет, цветение’ (развития значения от частного к общему); 2) ‘светлый, белый’→ ‘цвет’→ ‘красный’ (от обобщения частного опять к частному). Из сравнения предполагаемых семантических моделей развития этимологических гнезд получается, что основа сближения данных семантических пространств – инвариантное значение ‘цвет’. Можно ли это объяснить только системностью лексики, результатом «выравнивания» семантических структур синонимичных гнезд? Или за этим стоит все же специфика когнитивной «упаковки» разноцветного реального мира?

Праславянское ***květ-** считается продолжением индоевропейской основы ***k'voito-** (***k'veit-**; см. слав. ***kvisti**) в значении ‘белый, светлый’ (ср. лтш. **kvitêt, kvitu** ‘мерцать, блестеть’), откуда и слав. ***svěť** (относительно этимологии и объяснения кентумно/сатэмной реализации производных данного и.-е. гнезда см. словари М. Фасмера и ЭССЯ¹). Для нас важно отметить тот факт, что значение ‘цветок’, ‘цвести’ как производное от ‘яркий цвет/свет’ – собственно славянская семантическая инновация и в близкородственных балтийских языках это понятие выражено иначе (литов. **žiedas** ‘цветок’, **žydėti** ‘цвести’). С определением генетических связей слав. ***kras-** дело обстоит еще сложнее: не вызывает сомнений у исследователей только «ближняя» реконструкция², а дальше вопрос решается, в общем-то, традиционно, на уровне корневой реконструкции. Соответственно, имеем ряд вариантов решения вопроса о происхождении слова *красный*. Так,

¹ Фасмер IV. С. 292–293; ЭССЯ 13. С. 162–163.

² Фасмер I. С. 368; Черных I. С. 440 и др.

например, О.Н. Трубачев считает *красный* производным от *краса*, которое, в свою очередь, сближается с *кресать*, как *‘создавать, творить’, видя однокорневые образования в лат. *creō* ‘создавать, производить’, *crescō* ‘расти’ (это сближение предлагали еще Ф. Фортунатов, Э. Бернекер, но с иной аргументацией)¹; В.И. Абаев предполагает генетическую близость *красный* и *черный*, ссылаясь на типологически возможное осмысление ‘черного’ как ‘красивого’²; Э. Бернекер видел в *красном* производное от *краса*, которое он сопоставлял с литов. *krósnis* ‘печь, очаг’, лтш. *krâsns* ‘печь’ (**krasa* – ‘жар, (огненный) блеск’ → ‘красота, красивый’ → ‘красный’), против этого сближения выступал Э. Френкель; Ф. Миклошич допускал возможность этимологических связей слав. **krasa* и гот. *hrōþr* ‘слава’, исл. *hrōsa* ‘хвалить’ и т.п.; см. обзор этимологий³.

Сравнивая предлагавшиеся этимологические решения с результатами описания С.М. Толстой словообразовательно-этимологического гнезда слав. **kras-*, куда входит *красный*, видим, что ни одно из предполагавшихся исходных значений не получает поддержки в семантическом «тексте» однокорневых производных в славянских языках, не объясняет возникновение инвариантного значения ‘цвет’, т.е. «горизонтальное» простраивание этимологического гнезда в славянских языках не получает поддержки предлагавшегося «вертикального» построения.

В этой ситуации, очевидно, следует обратиться к истории самого явления цветообозначения у индоевропейцев. Существует мнение, что первыми в цветовой гамме древних носителей индоевропейских языков были выделены черный, белый и красный цвета⁴. Подтверждается это предположение большим количеством и семантической определенностью индоевропейских основ со значением ‘темный/черный’, ‘светлый/белый’, ‘красный’. Это, в свою очередь, дает основание и возможность посмотреть предполагаемое на материале славянских языков семантическое развитие

¹ ЭССЯ 12. С. 95–97.

² Абаев IV. С. 273–274.

³ ЭССЯ 12. С. 95–97.

⁴ Thurnwald R. *Psychologie des primitiven Menschen*. München, 1922; Berlin B., Key P. *Basic color terms*. Berkley, 1969.

производных слав. *kras- и *květ- на более глубоком хронологическом уровне как семантическую эволюцию в синонимичных гнездах, специализирующихся в индоевропейских языках на цветообозначении. Речь идет прежде всего о тех этимологических гнездах и.-е. корней, результатом развития которых считаются рассматриваемые слав. *kras- и *květ-.

Славянское *květ- продолжает и.-е. основу *kueit-/*kuoit- (к-велярное и палатальное), реализовавшуюся и в балтийских (литов. šviesà ‘свет’, šviesùs ‘светлый’, švièsti ‘светить’, švaitýti ‘светить, освещать (лучами)’), и в индо-иранских (др.-инд. śvétá- ‘белый, светлый, блестящий’, śvitrá ‘белый, седой’, авест. spaēta ‘белый’), и в германских (гот. hweits, англ. white ‘белый’) языках¹. Эта основа – региональное образование с -t- суффиксом (детерминативом), дальнейшие связи с более простой (структурно) основой однозначно в этимологической литературе не прослеживаются². В словаре Ю. Покорного³ др.-инд. śvétá- ‘белый, светлый, блестящий’ определяется как новообразование от корня *k’ei- (>*k’i-ei-, *k’i-uo-), производные которого широко использовались как цветообозначения (к варианту *k’i-uo- возводят гот. hiwi, англосак. hiew, hi(o)w ‘внешний вид’, англ. hue ‘цвет, тон’; слав. *sivъ⁴). Возможны, вероятно, и другие варианты формально-семантического сближения, например с продолжениями и.-е. корня *k’eu-:*k’ou-:*k’u- (>*k’u-ei-) ‘светить; светлый, блестящий’, представленного в и.-е. языках (преимущественно в индо-иранских языках и незначительно – в балтийских, славянских, армянском, греческом) с рядом суффиксальных расширений (-no-, -bh-, -k-, -t-)⁵. Основными («прототипными») в этом гнезде являются значения ‘светить, гореть’, ‘огонь, пламя’, ‘яркий’, ‘блестящий’, ‘красивый’, ‘белый’, ‘красный’, ‘прозрачный’, ‘чистый’ (др.-инд. śócati, śúcyati ‘светит, пылает, сверкает, горит’, śóna ‘красный, алый’, śónita ‘кровь’, śóka ‘раскаленный, горячий; пламя, жара’, śubhrá-, śuktrá-, śuklá- ‘ясный, светлый, пылающий, чис-

¹ Фасмер III. С. 575; Черных II. С. 145.

² Там же.

³ Pok I. С. 541.

⁴ Lehman. С. 185.

⁵ Pok I. С. 594, 597.

тый', авест. *suxta* 'сожженный', авест. *suxga*, перс., тадж., осет. *surx* 'красный' и др.¹. Но достаточно широко представленные в и.-е. ареале производные основы **kuoit*:-**kuoit*- в близких значениях ('свет', 'белый, светлый, блестящий') делают необязательной более глубокую «корневую» реконструкцию.

Славянское **kras*- по формально-семантическим признакам следует рассматривать среди продолжений и.-е. **ker*- (к- велярное и палатальное; суффиксы -s-, -ko-, -no-, -men-, -bh-), которые, как сообщает словарь Ю. Покорного, обозначают преимущественно темные тона (*Farbwurzel für dunkle, schmutzige und graue Farbtöne*²). Но исходя из приведенного в словарях (Ю. Покорного и др.) материала, следует уточнить, что наряду со значениями 'грязь', 'топь', 'зола', 'сажа', 'копоть', 'грязный', 'темный' производные рассматриваемого корня часто обозначают контрастные цвета – черный и белый – и их сочетание ('пестрый', 'пятнистый', 'пегий'): др.-инд. *kāṅśa*- 'отбросы, навоз', *kardama*- 'грязь, тина', *kalka*- 'грязь, нечистоты' и *kirmīra*- 'пестрый', *kuṅgā*- 'антилопа', др.-инд. *kaṅka*- 'белый' и др.-ирл. *corcach* 'болото', *šerkšnas* 'светло-серый' и 'иней', слав. **sernъ* в др.-рус., цслав. *срѣный* 'бело-серый, пестрый', *серень* 'смерзшийся снег; иней', др.-инд. *śārvaṅa*- 'пестрый, пятнистый, пегий' и литов. *kirba* 'болото трясина' < **k'er-b*-. Продолжением корня **ker*- считается основа **kers*-, к которой возводят и рус. *черный* (**сьгпъ* < **сьгспъ*, др.-пруск. *kirspan* 'черный', литов. *kėršas* 'пятнистый, рябой', *kėršis* 'черно-пестрый бык', *kėrše* 'пестрая корова', *kiršlys* 'хариус', норв., швед. *harr* (**harzu*-) 'хариус', скр. *कृष्णि*- 'ночь, темнота, мрак', *कृष्णतā* 'чернота', *कृष्ण-sāga*- 1) *преимуц.* 'черный'; 2) 'черный и белый'; 3) 'черно-пятнистый, пегий' и др. (особенно широко этот признак – 'пестрый', 'с белым/черным пятном на лбу' – отражен в именовании домашних животных)³). Семантика производных этимологического гнезда **ker*- (**k'er*-) и **kers*- демонстрирует пересечение значений 'черный' – 'темный/грязный', 'белый' – 'светлый' и 'черно-белый', 'пятнистый', 'пестрый', то есть это обозначение

¹ *Рок I.*; *Абаев III.* С. 166, 208–209; *Стеблин-Каменский.* С. 321.

² *Рок I.* С. 573.

³ *Рок I.* С. 583; *Кочергина В.А.* Санскритско-русский словарь / Под ред. В.И. Кальянова. 3-е изд., испр. и доп. М.: Филология, 1996. С. 172–173.

основных ахроматических цветов, воспринимаемых либо цельно, либо дискретно один на фоне другого, видимых на контрасте. Где же здесь место красному?

В.И. Абаев выдвинул предположение, что *красный* и *черный* вместе с др.-инд. *kṛṣṇa* допускают общую базу *ker-s- для обозначения цвета. Для подтверждения семантической совместимости семантики 'черного' и 'красивого' (→ 'красный') В.И. Абаев ссылается на выражения типа «черные очи» в русском, saw lærrū «бравый молодец», досл. «черный парень» в осетинском и на прямую, по его мнению, семантическую параллель с чеш., польск. *chory* 'черный' и рус. (диал.) *хорость, хорости* 'красота, краса, пригожесть'¹.

Что стоит за этим пересечением в нашем сознании представлений о черном, белом и красном? По каким законам они смешивались?

Полагают, что в начале человеческой истории в основе всех типов взаимодействия человека с окружающей средой лежало реликтовое мировосприятие, когда мир не воспринимался как совокупность вещей, имеющих раздельное и отчужденное от человека существование. Л.А. Сараджева, обратившаяся к проблеме эволюции черного, белого, красного цветов в индоевропейских культурно-языковых традициях, считает, что одной из характеристик реликтового мировосприятия в отношении цвета является идея видения, неразрывно связанная с идеей видения места. «Фон (вид, облик, пейзаж) является фундаментальным структурным элементом референции при любом описании зрительного восприятия: небо (обычно синее и голубое), земля (коричневая/бурая, черная), трава (чаще всего зеленая, но бывает и других цветов), солнце (обычно желтое и блестящее), море (обычно синее, но и белое, красное, черное). Однако пейзаж везде выглядит по-разному, и принцип описания типичных черт пейзажа является особенностью человеческого знания, характеризующего тот или иной этнос»².

¹ Абаев В. С. 273–274.

² Сараджева Л.А. Рождение цвета... (К эволюции черного, белого и красного цветов в индоевропейских культурно-языковых традициях) // Эколингвистика: теория, проблемы, методы: Межвузовский сборник научных трудов / Под ред. А.М. Молоднина. Саратов, 2003. С. 121–123.

При несовпадении цветового континуума в различных культурно-языковых традициях универсальным является противопоставление между временем, когда человек видит (день), и временем, когда человек не видит (ночь). Человек различает те предметы, которые кажутся светлыми (на темном фоне!) и блестящими, и те, которые кажутся темными (т.е. без света и блеска). В этой ситуации архетипами представления о темном/черном оказывается крошечно-черная ночь и нечто грязное, мутное (см. этимологические гнезда и.-е. корней *meut-, *(s)mei-, *tem-, *ker-s и др.). Свет проявляет и выражает многие вещи, поэтому и белый цвет, связанный с представлением о блеске, сиянии, образует в индоевропейских языках сложнейшие семантические переходы, охватывающие номинацию значительной части окружающего мира (ср. производные и.-е. *bhel-: *bhol-, *bher-, *leuk-, *albho-, *areg'-)¹.

Если архетипы черного и белого цвета оказываются определенными таким образом, то для красного сделать это оказывается сложнее. Для обозначения красного цвета существуют две и.-е. основы с исходным значением 'червь' – с одной стороны, это слав. *сьгвь (ср. др.-рус. *чьрвь* 'красная краска'), литов. *kiŕmis* и т.п., с другой – лат. *vermis* 'червь', укр. *вермяний* 'красный' и т.п. – и основа *teudh-, обнаруживающая устойчивые ассоциативные связи с именованнием металлов, ср. ст.-слав. *роуда* 'металл', рус. диал. *руд* 'красный', *руда* 'кровь' и др. Определить направление перехода 'красный' – 'металл' трудно, так как не восстанавливаются общеиндоевропейские обозначения ни для меди, ни для железа. Следовательно, сложно в данном случае определить архетип (прототипную семантику). Тем не менее Л.А. Сараджева, ссылаясь на строки из Упанишады («Красный цвет пламени – это цвет огня, белый цвет огня – это цвет воды, черный цвет огня – это цвет земли»), выражения типа рус. *раскаленный докрасна*, англ. *red-hot*, *fiery-red* и цветовую семантику пламени у производных и.-е. *ater- 'огонь' (ср. авест. *āter* 'огонь', лат. *ater* 'темный, черный, цвета сажи' и т.п.), делает вывод, что «глубинная связь должна быть установлена между *красным* цветом и его ближай-

¹ Там же. С. 123–124.

шим аналогом в человеческой среде, который зрительно ощутим и экзистенциально значим, это огонь (точнее пламя костра)»¹.

Для расширения аргументационной базы этого утверждения, в общем-то, можно привести еще немало примеров: см. выше о производных и.-е. *k²eu-k- со значением ‘яркий’, ‘блестящий’, ‘белый’, ‘красный’, ‘прозрачный’, ‘чистый’, оцениваемых в идео-семантическом плане как дериваты ‘света/огня’, ‘светить/гореть’ (др.-инд. śúcyati ‘светит, сверкает, горит’, śukrá- ‘яркий, блестящий, белый’, авест. suxra- ‘красный’ и др.)²; скр. kṛṣṇa-vartman ‘огонь, пожар’ (досл. ‘оставляющий черный след’), греч. πυρ ‘огонь’, πυρά ‘костер’, πυρρός, πυρρός ‘огненно-красный, рыжий, красновато-желтый’ и т.п. Но можно ли это рассматривать как свидетельство того, что огонь – единственный архетип для красного цвета на раннем этапе осознания и формирования языкового выражения цветовой палитры у индоевропейцев? Конечно, не единственный, хотя бы потому что с древности прослеживается устойчивая корреляция семантики красного цвета и семантики природных объектов в основном буро-рыжего цвета (руда, ржа, кровь)³. Кроме того, есть достаточно ранние в индоевропейской традиции обозначения огня, не демонстрирующие архетипическую связь ‘огонь’ ~ ‘красный (черный, белый)’, как, например, этимологическое гнездо *ogñ/*egñ. Объяснение этой картины видится в предположении, что архетипичность огня в формировании представления о красном цвете была культурно локальна, и, скорее всего, эпицентром такого осмысления красного цвета является культурно-языковая традиция, подобная индо-иранской, с ее культом огня.

Далее. Предположение об архетипичности огня в эволюции индоевропейских представлений о красном не дает ответа на вопрос: как и по каким параметрам в рамках исходной оппозиции свет – тьма (белый – черный), ахроматической по своей сути (включая серый как пограничный между белым и черным), выде-

¹ Сараджаева Л.А. Рождение цвета... С. 125.

² Абаев Ш. С. 166, 208–209.

³ Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы: В 2 т. Тбилиси, 1984. С. 711–712.

лилось уже собственно хроматическое представление и его именованье?

Считается, что наивная картина мира цвета не изоморфна научной модели цветового пространства, характеризуемого по трем основным признакам – тон, яркость, насыщенность. Цвет как понятие «наивной психологии» не эквивалентен тону (hue), соответственно, и яркость в наивном значении не эквивалентна яркости как термину (value)¹. Главный параметр описания отдельного имени цвета – тон (основной тон, основной цвет), насыщенность и яркость оказываются зависимыми компонентами, поскольку они в современных именах цвета не выражены, а слова типа *светлый, яркий, тусклый, блестящий, пестрый* не считаются именами цвета. Обсуждая понятие цвета в психолингвистическом аспекте, Р.М. Фрумкина склоняется к мысли, что «на основе признаков тон, яркость, насыщенность невозможно предложить никакого разумного описания множества слов – ИЦ, которое можно было бы вообще считать описанием их семантики, то есть описанием, остающимся в плоскости лингвистики или психолингвистики»². Думается, что, соглашаясь с этим, можно сделать оговорку: невозможно описать семантику имен цвета по принятым в науке параметрам, оставаясь в рамках синхронного исследования, «ключ» же к системному описанию может быть где-то в диахронии. По крайней мере, если есть в новое время иерархия признаков-параметров представления цвета (тон – основной признак, яркость, насыщенность – дополнительные), то нужно и можно попытаться увидеть в языке индоевропейского уровня или в более позднее (в данном случае – праславянское) время следы становления этой иерархии.

В этом отношении показателен пример с приведенными выше производными и.-е. *keg-s-, имеющими значения ‘черный’, ‘черно-белый’, ‘пестрый’ в древнеиндийском, балтийских, славянских языках. Они сопоставляются с родственными по корню образованиями (*keg- с другими расширениями), такими как лат. *carbō*, *ōnis* ‘уголь’, *carbunculus* ‘уголек; карбункул, драгоценный камень

¹ Фрумкина Р.М. Цвет, смысл, сходство (аспекты психолингвистического анализа). М., 1984. С. 21.

² Там же.

– гранат; красноватый туф’; гот. *hauri* ‘уголь’, др.-исл. *hurr* ‘огонь’, литов. *kurti* ‘разводить огонь, топить печь’, слав. **kuriti* ‘дымить’¹; можно предположить, что сюда же и неясное слав. *krěsati*, *krěsъ* в с.-хорв. *krijes* ‘огонь накануне Ивана Купалы’, словен. *krêš* ‘купальский огонь; солнцеворот’, рус.-цслав. *krĕsъ* ‘солнцеворот’. Эта сопряженность семантики цвета и огня позволяет объяснить и семантику иранских рефлексов корня **keg-s-* как вторичную, производную (согд. *kršn* ‘вид, внешность, облик’, *kršn’w* ‘красивый’, *qršn’wtu* ‘красота’ и претерпевшее значительные фонетические изменения однокорневое осет. *xuz|xuz* ‘цвет, вид, образ’, его производное *xuzæp|xuzæp* ‘подобный, похожий’ (как ягн. *ganke* ‘подобный’ от *gank* ‘цвет, образ’)²). В этом случае получает объяснение связь семантики огня, пламени и ‘черного’, ‘красного’ (равно как и ‘светлого, чистого’). Семантическую же эволюцию в этом гнезде следует интерпретировать как ‘(яркий) черный’, ‘(яркий, контрастный) пестрый’ (= черные/темные пятна на белом, белые/светлые – на черном, красном) обобщается до ‘(яркий) вид, цвет, внешность’ и далее ‘красивый’ (ареально → ‘красный’). Подтверждение этому находим не только в иранском языковом материале (ср. выше осетинские и согдийские примеры; при том что скифо-сарматский – субстрат для древнерусского), но прежде всего в самих славянских языках (польск. *krasy* ‘красивый, пестрый, разноцветный’, укр. *krasij* ‘пестрый, разноцветный’, диал. *krasij* ‘красно-белой масти, рябой (о животном)’, рус. диал. *krasъ* ‘красный цвет, красота’, польск. *krasa* ‘цвет (особенно красный)’, *kr’asula* ‘кличка коровы бело-рыжей масти’ и др.³).

Типологически подобное видим в появлении обозначений красного цвета среди производных и.-е. **reik-*: **reik’-* и **reig-*: **reig’-* ‘изображать что-л. путем вырезывания или с помощью красок; делать пестрым’ (скр. *riç-* ‘обтесывать, вырезать, украшать’, *riç-* ‘украшение, орнамент’, *riçá* ‘пятнистый олень’, *riçáifga* ‘красно-бурый’, *rēça-* ‘форма, вид, цвет’ при рус. *рисать, пестрый*, лат. *ringo* ‘рисовать, украшать’ и др.⁴). И еще в целом ряде

¹ *Рок I*. С. 570.

² *Абаев IV*. С. 273–274.

³ ЭССЯ 12. С. 105–106.

⁴ *Фасмер III*. С. 256, 261; *Черных II*. С. 26, 35.

случаев ‘пестрый’ (как ‘черно-белый’ и ‘красно-белый’) обобщается до ‘цвет’, ‘краска’ и участвует в обозначении пестрых по окраске видов рыб: ирл. *eagc* ‘красный’, ‘пятнистый’, вал. *erch* ‘пятнистый’, греч. *περκυός* ‘темно-синий, черноватый’, скр. *pršni* ‘пятнистый, темный’ при ирл. *eagc* ‘форель, лосось’, *ogc* ‘лосось’, др.-в.-нем. *foghana* ‘форель’, греч. *πέρκη* ‘окунь’¹; в германских языках нем. *Farbe* ‘цвет, краска, масть животного’ (ср.-в.-нем. *varwe*, др.-в.-нем. *farawa* – субстантив от *faro* (*farawez*) ‘цветной, пестрый’) родственно по корню нем. *Forelle*, др.-в.-нем. *foghana* ‘форель, лосось’²; подобным образом этимологические связи рус. *лосось* (как и др.-прус. *lasasso*, нем. *Lachs*, тохар. *laks* ‘рыба’) указывают на исходное значение ‘пятнистый, пестрый’ (рус. *лása* ‘яркое пятно, полоса’, лтш. *lāse* ‘пятно, крапинка’, *lāsaĩns* ‘пятнистый’³).

В рамках такого объяснения семантической деривации в этимологическом гнезде **keg-s-* становится понятен механизм возникновения синонимичности гнезд славянских основ **kraś-* и **květ-* через инвариантное значение ‘цветной’. Соответственно, прослеживается осмысление в определенном (исходно – древнерусском) ареале славянских языков ‘красного’ как ‘красивого’, или ‘цветного’. Далее. Связь (генетическая) между *красный* и *красить* если и существует, то достаточно опосредованная. Вероятность для «красного» как прототипной не только семантики пламени огня, но и семантики, связанной с обозначением природных объектов буро-рыжего цвета (руда, ржа, кровь) и исходно представляемой как ‘цветной’ (<*‘черно-белый’, *‘красно-белый’), объясняет ту на первый взгляд парадоксальную ситуацию, когда цветообозначение от **kraś-* возникает относительно поздно и на ограниченной и компактной территории, но в языках всей Славии производные от **kraś-* используются для обозначения реалий, явлений, соотносящихся с красным цветом.

¹ Льюис Г., Педерсен Х. Краткая сравнительная грамматика кельтских языков: Пер. с англ. / Ред., предисл. и примеч. В.Н. Ярцевой. М.: Иностр. лит., 1954. С. 72.

² EWD I. S. 323–324.

³ Абаев И. С. 32

Мотивированность соотнесения можно видеть в объективной картине мира, где в качестве прототипных для представления о красном выступают природные объекты/явления – кровь, огонь, руда / «красная» земля. Это с одной стороны. А с другой стороны, причина соотнесения принадлежит к глубинно-психологическим закономерностям: красный – один из маркированных природно ярких (контрастно-фоновых) цветов (белый, черный, красный и черно-белый, красно-белый), формирующих общее (родовое) представление о цвете/окраске, о чем свидетельствует «связность» семантики этимологических гнезд *kras- и *květ-. В этом случае «имплицитность» («разлитость») семантики красного в производных слав. *kras- и *květ- связана с «осью» синонимизации этих этимологических гнезд – ‘цвет/краска’, а конкретное цветообозначение в ареале древнерусского основывается на эстетической оценке, вторичной маркированности ‘красного’ как синонима ‘красивого’ (‘красивый’ <*‘цветной’). Впрочем, вторичная маркированность по цвету/окраске в иной ситуации, при другом типе и основании оценки может быть связана с другим цветом, ср. ‘созревший, годный’ как ‘окрашенный (в соответствующий цвет)’ на примере рус. диал. *бронеть* ‘светлеть, отливать желтоватым, серым, красным цветом’, ‘созревать’, укр. *броніти* ‘зреть’ и рус.-цслав. *бронь* ‘белый’, польск. *brony* ‘гнедой’, др.-чеш. *brony* ‘белый’, рус. *броний* ‘белый, светлый’, возможно, и др.-инд. *bradhnas* ‘рыжеватый, буланый’¹.

История конкретного цветообозначения (*красный*) как результата вторичной номинации демонстрирует свою «ахроматическую предысторию» и оказывается связанной с оценочностью (‘(контрастно)яркий’/‘пестрый’ → ‘красивый’ → ‘красный’) и с истоками формирования общего понятия «цвет/тон». Исходно синкретичное представление о яркости/насыщенности как продолжение ахроматической оппозиции белый – черный (максимум света – отсутствие света) распалось, сформировав представление о цвете/тоне (hue), и тем самым заложило основы формирования цветового ряда, в оформлении которого яркость и насыщенность оказываются сопутствующими признаками (ср. гот. *hiwi* ‘внешний вид’, англосакс. *hiew* ‘внешний вид, красота’, англ. *hue* ‘тон, цвет’ при

¹ Фасмер I. С. 217, 220.

др.-инд. *śīti* ‘белый’, кельт. ирл. *ciar* ‘темно-коричневый’ и др.¹ В свою очередь, эта перестройка могла возникнуть как развитие оппозиции «все яркое, светлое ↔ все темное».

Как видим, за изосемией рассмотренных на материале славянских языков этимологических гнезд стоит специфика (вариант) когнитивной «упаковки» разноцветного реального мира, что в языке проявилось как возникновение общего (инвариантного) значения на определенном этапе развития структуры двух словообразовательно-этимологических гнезд. Приемы сравнительно-исторического метода и позволяют определить этапы семантической деривации. Значимость исследования межсистемных семантических отношений представляется очевидной. Подобное «горизонтальное» протраивание семантики является актуальным для верификации диахронических реконструкций и для попытки выстроить непрерывность определенного семантического пространства.

Таким образом, *красный* (слав. **krasъnъ* как производное **krasa*, продолжившее и.-е. основу **ker-s-*, «специализирующаяся» на цветообозначении в индоевропейских языках) сформировало оценочное значение, как полагаем, на исходном ‘пестрый, цветной’, собственно ‘выделенный цветом (создающим вид, облик)’ и потому ‘красивый’ (ср. приводившиеся выше иранские однокорневые образования – согд. *kršn* ‘вид, внешность, облик’, *kršn’w* ‘красивый’, *qršn’wtu* ‘красота’, осет. *xuz|xuz* ‘цвет, вид, образ’ – и славянские, представленные польск. *krasy* ‘красивый, пестрый, разноцветный’, укр. *красий* ‘пестрый, разноцветный’, диал. *красий* ‘красно-белой масти, рябой (о животном)’), рус. диал. *крась* ‘красный цвет, красота’, польск. *krasa* ‘цвет (особенно красный)’). Определение дескриптивной части значения, на основе которой возникло значение эстетической оценки у прилагательного *красный*, проясняет основания его функционально-семантической близости с *лепый*, для оценочного значения которого основанием служит подобного типа дескрипция (‘мазать (разноцветной глиной), белить’ → ‘украшать/делать лучше’, откуда ‘украшенный’/‘выделяющийся внешним видом’ → ‘красивый’, ‘(ставший) лучше’). Следовательно, *красный* и *лепый* в общеоценочной

¹ *Рок I*. С. 540–541.

функции в древнерусском ареале – свидетельство значимости для сознания носителей древнерусского языка эстетической оценки как оценивания внешнего вида, его яркости, красочности (ср. в др.-рус.: *Бѣаше же дѣци ему лѣпа и прѣлѣпа видѣннемь и красьна тѣлѣмь* XII–XIII вв. *И възыде обѣ ночь тыковѣ надѣ главою его, красна и лѣпа*. 1677 г.). Это и объяснение истоков стереотипа давать оценку внутреннему, содержательному через внешнее (вид, облик) (ср. др.-рус. *красная*, мн. ч. ‘все прекрасное на земле; земные блага’, *красный (яловичий) товарь* ‘хорошо выделанная кожа высшего качества’; *живеть в красных плотникехъ* говорилось о мастере, выполнявшем тонкую, дорогую, требующую искусства работу). Отсюда и известный до сих пор в народной традиции (устном народном творчестве) способ представления внутренней «хорошести» через внешнюю (ср. *добрый молодец* и *красна девица* – характеристика традиционно положительных героев). О возрастании значимости эстетической оценки на определенном этапе истории славян свидетельствует и образование сравнительной степени к *добрый* ‘хороший’ от *лѣпый, красный – лѣпѣ, лѣплий, лѣпшии, краше*, укр. *кращий* ‘лучше, лучший’ < *‘красивее’.

С другой стороны, *красивый* и *ладный* как более поздние образования со значением общей оценки имеют и свои особенности: ни в их семантической структуре, ни у их производных не сформировалось вместе с общеоценочным и значение модальности долженствования (‘хороший’ → ‘нужный, должный’), как у более ранних средств выражения общей оценки, их производных – **dob-g-*, **god-n/j-*. Появление значения этого вида модальности у производных **lѣp-*, скорее всего, есть результат внешнего воздействия, влияния византийской лингвокультуры. Объяснить вырисовывающуюся ситуацию наличия/отсутствия взаимодействия двух тесно связанных видов модальности в семантической структуре общеоценочных слов мы можем только таким образом: в сознании славянского этноса оба вида модального значения присутствуют только в том случае, когда исходный дескриптивный признак взаимодействует с утилитарной оценкой, диктующей предписывающее, нормативное продолжение. Это можно расценивать как отражение в языке славян начального этапа становления их евроазиатства, ориентации на культурные модели не только Запада, но и Востока (включая Византию): Передняя Азия и Среди-

земноморье намного раньше приобщились к благам цивилизации («канонизировали» красоту) по сравнению со Средней (откуда вышли славяне) и Северной Европой. Появление языковых средств выражения общих оценок, исходящих из эстетических оценок, есть следствие выхода славян на новый цивилизационный этап (уровень). «Система норм, составляющая содержание коллективного сознания национально-культурного сообщества, определяет закономерности взаимодействия эстетических оценок с другими частными оценками»¹.

Х о р о ш и й

Основным лексическим средством выражения общей положительной оценки в современном русском языке выступает прилагательное *хороший*, представляемое в словарях как многозначное слово: 1. ‘обладающий положительными качествами, свойствами, вполне отвечающий своему назначению’ // ‘такой, в котором проявляются только положительные стороны, доставляющий удовлетворение, удовольствие’ // ‘обладающий каким-л. или большим преимуществом среди других таких же’ // ‘прекрасный’; 2. ‘достигший умения, мастерства в своем деле, специальности’ (*хороший врач, хороший хозяин*); 3. ‘обладающий положительными моральными качествами (о человеке)’; 4. ‘связанный взаимным расположением, короткими отношениями с кем-л., близкий’ (*хороший знакомый, хорошие друзья*); 5. ‘вполне достойный, добропорядочный’ // устар. ‘благородный, родовитый’ и некоторые другие значения с пометой «разг.», «ирон.»²). Эту дефиницию нельзя признать точной, поскольку она не учитывает тот факт, что доминантой семантики прилагательных типа *хороший/плохой* является оценочность, и разновидности общеоценочной семантики подаются как самостоятельные значения, выделяясь и располагаясь без учета классификации оценок (ср. 1-е значение, где в одном ряду стоит значение утилитарной и гедонистической, эстетической

¹ Писанова Т.В. Национально-культурные аспекты оценочной семантики (эстетическая этическая оценки). Дис. канд. ... филол. наук. М., 1997. С. 234.

² МАС IV. С. 620–621.

оценок). Проблема неточности дефиниций прилагательных общей оценки в толковых и исторических словарях была поднята в работе, посвященной развитию семантики славянских прилагательных общей оценки, О.А. Фелькиной¹. Кажется достаточно обоснованным предлагаемое этим автором решение представлять семантику таких прилагательных, как ‘положительно/отрицательно оцениваемый с определенных позиций в данной ситуации’ и варианты ее реализации.

Прилагательное *хороший* не имеет «родни» ни в южно-, ни в западнославянских языках. На этот факт обратил внимание, по свидетельству М.П. Погодина, еще П.И. Шафарик². Специально обращавшийся к истории прилагательного *хороший* и его производных в русском языке С.П. Обнорский отмечает неодинаковую их распространенность в восточнославянских языках: менее всего слов с корнем *хорош-* в белорусском *харашыцца* ‘хвастать, чваниться’; *харашыцца*, *хараствó* ‘красота, великолепие’, *харашуха*), больше – в украинском *хорóш*, *хорóший* и (нареч.) *хóроше*, *хорóшенько* (все слова почти исключительно в народно-поэтической речи), производные имена *хорóшень* ‘красавец’ (в пословице), *хорóство*, диал. *хорошкувáтий*, глаголы *хорóшити(ся)*, *похорóшуватися*³. Более всего и шире представлены слова этого корня в великорусском: в словаре Академии Российской (1789 г.) находим слова *хорóший*, *хорóшенький*, *хорóшó*, *хорóшенько*, *хорóшóхонько*, *хорóшствó*, (*по*)*хорóшесть*, *охорáшивать(ся)*; в словаре В. Даля к ним добавлено немного слов литературного языка (*хорóшитъ(ся)*) и производные с приставками *о-*, *при-*) и областных слов, нашедших подтверждение в последующей диалектной лексикографии (*хорóшáвый*, *хорóшáвки*, *хорóшáй*, *хорóшóль*, *хорóшеумить(ся)*), часть же приведенных без помет слов, по мнению С.П. Обнорского, принадлежит к просторечию, а также образована самим авто-

¹ Фелькина О.А. Развитие семантики славянских прилагательных общей оценки в русском языке: Автореф. дис. канд. ... филол. наук. Минск, 1990.

² Корш Ф. Замѣтка о словѣ «хорошо» // Московские университетские известия. М., 1867. № 12. С. 1250–1251.

³ Обнорский С. Прилагательное *хороший* и его производные в русском языке // Язык и литература. Л., 1929. Т. 3. С. 241–242.

ром (В. Далем) по известным словообразовательным моделям (напр., образования женского рода со значением ‘красавица, любовница’ – *хороші́ха, хорошу́ха, хорошу́тка, хорошу́ля* и т.п.). Это следует из того факта, что в известных диалектных словарях того времени почти отсутствует лексика, производная от *хорош-*, за редким исключением (в подмосковных говорах встречаются *хороштво́* в поговорке *этот сон к худу, этот к хороштво́* и *хороший* в пословице *хорошему еству особое место*; эти же два слова отмечены в псковских краях). Заключение С.П. Обнорского: «В обороте «безыскусственной», живой народной речи, очевидно, не было и нет слова *хороший*; не даром здесь мы встречаемся с рядом иных его лексических эквивалентов – со словами *ладный, добрый, красный, баской* и мн. др. С другой стороны, в «искусственной», поэтической народной речи, в песнях, сказках, пословицах и пр., слова возможны для употребления. <...> ...слово *хороший* в великорусском есть пришелец извне, и именно есть южно-руссизм...»¹. Здесь же автор дает обзор выдвигавшихся и не получивших в дальнейшем поддержки предположений о генетических связях лексемы *хороший* (с греч. χαίρειν – П. Шафарик и М. Погодин, с *короший, краший* – Ф. Корш, В. Даль, с греч. χάρις, лат. gratia – Н. Горяев, *хорон-* и *хорош-* сближал В. Ягич). Сам же С.П. Обнорский приходит к выводу, что слово *хороший* по происхождению есть притяжательное прилагательное от имени божества Хорс/*Хорос, имя это иранское (ближе всего к нему по форме и значению осет. чоҕс ‘хороший’; свидетельством этого могут быть и колебания в ударении рус. диал. *хóрош, укр. хóроше* – при предполагаемом исходном *хóрсъ), «заимствование слова произошло в доисторическую пору и принадлежало южным группам русских племен»².

Позже появился еще ряд предположений относительно генетических связей прилагательного *хороший*. А. Мейе (вслед за ним и М. Фасмер) сближает это слово с *хоробрый, храбрый*, поставив его в ряд с производными прилагательными с уменьшительным суффиксом -х-/ш-, ср. чеш. brach от bratr, серб. Милош от Милос-

¹ Обнорский С. Прилагательное *хороший*... С. 244–245.

² Там же. С. 257.

лав или Милорад¹. Ж.Ж. Варбот сопоставляет *хороший* и *хорохориться* (ср. др.-рус. *хорошание* ‘заносчивое поведение’, блр. *харашыцца* ‘хвастать, чваниться’)². Кроме того, в полесских говорах украинского привлекает внимание формальной схожестью глагол *хороши́т, хорошыты* ‘лущить, чистить (кукурузу, фасоль и т.п.)’, блр. диал. *харошыць* ‘чистить’, *хороши́ть* ‘очищать овощи от листьев и корешков’, *хорошыты* ‘чистить (рыбу, морковь, молодую картошку)’. С учетом значения этих глаголов и др.-рус. *хорошии* ‘красивый’, ‘прибранный, убранный’ в «Этимологическом словаре славянских языков» предлагается реконструкция *хороший* как, возможно, раннего обратного образования от *хогошъпъ(жь)³, производного с суффиксом -ъпъ от *хогость. В свою очередь, считается, что рус. диал. *хорость* ‘удобство, красота, приятность’, блр. диал. *хороствó* ‘красота, прелесть’, как и рус. (диал.? В. Даль) *хоровитый* ‘красивый’, ‘добрый, ладный’ продолжают слав. *хогъжь, *хагъжь из и.-е. *sker-/*skog- ‘скрести’ (при болг. *харый* ‘испорченный’, словен. *haǵè* ‘кляча’, чеш. *chaǵú* ‘мрачный, ветхий’, диал. *chaǵú* ‘потрепанный, скверный’, чеш. диал., польск. *choǵu* ‘темный, черный’ (о хлебе, муке). По мнению авторов словаря, «предложенная гипотеза объясняет исход слова и учитывает скрытые стороны значения слова *хороший* и гнезда (‘скрести’, ‘чистить’), вполне отвечающие этимологической реконструкции *sker-/*skog-, предполагаемой для слав. *хогъжь, *хагъжь»⁴.

В.И. Абаев, обращаясь к этой реконструкции, отметил: «Семантическое развитие нам не вполне понятно»⁵. Он как этимолог и иранист, автор «Историко-этимологического словаря осетинского языка», развивая гипотезу С.П. Обнорского, полагает, что имя древнерусского божества Хорсь и прилагательное *хороший*, всего вероятнее, идут из сарматского. «Эпитет какого-то сарматского

¹ *Мейе А.* Общеславянский язык / Пер. и примеч. П.С. Кузнецова. М.: Иностранная литература, 1951. С. 21; *Фасмер IV*. С. 267.

² *Варбот Ж.Ж.* Хорохориться и хороший // *Русская речь*. 1980. №1. С. 138–141.

³ Как подтверждение допустимости такой реконструкции приводится топоним – рус. Хорошоно, название озера в устье Ловати (бывш. Старо-Рус. у. Новг. губ.).

⁴ ЭССЯ 8. С. 21, 79–80, 83.

⁵ *Абаев IV*. С. 219.

божества *xorǝz* ‘добрый’ был воспринят в русском как его имя в форме Хорсь. Аналогичный пример: авестийская богиня *Arədvī* известна в традиции исключительно по своему эпитету *Anahitā* «Непорочная»; имя оказалось забытым»¹. Из типологически подобного иран. *bagā-*, слав. *bogъ*, означающих собственно ‘щедрый, добрый’, *‘наделяющий’, видно, что боги нередко льстиво называются «добрými». Относительно формальной стороны В.И. Абаев замечает: «Как от *лес* имеем *леший*, так от Хорс было образовано *хорший «хорсовский», с сохранением семантики «добрый». Как рядом с *молния* имеем *молонья*, так рядом с **хорший* возникло *хороший*, и эта форма стала господствующей. Ср. с семантической стороны др.-иран. *Artavan-* ‘праведный’ от *Arta* ‘божество Правды’»².

Подтверждение того, что не только современное осетинское, но и более ранний его вариант сарматское **xorǝz* имело значение общей мелиоративной оценки, можно видеть в функциональных особенностях этой лексемы в осетинском языке и ее генетических связях. Особенностью функционирования осет. *xorǝz*, позволяющей судить о более ранней семантике этого слова, является активное участие его в словообразовании, употребление как первой части сложных слов со значением общей мелиоративной оценки (в варианте с ослаблением гласного – *xærǝz-* | *xwærǝz*): *xærǝzad* ‘вкусный’, *xærǝzaxst* ‘умелый’, *xærǝzwaǝ* ‘хорошего нрава’, *xærǝzqæd* ‘доброкачественный’, *xærǝzkond* ‘стройный’, *xærǝzxast* ‘откормленный’, *xærǝzxuz* ‘полный (о человеке)’, досл. ‘хорошего вида’, *xærǝzæxsæv!* ‘добрый ночи!’ *xærǝzbon!* ‘прощай!’ (‘доброе дня!’) и т.д. По этому поводу В.И. Абаев отмечает, что *xærǝz-* «по употреблению соответствует авест. *hu-*, др.-инд. *su-*, греч. $\epsilon\bar{\upsilon}$ -; антоним *fyd-*. Образования с *xærǝz-* и *fyd-* – живые и продуктивные и поэтому не поддаются точному учету»³. В определении происхождения осет. *xorǝz* | *xwarǝz* В.И. Абаев уверенно присоединяется к мнению В.С. Миллера, Г. Моргенштерна, Э. Бенвениста, что источником для этого слова послужило др.-иран. **hwarza-* или **hwarzu-* с развитием семантики ‘сладкий’ → ‘приятный’ → ‘хо-

¹ Абаев IV.

² Там же.

³ Там же. С. 184.

роший’, что подтверждают значения однокорневых образований в других иранских языках: авест. *xvarəzišta-* ‘сладчайший, вкуснейший’, пехл. *xwālišť*, *xwārzišt* ‘тж’, позднехорезм. *xž*, *xžyk* (**hvarza-*) ‘хороший, приятный’, сак. *hvarra* ‘сладкий’, перс. *xwāl* ‘пища, еда’ (**xwarza-* > **xwarda-* > **xwāl*), заза *xōl* ‘пища’, бел. *awarżā* ‘приятный’ и др., восходящие к основе **hwar-* ‘есть’¹. Таким образом, языковое выражение общей мелиоративной оценки осетинского языка реализует архаическую модель мировосприятия древних иранцев (о которой мы выше говорили в связи со словом *благой*), вскрывающую глубокий слой древнеиранской культуры, где частнооценочное значение ‘приятный’ формируется на основе вкусовой оценки вследствие синкретично представленных ‘вкусный, сладкий’ и ‘пища’, ‘молоко’². Deskриптивный признак, породивший и поддерживавший оценочное значение, оставался настолько значимым, что восточноиранские (часть?) языки фиксируют новый виток обобщения – от частнооценочного к общеоценочному значению. По крайней мере, в какой-то части скифо-сарматских языков, субстратных для южнорусской (причерноморской) группы славян, слово *horz/хорс* имело уже установившееся общеоценочное значение.

Именно это предположение о происхождении слова *хороший* представляется нам наиболее аргументированным и соотносящимся с историей слова *хороший* в древнерусском языке и со стоящей за ним историко-культурной ситуацией.

В памятниках древнерусской письменности слово *хороший* встречается редко. Раньше всего (в приписке к Уставу монастырскому XII в.) отмечено наречие от этого прилагательного (*покушати пера добро ль перо тверда ль рука доброль ею писать хороше ль писмя*). Прилагательное и его производные представлены в памятнике XIV в. (Пандекты Никона Черногорца): *хорошии* ‘красивый’, ‘прибранный, убранный’ (*нлкъий приде кнлкъомоу братоу и видяше клълю его не хорошоу ни пометеноу*), *хорошавый* ‘щеголь’, *хорошивый* (...*сеи черньци хорошиви суть*), *хорошание* ‘заносчивое поведение’ (...*да ни деръзновения ни хорошанья бе-*

¹ *Абаев IV*. С. 218.

² *Стеблин-Каменский И.М.* Этимологический словарь ваханского языка. СПб., 1999. С. 409–410, 445.

щиньна к старьцемъ отъ тѣхъ быти)¹. Даже эти немногие известные из древнерусской письменности употребления прилагательного *хороший* и его производных позволяют видеть исходное (для древнерусского) значение как общеоценочное, а не только частнооценочное ('красивый'), как иногда полагают. Значение 'заносчивое поведение' у др.-рус. *хорошание* и 'хвастать, чваниться' у созвучного ему блр. *харашыца* (а также, возможно, сблизжаемое В.И. Абаевым с ними рус. диал. *хóрзать* 'чваниться, важничать', *хорза* 'бойкая девка') производны от общеоценочного 'хороший, лучший' ('важничать, заносчиво вести себя' = 'считать себя лучше других'). Кроме того, предполагают, что русский перевод Пандектов относится к кон. XI – нач. XII в. и производился в одном из культурных центров южной Руси². С.П. Обнорский обратил внимание на использование прилагательного *хороший* в географической номенклатуре: по его наблюдениям, названия отдельных селений, озер, урочищ (*Хороше-озеро*, *Хорошево-Вознесенский* монастырь, село *Хорошево* и др.) представлены либо на собственно территории южной Руси, либо в областях с позднейшей южной колонизацией³.

В оригинальных произведениях русской литературы *хороший*, *хорошо* встречается в единичных случаях с XV в. (Житие Стефана Пермского и Описание Флоренции)⁴. Но в XVI в. ситуация меняется: в отдельных памятниках наречие *хорошо* становится употребительнее, чем *добро*, *добре*⁵. В XVII–XVIII вв., в период активной демократизации литературного языка, коренные изменения происходят и в лексико-семантической группе общей оценки: прилагательное *добрый* сужает сферу своего функционирования, по церковнославянской традиции употребляется преимущественно для выражения этической оценки. Его место на «оценочном Олимпе» быстро и прочно занимает прилагательное *хороший*. Возникающие устойчивые словосочетания, потребовавшиеся для

¹ Срезневский III. С. 1388; Обнорский 1929. С. 245–246; ЭССЯ 8. С. 80.

² Обнорский 1929. С. 246.

³ Там же.

⁴ Срезневский III. С. 1388.

⁵ Фелькина 1990. С. 10–11.

выражения новых понятий, уже используют прилагательное *хороший* (*хороший вкус, хороший тон, хорошее общество*)¹.

В относительно недавно вышедшей работе Вяч. Вс. Иванов, характеризуя славяно-иранские лексические связи и ссылаясь на работы С.П. Обнорского и В.И. Абаева, определил *хороший* как иранизм, как «установленное заимствование»: рус. *хорош-ий* и древнерусское имя *Хорса*, одного из тех языческих богов, чьи идолы у своего дворца в Киеве поставил Владимир, возводятся к скиф. *xors-. Эта основа отражена в осет. *xorz* | *xwarz* ‘хороший, добрый’².

Подводя итоги становления в общеоценочной функции прилагательного *хороший*, отмечаем, что по происхождению это элемент народной речи южной Руси, воспринятый из местной (субстратной) скифо-сарматской (аланской?) традиции как знак общей мелиоративной оценки. Получив маркированность по принадлежности к народной языковой стихии, прилагательное *хороший* очень медленно, «небольшими шагами», долго завоевывало литературный язык. Но в эпоху коренных преобразований в русском обществе, его культуре, языке оно единственное оказалось способным в соответствии с требованиями нового времени быть знаком абсолютной оценки, как «не отягощенное» никакой конкретикой – ни дескриптивным значением, ни родственными связями.

Таким образом, анализ и историко-этимологическое рассмотрение лексических средств выражения общей положительной оценки на уровне праславянского и древнерусского в контексте ареальной историко-культурной ситуации показывает определенные семантические модели (и стоящие за ними культурные схемы), унаследованные древнерусским сознанием из славянской истории. Это следующие модели выражения общей положительной оценки: **‘соответствующий (норме)/подходящий (по своим качествам) → ‘хороший’** (*добый, добрый, годный, гожий*) – региональная модель (славяно-германская); **‘мазанный/*выделенный цветом, украшенный/красивый’ → ‘хоро-**

¹ Фелькина 1990. С. 10–11.

² Иванов Вяч. Вс. Славяно-арийские (индоиранские) лексические контакты // Славянская языковая и этноязыковая системы в контакте с неславянским окружением. М., 2002. С. 17–51.

ший (*лепый*), **‘цветной/красивый’** → **‘хороший’** (*красный*), **‘приличествующий, упорядоченный/красивый’** → **‘хороший’** (*ладный*) – собственно славянская модель (эстетическая оценка → общая оценка); предполагаемая модель ***‘молоко/*(вкусная)пища’** → **‘сладкий’** → **‘приятный’** → **‘хороший’** (*благой, хороший*) – вероятно, субстратная культурная схема, усвоенная в ареале южнославянских языков и – на этапе уже сформировавшегося общеоценочного значения – в древнерусском ареале. С точки зрения причин «эталонности» выявленные семантические модели мотивированы двумя типами причин¹: 1) социокультурными представлениями (культурно маркированный признак нормы в основе становления общей оценки у производных *доб-* и *год-*) и 2) глубинно-психологическими закономерностями (*лепый, ладный, красный*: ‘хороший’ как ‘упорядоченный, слаженный/красивый’ и ‘цветной/красивый’).

Исследование истории языковых средств выражения общей мелиоративной оценки выявило и такую особенность, как формирование общеоценочного значения во взаимодействии со значением модальности необходимости: истоки их синкретичны, совпадают у исконных по происхождению прилагательных, приобретших общеоценочное значение еще в праславянский период (*добрый, годный, гожий*), такого модально-оценочного начала не имеют прилагательные, определяемые как неисконные (лексические заимствования *хороший, благой, ?ладный* и семантическая калька *лепый*) или развившие общеоценочное значение из ‘красивый’ (*красный, ладный*).

¹ В этом вопросе следуем за Р.М. Фрумкиной, считающей, что выбор эталона может быть обусловлен: 1) «аксиомами действительности» (объективной картиной мира); 2) социокультурными представлениями; 3) глубинно-психологическими закономерностями (*Фрумкина Р.М.* Цвет, смысл, сходство... С. 144).

1.2. Метафорические модели русской ценностной картины мира

1.2.1. Метафорические модели этико-эстетической оценки

Отличительной чертой лингвистики рубежа веков можно назвать обращение к отраженным в языке процессам мыслительной деятельности человека. Не случайно тем пунктом, где пересекаются исследовательские интересы лингвистов, психологов, философов, стала метафора, понимаемая как базовая мыслительная операция и, соответственно, источник сведений об организации человеческого мышления (Д. Лакофф, М. Джонсон, А.Н. Баранов, А.П. Чудинов), вездесущий принцип языка, составляющий одну из сущностей языкового процесса вообще (А.А. Ричардс), особый ресурс, к которому прибегают в поисках образа, способа индивидуализации, смысловых нюансов и оценки предмета (Н.Д. Арутюнова).

Несмотря на многолетний научный интерес к метафоре, глубина этой проблемы остается неисчерпаемой, все более осознается ее фундаментальность¹. Отчасти это подтверждается существованием совершенно разных, «соперничающих» взглядов на метафору. Основу современного подхода к изучению метафоры определяют ономаσιологическое, семасиологическое, собственно лингвистическое, психолингвистическое и логическое направления.

Также современный этап изучения метафоры отмечен исследовательским интересом в области теории регулярной многозначности. В рамках этого направления используются структурные методы исследования языковой семантики, реализованные в компонентном анализе отдельного значения слова, системы значений полисемантического слова, регулярности во вторичных значениях близких по семантике слов. В результате исследований, посвященных анализу взаимоотношений прямого и переносного значения метафоры, сложилось понимание того, что наиболее существенным для ее образования являются актуальные семы значения,

¹ Петров В.В. Метафора: от семантических представлений к когнитивному анализу // ВЯ. 1990. № 3. С. 135–146

послужившие основой для формирования новых смыслов и коннотативных элементов (Ю.Д. Апресян, В.Г. Гак, Г.И. Скляревская, И.А. Стернин).

С определенной долей уверенности можно сказать, что каждое новое направление предлагает свое понимание сущности процесса метафоризации, свои методики изучения метафоры. Наиболее актуальной в современном отечественном языкознании является теория концептуальной метафоры, которая впервые была изложена в книге Дж. Лакоффа и М. Джонсона «Метафоры, которыми мы живем»¹. В основе теории лежит представление о метафоре как концептуальном феномене, механизме восприятия и моделирования действительности. Наблюдение за функционированием метафор, проявляющимся в организации понятийных схем, по которым человек думает и действует, в рамках этого направления рассматривается как важный источник информации об организации человеческого мышления. Основные положения теории концептуальной метафоры в отечественном языкознании представлены в работах А.Н. Баранова, В.З. Демьянкова, Е.С. Кубярковой, Е.В. Рахилиной, А.П. Чудинова.

Оба направления – структурно-семантическое и когнитивное – сближает отказ от традиционного взгляда на метафору как на сокращенное сравнение, украшение речи, а также от присущей структурализму ориентации на собственно языковые закономерности метафоризации.

Характерной особенностью последних работ в области метафоры является совмещение разных методик анализа – концептуального и структурно-семантического. При анализе метафорического структурирования исследователи обращаются к глубинным семантическим структурам языка, но с той же очевидностью исследование собственно семантических закономерностей образования метафоры предполагает выход к проблеме метафорического миромоделирования.

Двигаясь в русле этого направления, мы пытаемся показать, как механизм метафоризации отражает глубинные процессы человеческого мышления и познания мира, как в продукте образно-

¹ *Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем // Теория метафоры. М.: Прогресс, 1990. С. 387–415.*

го и понятийного аналогизирования – метафоре – воплощаются аспекты конкретно-чувственного и рационально-оценочного опыта человека, как «метафора связана с тем, что она заставляет нас увидеть» (М. Блэк).

Необходимым шагом на этом пути стало обращение к оценке. Будучи настроенной на человека, метафора неизбежно попадает в сферу оценки, формируется ею, содержит ее и выражает ценностное отношение к субъекту метафорической интерпретации. В одной из своих работ В.Н. Телия высказала мысль о том, что в оценочной метафоре мотив или внутренняя форма играют роль катализатора оценочной реакции: «Нельзя не заметить, что оценочная метафора выделяет какой-то признак, отображенный в дескриптивной части значения. Этот признак и становится смысловой вершиной оценочного значения наряду с оценкой»¹. Сама автор определила этот тезис скорее как гипотезу, чем вывод, основанный на фактах.

Многообразие аспектов оценочной семантики обусловило широкий диапазон исследовательских подходов к изучению оценки. Е.М. Вольф изучала оценку как специфический вид аксиологической модальности и разработала основы функциональной семантики оценки². Применяя методы коммуникативного и логического анализа, Н.Д. Арутюнова рассматривала оценку как категорию логическую. В исследованиях таких ученых, как И.В. Арнольд, А.В. Васильева, Н.А. Лукьянова, В.Н. Телия, оценочность рассматривается в связи с понятием эмоциональности и экспрессивности.

Когнитивные структуры и процессы, лежащие в основе оценочных значений, начали изучаться сравнительно недавно (В.Г. Баранов, М.А. Дмитровская, Т.В. Писанова).

При рассмотрении оценки в аспекте ее возможностей когнитивного освоения действительности, с точки зрения ее способности выражать в метафорическом значении информацию о разных аспектах человеческого опыта познания мира и себя, мы во мно-

¹ Телия В.Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. М.: Наука, 1986.

² Вольф Е.М. Метафора и оценка // Метафора в языке и тексте. М.: Наука, 1988. С. 52–65.

гом опирались на теоретические положения когнитивной лингвистики, одним из постулатов которой является положение о том, что оценка должна рассматриваться с точки зрения информационного потенциала, в контексте влияния культуры с ее нормативностью, символичностью, единством чувственного, эмоционального, рационального начал¹.

Для настоящего исследования особенно значимыми стали исследования, посвященные изучению образной, экспрессивной, оценочной лексики диалекта, в которой языковая личность проявляется наиболее раскованно и разнообразно, демонстрируя внимание к мельчайшим оттенкам познаваемой и оцениваемой действительности. Диалектная лексика представляет особый интерес в аспекте ее образного и оценочного потенциала. Как пишет Н.А. Лукьянова, конкретны, наглядны образные диалектные значения. Образно-переносные значения развиваются в диалектных системах на основе конкретно-чувственных, конкретно-наглядных образов и в меньшей степени, чем в литературном языке, – на основе сложных ассоциаций, отвлеченных ассоциативных признаков, не находящих опоры в опыте носителей говоров².

Диалектные метафоры, содержащиеся в смысловой структуре этико-эстетическую оценку человека, рассмотренные с этих позиций, позволяют предположить, что представления и знания о национально-культурных и общечеловеческих ценностях формируют семантические основания оценочных значений. Структурами представления этих знаний являются комбинации частных оценок, реализующихся в семантических единицах разных уровней.

Таким образом, в рамках данной работы предпринимается попытка выявления специфики метафорического моделирования этической и эстетической оценок человека в русской диалектной лексике.

Наиболее актуальной задачей на этом этапе исследования является выведение закономерностей метафорического переноса из когнитивного источника информации о мире в область сублими-

¹ Писанова Т.В. Национально-культурные аспекты оценочной семантики (эстетическая и этическая оценки). М., 1997.

² Лукьянова Н.А. Экспрессивная лексика разговорного употребления: Проблемы семантики. Новосибирск: Наука, 1986.

рованных представлений о человеке. Области этих смыслов – конкретных знаний, физических, сенсорных ощущений и т.п. и абстрактных, гуманизированных представлений отражаются в **исходном и результативном** значениях метафоры, которые рассматриваются в аспекте взаимодействия дескриптивных и оценочных смыслов.

Анализ русской диалектной лексики показал, что дескрипция и оценка выражают в содержании метафоры взаимодействие описательного и оценочного, субъективного и объективного. В связи с этим процитируем В.Н. Телия, которая высказала важную для исследователя оценочной метафоры мысль: «Метафорическая оценка существенно отличается от прямой тем, что эксплицирует мотив оценки – дескриптивный признак... Корреляции оценочных концептов с дескриптивными смыслами нуждаются в специальном изучении. В них отражается связь между ценностной картиной мира как частью концептуального мира социума с собственно языковыми характеристиками»¹.

Рассматривая структуру оценки в целом, Е.М. Вольф (вслед за фон Вригтом и А.А. Ивиным) определяет ее как своего рода модальную рамку, обязательными элементами которой являются субъект, обозначающий лицо или социум, с точки зрения которого дается оценка, объект оценки, а также точка отсчета, включающая оценочную шкалу. Семантическая связь элементов оценки осуществляется на базе аспекта оценки, указывающего на признаки объекта, по которым он оценивается.

При исследовании аксиологической деятельности человека, отраженной в метафорических наименованиях, мы опираемся на теорию частных оценок Н.Д. Арутюновой². В предлагаемой ею классификации выделяются группы частнооценочных значений, которые различаются по тому, какие виды объектов они способны квалифицировать. В подробную, логически обоснованную классификацию частных оценок входят значения, дающие оценку од-

¹ Телия В.Н. О различии рациональной и эмотивной (эмоциональной) оценки // Функциональная семантика. М.: Наука, 1990. С. 31–38.

² Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений. Оценка. Событие. Факт. М.: Наука, 1988.

ному из аспектов объекта в соответствии с принятым характером **основания** оценки, ее мотивации.

Частные оценки разделены на следующие категории: **1) сенсорно-вкусовые, или гедонистические**; **2) психологические** оценки: а) интеллектуальные оценки (*интересный, увлекательный, захватывающий, глубокий, умный, глупый, поверхностный* и т.д.), б) эмоциональные оценки (*радостный – печальный, веселый – грустный, приятный – неприятный*); **3) утилитарные** оценки (*полезный – вредный*); **4) нормативные** оценки (*стандартный – нестандартный, бракованный – доброкачественный* и др.); **5) телеологические** оценки (*эффективный – неэффективный, целесообразный – нецелесообразный*); **6) эстетические** оценки; **7) этические** оценки (*добрый – злой, добродетельный – порочный* и др.).

Сложность понятий морали, относящихся к сфере абстрактных понятий, вызывает немало трудностей у лексикологов и лексикографов. Представления о них часто меняются, порой кажутся «текучими» и «калейдоскопичными». Прежде всего сложность определения этической и эстетической квалификации связывается с мотивами, или основанием, оценки, которые логически определяются как то, с точки зрения чего производится оценивание¹. Неопределенность трактовки основания оценки объясняется неочетливым пониманием позиции или доводов, на которых базируется одобрение или порицание. А.А. Ивин указывает на эллиптичность большинства оценок, затрудняющую выявление их оснований. Одни и те же действия, поступки, качества могут оцениваться как положительно, так и отрицательно. В языке часто вовсе нет дескриптивных предикатов для обозначения тех свойств объекта, которые мотивируют этическую и эстетическую оценки². В одной и той же ситуации разные люди могут назвать поступок одного и того же человека достойным и неприличным, дурным и оправданным. Чтобы установить истину, установить аксиологический баланс, нужно выяснить, из каких оснований и критериев исходили авторы оценки.

¹ Ивин А.А. Основания логики оценок. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1970.

² Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений... 1988. С. 23.

Это говорит о том, что свойства, качества, поступки и соответствующие им в языке семантические признаки сами по себе не могут быть основаниями сублимированных оценок. Прежде всего они связаны с определенными внешними обстоятельствами – культурным контекстом¹.

Исследуемый нами материал – метафорическая лексика – позволяет предположить, что основанием гуманизированных **этических** и **эстетических оценок** являются другие частные оценки, так называемые «внутренние» оценки – **сенсорно-вкусовые**, основанные на непосредственном, конкретно-чувственном опыте, и исходящие из практической деятельности людей рационалистические оценки – **утилитарные** и **телеологические**, основанные на представлении о полезном и вредном.

Мы рассматриваем **процесс** формирования оценочной метафоры как процесс пересечения “двух концептуальных систем”, в результате которого оценочное значение метафоры определяется и уточняется актуализированной в исходном значении оценочной информацией или связанными со вспомогательным субъектом устойчивыми ассоциациями. Прагматическим результатом такого пересечения является эмотивная оценка (эмоциональное напряжение, по Э. Маккормаку), которая «наслаивается» на рациональный и эмоциональный оценочные смыслы результативного значения, выражая эмоционально-оценочное отношение в диапазоне одобрения/неодобрения.

Сложившаяся в 90-е гг. XX в. традиция описания метафоры как модели построения нового значения (А.Н. Баранов, Е.В. Рахилина, А.П. Чудинов) предполагает характеристику: 1) исходной понятийной области, к которой относятся охватываемые моделью слова в первичном значении: описание ее структуры, типовых ситуаций (сценариев), относящихся к рассматриваемой модели фреймов и т.д. (А.П. Чудинов); 2) описание новой понятийной области, или семантической сферы, к которой относятся охватываемые моделью слова в переносном значении; 3) описание метафорической модели с точки зрения того, что дает основание для метафорического переноса, то есть этот этап предполагает наход-

¹ *Писанова Т.В.* Национально-культурные аспекты оценочной семантики... С. 29.

дение компонентов семантики, связывающих первичные и вторичные значения.

В связи с тем, что предметом нашего анализа является оценка, выраженная в метафоре, анализ материала выстраивается следующим образом: 1) выявляются исходные когнитивные области и составляющие их фрагменты (типовые ситуации), актуальные в сознании диалектоносителей для метафорического осмысления этических проявлений человека; 2) источники метафоризации рассматриваются с точки зрения того, какие дескриптивные и оценочные смыслы они представляют для этической оценки человека; 3) выявляется, какие именно аспекты в этическом содержании метафоры эксплицируются дескриптивными и оценочными смыслами исходного значения.

Проанализированный с этих позиций материал позволяет говорить о том, что в качестве когнитивных источников информации выступает: 1) мир, воспринимаемый человеком при непосредственном контакте: через вкусовые рецепторы, тактильные, визуальные, обонятельные и слуховые каналы; 2) мир, постигаемый рационально, осваиваемый в процессе осмысленной деятельности и практических наблюдений; 3) мир, который мы условно называем творческим, это мир фантазии и воображения, синтезируемый в образах и ассоциациях.

На основании противопоставленности источника метафоризации выделяются два основных разряда метафорических наименований с этической оценкой человека. В каждом из этих разрядов рассматриваются наиболее типичные образцы межкатегориальных уподоблений, выделяемых на основании совпадения дескриптивно-оценочных смыслов исходного и результативного значений.

Первый разряд метафор представляют наименования человека, этическая оценка которого базируется на сенсорно-вкусовых, гедонистических и практических оценках, актуализированных в исходном значении. Комплекс этих исходных оценок восходит к миру конкретно-чувственного и практического опыта человека, например: *тухлый* «о некачественной, испорченной пище» – **исходное значение** → *тухлый* «о вялом, ленивом человеке» – **результативное значение** (Перм.), *корявый* «шероховатый, негладкий» → *корявый* «о своенравном, упрямом человеке» (Курск.,

Орл.), *раскалывать* «накалывать, разогревать сковородку» → *раскалимый* «легко приходящий в раздражение, вспыльчивый» (Костром., Арх.).

Во **второй разряд** входят метафорические наименования с этической оценкой человека, мотивированной практическими оценками, актуализированными в исходном значении: нормативной, утилитарной, телеологической. Эти оценки отражают аспекты рационально-практического опыта человека: *набилка* «деталь ткацкого станка» → *набилка* «о болтливом человеке» (Новг.), *зборонить* «взрыхлить землю» → *зборонить* «сказать что-нибудь необдуманное, неразумное» (Перм., Акчим.), *вычистить* «освободить от шелухи, скорлупы, от чего-либо лишнего» → *вычистить* «отругать, выбрать кого-либо»: *если слово не так скажешь, так они вычистят!* (Медвежьегор.).

Исходная понятийная область **образов и ассоциативных представлений** более актуальна для эстетического оценивания (в метафорах с этической оценкой информация этого уровня репрезентирована комплексно, поэтому рассматривается в связи с основными типовыми ситуациями, например при формировании метафорического значения глагола *блекотать* «говорить монотонно и неразборчиво» базовым является компонент исходного значения «звук, издаваемый определенным образом», – *блекотать* «блеть (об овце)»).

Это деление отражает логику познавательно-оценочной деятельности человека с точки зрения ее поэтапности. В основании оценочной иерархии находятся оценки, отражающие чувственный, предлогический опыт человека. Информация, получаемая при непосредственном контакте с предметом через сенсорные каналы, фиксируется на уровне сенсорно-вкусовых оценок.

Практический опыт человека соответствует ментальному уровню обработки информации и представлен утилитарными, интеллектуальными и телеологическими оценками, актуальными для исходных значений метафорических наименований из второго разряда.

Анализ материала показал, что разные виды оценок, отражающие разные аспекты опыта человека, его информационной базы, взаимодействуют друг с другом. Это находит отражение в том, что границы выделяемых разрядов пересекаются, а соответст-

вующие им оценки взаимоуточняют друг друга. Анализ оценочной метафорической лексики позволяет предположить, что на этот режим настроены процессы метафорической интерпретации этических и эстетических качеств человека.

Первый разряд метафор с этической оценкой представляют наименования, образованные в рамках наиболее продуктивной в диалектном языке модели «конкретно-чувственная информация – человек, его этические проявления». Исходная для метафоризации понятийная область «сенсорная информация» представляет эмпирический опыт человека, его «доконцептуальные», «дологические» знания. На основании структурной дифференцированности этой понятийной области мы выделяем следующие модели метафорического переноса:

- 1) метафоры, в исходном значении которых актуализированы семантические признаки «сенсорно-вкусовая информация»;
- 2) метафоры с исходной семантикой «тактильная информация»;
- 3) метафоры с исходной семантикой «звуковая информация»;
- 4) метафоры с исходной семантикой «визуальная информация».

Для метафорического переноса в область этических оценок человека в когнитивном источнике *сенсорно-вкусовая информация* актуализируются представления о пищевых продуктах, природном сырье с неприятным запахом и вкусом. Deskриптивная семантика исходных значений метафор содержит признаки «сгнивший», «протухший», «тленно пахнущий», «невкусный», «бесформенный», «неприятный, отталкивающий», «потерявший свои питательные/полезные качества».

Рецепторы, воспринимающие информацию вкусового и обонятельного характера, реагируют на молекулярные сигналы. У человека эти чувства остаются тесно связанными, хотя обонятельная информация, как никакая другая, для человека почти эфемерна: если он не видит источника запаха, то, как правило, определить его не может¹. Поэтому вполне объяснимо отсутствие типичных обонятельных эталонов, в отличие от вкусовых: мед – эталон

¹ Сукаленко Н.И. Отражение обыденного сознания в образной языковой картине мира. Киев, 1992. С. 36.

сладкого, уксус, лимон – эталон кислого, горчица – горького. Указанные представления, по-видимому, свидетельствуют о существующем в физиологии и сознании человека чувстве меры, пропорции, несоответствие которым осмысливается, в частности, как понятийная база для метафорического переноса в область этических оценок человека.

Актуализированная в исходном значении сенсорно-вкусовая оценка, фиксирующая отклонения от сенсорной нормы (эталонного представления о вкусном, свежем, приятно пахнущем), взаимодействует с комплексом практических оценок: нормативной, утилитарной и телеологической. Нормативная оценка фиксирует нестандартные для продукта свойства, утилитарная – непригодность для употребления, использования, а телеологическая оценка отмечает отсутствие полезных для человека качеств. Актуализация этих исходных для метафорического переноса оценочных смыслов аспектуализирует сублимированное содержание метафоры, высвечивает разные грани этического портрета человека, например в случае глагольной метафоры *моде́ть* «тлеть, гнить, портиться, тухнуть» → «о человеке, который живет скучно, прозябает: *модеет, сидит модей*» (Смол.).

В этом случае можно говорить о том, что оценка уже актуализирована в дескрипции исходного значения, ассоциативный план которого дает комплексную основу для переосмысления этически оцениваемого проявления человека. Чтобы в результативном значении оценка получила статус некой объективности, говорящий, и чаще всего это носитель народного сознания, контаминирует оценочный смысл, “выводит” оценку в метафорическом значении из разных аспектов исходного. Подобная семантическая операция дает возможность увидеть сразу несколько взаимоуточняющих смыслов и параметров оценки: называя человека *модей*, говорящий устанавливает ассоциации с тем, что имеет сенсорно воспринимаемые качества (определенный вид, структуру, запах) и практически оцениваемые свойства (практическую неценность). По отношению к этим исходным дескриптивным признакам устанавливается ряд оценочных значений: 1) сенсорно-вкусовая оценка, фиксирующая несоответствие представлению о вкусном, приятно пахнущем, свежем в отношении пищи и 2) гедонистическая (то, что *модеет* – не вызывает приятных эмоций), а также 3) утили-

тарная оценка, фиксирующая потерю полезных для человека качеств. Кроме того, оценочная модальность, вызванная ассоциацией с устойчивым образом, стереотипом (гниль – значит прозябать), сообщает готовому метафорическому наименованию и эстетический аспект: человек, который ассоциируется с тем, что визуально, тактильно, осязательно, практически, гедонистически представляется неценным и неприятным, не вызывает положительных эстетических переживаний.

Таким образом, соотнося мир духовных переживаний с конкретно-чувственным опытом человека, оценка его поведения, оценка абстрактная и гуманизированная, исходит из оценки, которая актуализирует разную информацию о первичном и основном опыте человека. В этом случае можно говорить не только о принципе редупликации (Е.М. Вольф), когда сенсорная оценка усиливается утилитарной и т.д., но и о том, что частнооценочные коннотации в метафорическом выражении создают комплексную основу для оценочного восприятия человека. То есть, говоря, что человек *модеет*, *киснет*, *тухнет*, оценивающий сообщает многоаспектную информацию: этическая оценка, выносимая метафорой, «подробно отвечает на вопрос, «чем человек плох», так как уже в исходном значении актуализированы определенные оценочные смыслы. Наши наблюдения позволяют заметить, что в диалектном языке абстрактное представление об этических проявлениях человека достаточно устойчиво формируется на основе конкретно-чувственных ощущений, усваивается через «образ, напряженный сенсорным опытом» (П. Рикер).

Достаточно продуктивной в диалектном языке является метафорическая модель, через которую реализуется уподобление этических качеств человека *тактильным впечатлениям*. Исходная понятийная ситуация «тактильные впечатления» структурирована представлением о чем-либо мягком, шершавом, горячем и т.д. При метафоризации каждое из этих представлений выступает семантическим модификатором результативного значения. При этом через исходные признаки тактильной информации четко противопоставляются сенсорные впечатления от неровной, острой, горячей поверхности как основание для отрицательной этической оценки и сенсорные впечатления от гладкой, мягкой, упругой поверхности, мотивирующие положительную оценку. Напри-

мер, через исходные признаки тактильных впечатлений «неровный», «твердый», «негибкий» осмысляются такие негативные проявления, как своеволие, непреклонность, гордость:

насуровать «сделаться жестким, негибким (о ткани)» → *насуровать* «сделаться жестоким, суровым (о человеке)» (Вят.).

каляный «твердый, жесткий» → *каляный* «упрямый, самонадеянный человек: *ну и каляный же ты*» (Бурят.).

Интересные семантические нюансы можно наблюдать при метафорической интерпретации этической оценки человека через тактильные признаки «твердый», «затвердевший» и «мягкий». Через то, что воспринимается как твердое, жесткое, затвердевшее, метафоризируются оценочно разные качества:

кремлевый «сделанный из кремния, смолистого, твердого слоя древесины» → *кремлевый* «человек с твердым, непреклонным характером» (Костром.);

закирпичеть «затвердеть» → *закирпичеть* «стать грубым, черствым» (Ряз., Смол.).

В первом примере этическая оценка представляется достаточно относительной. Действительно, денотат сообщает готовому метафорическому наименованию представление о том, что является прочным и устойчивым, а значит, на первый план здесь выходит оценка утилитарная: прочный и крепкий слой древесины оценивается с точки зрения своей практической ценности. Но оценочная маркировка определяет человека с твердым характером как непреклонного. Возможно, преобладание практического смысла оценки и ориентированность на утилитарную норму в отношении внутренних качеств человека представляются аксиологически неубедительными. С одной стороны, оценочная модальность представляет положительный смысл оценки, а с другой – фиксирует негативный оттенок – опасность быть слишком твердым, до степени невосприимчивости. Соответственно (во втором примере), то, что затвердело, потеряло свою гибкость, осмыляется в отношении того, кто стал грубым и черствым, затвердел душой – *закирпичел* (результативное значение).

Анализ диалектной лексики показывает, что при метафорической интерпретации контрастного по отношению к человеческой «твердости» свойства – мягкости – в качестве свойств вспомогательного субъекта также выбираются свойства тактильно воспри-

нимаемых предметов. При этом можно наблюдать характерную для метафор «твердости» дифференциацию семантических компонентов в исходных значениях, отражающую особенности оценочной нюансировки этических, психологических, интеллектуальных смыслов в метафоре. Так, в качестве мотивировочных признаков при метафорическом переосмыслении мягкости характера как проявления душевности, сострадания, понимания носителем народного сознания чаще всего выбираются следующие свойства: приятная на ощупь **мягкость**, упругость, гибкость поверхности, возможно, теплота температурного ощущения, например:

мякошка «мягкая часть пшеничного хлеба домашней выпечки» → «о мягком человеке с ровным характером: *наши, хуторские, Полину мякошкой зовут – спокойная, значит, мягкая*» (Краснодар.).

Актуализированные в параметрах приятных ощущений сенсорная, гедонистическая и эмоциональная оценки (в исходном значении) служат мотивировочной базой для высокой этической оценки отзывчивого и доброго человека. В следующем примере можно наблюдать, как задача метафорического переосмысления человеческой мягкости как слабохарактерности находит свое решение в выборе вспомогательного субъекта и его определенных качеств:

мянда «хвойное дерево с сырой, рыхлой древесиной» → «мягкий, слабый человек: *Аким – тот мянда: все ему ладно*» (Перм.).

В данном случае можно наблюдать, как для аспектуализации мягкости характера и равнодушия в качестве мотивировочных признаков выбираются сенсорно воспринимаемые свойства предмета: рассыпчатость древесной структуры, ее влажность и рыхлость. Взаимодействие сенсорной и практической оценок бесполезного в своем применении материала создает мотивировочную основу для этической, эмоциональной и психологической оценки человека, душевные качества которого так же рассыпчаты и нецельны, как сырая, рыхлая древесина.

Рассматриваемый материал показывает, что в фокус этической оценки, исходящей из когнитивной зноы «тактильная информация», попадает характер человека. В отличие от сенсорно-

вкусовых метафор, с помощью которых оцениваются, как правило, динамические проявления человека (действия, поступки), через тактильные метафоры оценивается его внутреннее состояние, совокупность психических и духовных свойств.

В результате анализа метафор с исходным значением, отражающим непосредственные ощущения, представляющие конкретно-чувственную информацию, выявляется, что оценочная специфика метафорических наименований обусловлена природой этих сенсорных каналов. Информацию через вкусовые, тактильные каналы мы получаем при непосредственном контакте с источником информации, ощущая и чувствуя его, поэтому семантика исходных значений представляет для процесса метафоризации многообразие дескриптивных и оценочных смыслов.

Визуальные и слуховые рецепторы относятся к так называемым «верхним» каналам, они более сложно организованы, так как способны получать информацию об источнике на расстоянии и выражать ее в целостных образах.

Непосредственная конкретно-чувственная информация, получаемая через тактильные, вкусовые, обонятельные каналы, имеет более частный, аспектный характер, так как названные каналы конкретно-чувственной информации часто взаимодействуют и взаимодополняют друг друга. Для исходной сенсорной информации актуальны два вида оценок: сенсорно-вкусовые (гедонистические) и практические (нормативная, утилитарная, телеологическая), которые определяются фактором физиологического удовольствия-неудовольствия, испытываемого человеком при соприкосновении с миром, и фактором рационального оценивания того, что приносит (не приносит) практическую пользу.

Мотивируя сублимированные оценки в результативном значении, исходные частные оценки преобразуют свои первоначальные смыслы и аспектуализируют этическое содержание метафоры следующим образом: исходные сенсорно-вкусовые оценки определяют эмотивно-оценочный план метафоры, аспектуализируя эстетические и эмоциональные смыслы в параметрах приятного – неприятного, например: *гуна* «ветошь, обноски, тряпье» → *гуна* «вялый, ленивый, нерасторопный человек» (Забайк.), *махор* «старая, ветхая одежда» → *махор* «о слабохарактерном человеке: *это просто махор, а не человек!*» (Свердл.).

Самым многообразным с точки зрения предоставляемой для процесса метафоризации информации является когнитивный источник *звучания*, и, соответственно, достаточно устойчиво в сознании диалектоносителей актуализируется для метафорического переосмысления человека модель «этические проявления человека, особенности его характера, поступки – особенности звучания предметов, звуков, издаваемых животными, и т.д.». Активность метафоризирования в рамках этой модели проявилась во множественности, дробности групп, каждая из которых рассматривается с точки зрения того, как семантика исходных значений модифицирует этическую оценку в результативном значении. На основании актуализированности в исходном значении определенных дескриптивных признаков выделяются следующие группы: метафоры с исходным значением «крик животного», «звучание музыкальных инструментов», «звучание, производимое предметами».

Самой многочисленной является группа с исходным значением «голос человека», рассматриваемая в следующих подгруппах: 1) метафоры с исходным значением «резкий, громкий голос»:

алалакать «говорить неразборчиво, невнятно» → *алалакать* «говорить вздор, чепуху» (Оренб.), *галдуть* «громко кричать, говорить» → *галдуть* «драться» (Костром.), *вякать* «говорить медленно, повторяя одно и то же» → *вякать* «медленно, неохотно делать что-либо» (Влад.).

По отношению к семантике исходных значений – сфере речи – признаки человеческого поведения являются релевантными, а звуковые и поведенческие параметры взаимопроницаемыми. Спецификация способа говорения, отраженная в исходных значениях, может касаться собственно акустических аспектов: сила звучания, динамика, отчетливость¹. По этим звуковым параметрам в исходном значении фиксируется нарушение звучания: превышение громкости, снижение темпа и т.д. Общий смысл этих отклонений от разного вида акустических норм – нарушение условий коммуникации, речевая неэффективность.

¹ Мишанкина Н.А. Метафорическое осмысление сферы неодушевленного: образы звучания // Актуальные проблемы дериватологии, мотивологии, лексикографии. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1998. С. 176–182.

По сравнению с тактильными, сенсорно-вкусовыми, обонятельными метафорическими образами, сенсорные образы человеческого голоса характеризуются оценочной однородностью исходного значения. Это проявляется в том, что в исходной когнитивной ситуации **«говорение»**, используемой в качестве источника метафоризации, актуализируется не набор оценочных признаков, как, например, в сенсорно-вкусовых образах: вкус, запах, температурные ощущения, – а какой-либо один звуковой параметр, определяющий звучание речи.

Исходный образ животного крика имплицитно в метафорическое значение добавочный компонент – ассоциации, связанные с типом поведения, повадками животного: *блекотать* «блеть» → *блекотать* «невнятно говорить», *разр^юхаться* «расхрюкаться (о свинье)» → «начать выражать недовольство, сильно разворчать на кого-нибудь: *вчера свекровка на мене як разр^юхалась, а сегод^{ня} и рыла ко мне не воротит*» (Смол.).

В исходной сфере звучания музыкальных инструментов более всего актуальны для метафорического оценивания человека представления о звучании колокола. Ассоциативная связь этических проявлений человека со звуком, издаваемым сигнальным инструментом, устанавливается по акустическому параметру силы звучания и по исходному признаку «однообразии движений колокольного языка». Также характерной особенностью, отличающей этот музыкальный инструмент, является эффект нарастающей звуковой волны. Звуки, издаваемые трезвонными колоколами, наслаиваются друг на друга, за счет чего происходит расширение звукового диапазона и нарастание силы звука.

Анализ материала свидетельствует, что для метафорического переосмысления этических качеств человека актуальны именно эти признаки исходного значения: *бурло* «самый большой колокол на колокольне» → «тот, кто шумит, кричит» (Перм.), *затонкать* «начать бить звонить громко и часто» → «начать говорить без умолку» (Ср. Урал), *заколо^длить* «начать звонить» → «сплетничать, распускать слухи о ком-либо, заниматься пересудами» (Ворон., Новг.).

Исходная когнитивная зона **звучание колокола** является достаточно богатой для оценочной аспектуализации поведения человека в метафоре, поскольку в представлении об этом музыкальном

инструменте и его звучании уже содержатся элементы сравнения с человеком. Трансформация исходного значения «звучание колокола» имеет ярко выраженный метонимический характер. В культурных представлениях русского человека колокол наделялся человеческими чертами: он имеет язык, часто колоколам даются имена, его звон уподобляется речи *благовест(ить)*, особенности его звучания сравниваются с чертами характера человека. Таким образом, метафорические отношения «колокол – человек» имеют и обратное направление: сфера «человек и связанные с ним представления» служит источником метафоризации для сферы «колокол и колокольный звон».

Одним из достаточно продуктивных источников метафорического моделирования концепта «человек, сфера его этических проявлений» является **визуальная информация**, отраженная в зрительных представлениях, передающих восприятие человеком светлого, затемненного, темного пространства и цвета, например: *меркотный* «сумрачный: *день выдался меркотный: ни солнца, ни дождя*» → *меркотный* «скучный, нудный: *от такого меркотного хоть глаза завязывай да беги*» (Бурят.).

Рассматривая процесс метафорической интерпретации, необходимо учитывать, что зрительная информация о предмете, используемая в качестве вспомогательного субъекта, как и слуховая, имеет существенную особенность, которая определяется самой природой этих рецепторов. С помощью этих конкретно-чувственных каналов информацию о мире мы получаем на расстоянии, вне непосредственного контакта с предметами. В ряду остальных форм восприятия информации (обонятельной, осязательной и т.д.) зрительная является высшей ступенью чувственного познания.

«В силу предметно-образной конкретности как фундаментальной особенности человеческого сознания представление, вбирая в себя ощущения и восприятия, является как бы хранителем и остальных форм чувственного познания. Зрительный образ вещи способен вбирать в себя, синтезировать и организовывать данные остальных органов. Ведущая роль зрительной модальности (способы отражения в нашем сознании образных представлений) является наиболее совершенной в функциональном плане, так как

именно зрение дает симультанную пространственную картину окружающего»¹.

Считается, что если в одно и то же время с видимым образом предмета воспринимается, например, и известный запах, то впечатление от него относится к внешнему образу.

Анализ диалектной метафорической лексики в аспекте выраженной в ней оценки показал, что отличительная особенность и роль визуальной информации, используемой в качестве источника метафоризации, проявляется в особенности комбинации оценочных смыслов в дескрипции исходного значения, что, в свою очередь, обуславливает специфику оценочного содержания в резултативном значении. Проанализированный материал позволяет предположить, что используемая в качестве средства переосмысления визуальная информация вступает в отношения взаимодействия и взаимодополнения с информацией, оцениваемой в параметрах рациональных и сублимированных оценок. В большинстве случаев (за исключением метафор с исходным значением «свет», «освещение») визуальная сенсорная информация актуализирует не сенсорную оценку, а сублимированную – эстетическую.

Например, в визуальной метафоре *зачернять* буквальный план значения – «покрывать грязью, загрязнять» создает зрительный план впечатления – «делать черным», который выявляет эстетическую оценку и эмоциональную, фиксирующую признак «отталкивающий, вызывающий чувство неприятия». Комплекс сенсорно-ментальной информации при метафорическом переносе эксплицитирует в метафорическое значение *осквернять* сублимированный оценочный смысл – к этической оценке в метафоре добавляет эстетический и сенсорно-гедонистический аспекты метафорического видения оцениваемого человека. Метафорическое соотнесение исходного понятия «грязный» и переносного «оскорбление, унижение» позволяет увидеть того, кто унижает другого человека, как бросающего в него грязью, наносящего ущерб с точки зрения не только этической нормы, но и эстетической.

¹ Сукаленко Н.И. Отражение обыденного сознания в образной языковой картине мира. С. 57.

В следующем примере основанием для переноса в область этической оценки послужил признак «нечеткость, размытость изображения»:

невъятный «тусклый, мутный, непрозрачный: *стекло, невъятное от пыли*)» → «невзрачный, невыразительный, о наружности: *лицо у него какое-то невъятное*» (Дон.).

Эстетическая оценка внешности человека чаще всего распространяется на его лицо, ту часть тела, которая наиболее открыта для выражения эмоций и внутренних состояний. Обращаясь к метафоре с точки зрения ее возможностей «прописывать действительность заново, схватывая в любом явлении сущностное» (В.Н. Телия), в образах человеческой невыразительности можно увидеть не только эстетическое проявление, но и этический аспект оценочного содержания метафоры, психологическую оценку душевной и эмоциональной невыраженности, «тусклости» личностных качеств. Ассоциативная связь понятий *тусклый* и *невыразительный* является скрытым семантическим механизмом, актуализирующим запрет на то, чтобы считать красивым человека, лишенного естественной выразительности. В реализации отрицательной эстетической оценки задействованы модальные значения, которые при помощи метафорического механизма выстраиваются в последовательную схему содержательной интерпретации мотивов этической оценки. Внешность человека и, главным образом, лицо, сравниваемые с чем-либо тусклым, непрозрачным, вызывают в сознании антропологически, культурологически обоснованное представление не только о неяркой внешности, но и личностной невыразительности, безликости.

Следующим когнитивным источником информации, значимым для переосмысления этических проявлений человека, является **рационально-практическая информация** о явлениях и предметах, наблюдаемых и используемых в бытовой жизни человека.

В качестве мотивировочной базы для оценочно-метафорического переосмысления в рассматриваемых метафорах выступают фрагменты действительности, воспринимаемые на уровне рациональной обработки информации, с точки зрения практических и телеологических норм.

Культурно-практические аспекты опыта находят отражение в основаниях практических оценок. В понятие рационального осно-

вания практических оценок входят знания и сопровождающиеся оценками устоявшиеся суждения о культурно-практических аспектах жизни и деятельности людей. Особенность практических оценок заключается в том, что они ориентированы на восприятие мира с точки зрения практической пользы и рациональных доводов, а значит, по своей сути они оценочно-синтетичные, не сопровождаются, в отличие от сенсорных оценок, эмоциональными и для них не актуальны отношения взаимодействия с другими видами частных оценок.

Анализ диалектной метафорической лексики показал, что, осмысляя себя через особенности предметов быта, приспособлений, орудий труда, диалектоноситель учитывает прежде всего их динамическую сторону, особенности функционирования, степень и характер участия в каком-либо процессе, а также сам процесс с точки зрения его темпа, условий протекания и результата.

Чаще всего в исходном значении для метафоризирования этических проявлений человека актуализируются признаки повторяемости механических или ручных движений, совершаемых каким-либо инструментом, приспособлением или с их помощью, например: *мешалка* «мутовка, деревянная палочка для взбивания, размешивания чего-либо» → *мешалка* «болтливый легкомысленный человек: *вы этой мешалке не верьте!*» (Ср.Урал).

В отношении того, кто спешит, совершает много движений, этот признак количества (движений) и однообразия аспектуализирует оценку неэффективности содержательной стороны действий, когда в спешке мы выпускаем из вида главное, то, что требует сосредоточенности, а не большого числа физических усилий. В данном случае действует следующая оценочная закономерность: высокая телеологическая оценка исходного значения в отношении действия человека осмысляется как прямо противоположная, аспектуализирующая оценку невысокого результата многочисленных, быстрых, повторяемых движений.

Для этической оценки человека в когнитивной зоне функциональной информации актуализируются представления: 1) о вращательном движении какого-нибудь предмета, механизма, приспособления: *веретешка* «самопрялка»; → «о подвижной, непоседливой девушке, женщине: *на месте не постоит, вот уж веретешка!*»; 2) о приспособлениях, с помощью которых что-

нибудь подвергают обработке, при этом изменяя структуру: *коло-т_овка* «деревянное приспособление для взбивания масла, теста» → *колот_овка* «болтуня, сплетница (Влад.); 3) о приспособлении для прессования чего-либо: *зажим* «тяжелый пресс» → *зажим* «жадный человек» (Перм.); 4) о предметах, служащих опорой: *надолба* «подпорка» → «глупый человек, балда» (Ильмень.); 5) об эффективно работающем механизме со сложным устройством: *мотор* «двигатель» → «о проворном, расторопном человеке» (Ильмень).

При метафорической интерпретации этических проявлений человека через образы орудий труда, механизмов и т.д. учитывается их динамическая сторона, однообразие производимых действий и сопровождающий их громкий звук. Актуализация этих компонентов дескрипции исходного значения является семантической базой для этически негативной оценки речевой бессодержательности, суеты, обмана, легкомыслия.

В отличие от сенсорных образов, функциональные менее настроены на аспектуализацию какого-либо качества в переносном значении. Семантика исходных значений функциональных образов чаще однородна – не является многопризнаковой и представлена образом громкого звука, мерных движений и т.д.

Когнитивный источник рационально-практической информации актуален для метафорической интерпретации этических проявлений человека и с точки зрения **акциональной информации**, тех представлений, которые связаны с действиями человека и процессами, происходящими независимо от него.

Разнообразие признаков исходной семантики и устойчивость осмысления этических проявлений через определенные образы выявляет следующие модели метафорических уподоблений: 1) через исходные признаки взбалтывания, перемешивания: *мут_овить* «размешивать, мешать мутовкой» → *мут_овить* «хитрить, лукавить» (Свердл.); 2) с исходным значением разрыхления, вспахивания: *бороздить* «распахивать гряды» → «говорить медленно, невнятно» (Пск.); 3) с исходным значением быстрых, энергичных действий: *брюхать* «тереть при стирке: *раньше на доске брюхали*» → «говорить не то, что следует, болтать: *че ты брюхаешь*» (Карел.); 4) с исходным значением запутывания чего-либо: *нахому-*

тать «спутать, перепутать нитки, пряжу» → «наделать ошибок, наговорить вздора, несообразностей» (Курск.).

Метафоры с исходными признаками «быстрый», «интенсивный», «резкий», «двигающийся» характеризуют динамические проявления человека: поступки, поведение, отношения с окружающими людьми.

Анализируемые исходные смыслы акциональных образов человека актуальны для метафоризирования таких проявлений, как суетливость, болтливость, пустословие, обман, агрессивное по характеру поведение. Параметры этической оценки этих метафорических наименований совпадают с параметрами, выявленными функциональными метафорами. Разница заключается в аспектуальной выраженности этической оценки. Если через функциональные метафорические образы чаще всего осмысляются однообразные действия человека, его кружение на месте, пустая суета, пустословие, то через акциональные метафорические образы в большей степени осмыляется агрессивное по характеру поведение. Актуализированные в исходном значении признаки «сильный», «резкий», «быстрый», «хаотичный» выявляют аспекты «сильно бьющий», «обманывающий, оскорбляющий, обижающий» (до ощущения боли), создают представление о неуправляемом поведении человека: *куделить* «бушевать, крутить, о вьюге» → *куделить* «пьянствовать, дебоширить» (Арх.). Корреляцию оценочных смыслов в исходном и результативном значениях акциональных метафор представляют исходная телеологическая оценка, фиксирующая высокую эффективность сильных, быстрых, резких движений, действий, и отрицательная этическая оценка того, кто действует против другого, результативен для себя и безнравствен по отношению к окружающим: *накарзать* «нарубить дров» → *накарзать* «наговорить, не следя за правильностью выражений» (Печор.).

Анализ метафорических наименований с эстетической оценкой человека показал, что эстетическая норма – наиболее непостоянная величина в семантическом пространстве сенсорных, практических, интеллектуальных и этических оценок. Как и этическая, эстетическая оценка относится к разряду сублимированных, обращенных к духовному опыту человека, но, в отличие от первой, ориентированной на норму и объективизацию выносимых сужде-

ний, эстетическая оценка безразлична к понятию архетипа или потенциальных требований, предъявляемых объекту. В случае эстетической оценочной квалификации этот факт вызывает известные затруднения: в одной и той же ситуации разные люди одного и того же человека, явление, предмет оценивают в достаточно широких границах аксиологической информации. Действительно, как отмечает Н.Д. Арутюнова, семантическое пространство эстетических оценок скорее настроено на субъективные параметры вкуса, нежели объективные критерии нормы.

Исследование метафорической лексики в аспекте выраженной в ней оценки позволило предположить, что процесс метафоризации дает эстетической оценке особые семантические возможности, проявляющиеся в том, что исходное значение выражает мотив эстетической оценки, уточняет ее разными частными оценками, актуализированными в дескриптивном содержании.

Мы полагаем, что оценочная метафора, рассматриваемая как способ фиксации личностных доминант, выявляет то многообразие оценочных оснований, которые определяют эстетическую оценку человека, в данном случае – оценку внешности.

Проанализированный материал позволяет говорить о расширенной трактовке этого понятия: составляющими концепта «внешность человека» являются не только характеристики его анатомических особенностей, но и психофизических проявлений. В метафорическом выражении это закрепилось во взаимодействии эстетической оценки пропорциональности телосложения и телеологической оценки эффективности человека в качестве работника – параметры «худой + больной, немощный»: *модельный* «гнилой, трухлявый (о дереве)» → *модельный* «слабый, вялый» (Перм.), параметры «толстый + неуклюжий, недееспособный»: *лагушка* «деревянный сосуд, кадка» → *лагушка* «о полной, неловкой, медлительной женщине» (Забайк.), а также в квалификации таких качеств, как активность в контексте трудовой деятельности – «медлительный – расторопный»: *мякушка* «рыхлый, сырой хлеб» → *мякушка* «о вялом, нерасторопном, нерешительном человеке»: *на мужика или женщину мякуша говорят, вроде ругают так, мякушу все заставлять надо, сам не может* (Забайк.), в оценке психофизиологических проявлений – «неуклюжий – пластичный»: *корба* «мешок для овса» → *корба* «о толстом, неуклю-

жем человеку» (Олон.), в оценке проявления человека в быту – «чистоплотный – неаккуратный»: *кучумка* «чучело для отпугивания птиц в огороде» → *кучумка* «неумытая, неопрятная женщина» (Ряз., Саратов.).

В анализируемой диалектной лексике выделяется большая группа наименований человека, в которых эстетическая оценка, выраженная в метафоре, мотивируется совокупностью сенсорно-вкусовых и практических, фиксирующих дескриптивные признаки «вкусный», «приятно, аппетитно пахнущий», «полезный для здоровья человека».

Семантическое пространство положительных эстетических оценок представлено наименованиями полной, дородной, пышущей здоровьем женщины. Дескриптивная семантика исходных значений этих семантических единиц актуализирует комплекс конкретно-чувственной информации о вспомогательном субъекте, в качестве которого выступают образы пышного свежее испеченного хлеба, например:

налитушка «булочка, покрытая сверху овсяной крупой и пропитанная маслом и сметаной» → *налитушка* «полная здоровая женщина» (Смол.).

Эстетическая оценка в этом примере выражена не автономно, а вступает в смысловые отношения с практическими и эмоциональными оценками. Полная, пышущая здоровьем женщина вызывает приятные эмоции и эстетические переживания того, что связано с основными человеческими ценностями – здоровьем и жизнью.

Оценка женской красоты в метафорическом наименовании тесно связана с практическим оценочным смыслом, поскольку в народном сознании полнота осмысливается как признак здоровья и, значит, способности к труду.

Категории частных оценок, актуализированные исходным значением, сигнализируют не только о соответствии внешности эстетическим канонам, но и о выполнении ими конкретных практических задач. Представление о том, что дородная, здоровая женщина эффективна в практической деятельности, крестьянском труде, находит выразительное отражение в метафорических единицах, содержащих комбинации сенсорно-вкусовых и телеологических оценок, апеллирующих к вкусовым ощущениям и представлениям о пользе, приносимой здоровью вкусной и полезной пищей.

Противоположное эстетическое проявление человека – **отсутствие красоты и здоровья** – также осмысливается через образы, дескриптивная семантика которых актуализирует комплекс конкретно-чувственной информации, но с отрицательными оценочными смыслами, например:

гнилой «поврежденный, испорченный гнилью: *деревья гнилые, попадают и лежат, пока не сгниют*» → *гнилой* «о слабом, подверженном частым заболеваниям или немощном человеке: да как-то тоже гнилая, все болит: то живот, то бок колет, то зубами рвет» (Акчим, Перм.);

мозголь «загнившая древесина» → *мозголь* «нездоровый, слабый человек с болезненным лицом» (Арх.).

Выявленная связь эстетической оценки с рационалистической демонстрирует обусловленность эстетической нормы практическими представлениями и установками. В рассмотренных примерах отклонение от эстетической нормы содержательно обосновывается как нечто безобразное, старое, немощное, при этом представление о красивой, привлекательной внешности человека обосновывается в зависимости от антропологических свойств человека – крепкого телосложения и здоровья. Часто в языке диалектоносителей образ испорченного, потерявшего структуру предмета, материала и связанные с ними сенсорные, гедонистические и утилитарные оценки используются для метафорической интерпретации чрезмерной полноты человека:

дупле^натый «имеющий дупло, пустоту внутри: дуплената есь (картошка), в середине она тленая, испортится, то ли че засохнет» → «излишне полный, рыхлый человек: а человек тоже бывает некошной, то ли я горбата, то ли я некошна – дуплената» (Забайк.);

раскваситься «прокиснуть, пропасть, расползтись» → *раскваситься* «расползеть, раздаться: *у тебя талия все та же – не расквашена*» (Свердл.).

Исходный семантический признак «деструктурированный» транспонируется в метафорическое значение и тем самым не только объективно расширяет основание эстетической оценки, связанной с дескрипцией «толстый», но и способствует актуализации негативной рационалистической оценки: как изменившая свою структуру древесина, либо другой материал, теряет свои основные свойства, так и объект оценки, метафорически интерпре-

тируемый через образ расплзшегося теста, разбухшего дерева, воспринимается через практический аспект оценочного содержания – чрезмерно полный, рыхлый человек неэффективен в работе и характеризуется как медлительный и нерасторопный, т.е. тот, от которого мало практической пользы.

Также необходимо отметить особенность выражения **этического** аспекта оценки в подобных метафорических значениях. В семантических единицах *размоклый*, *раскиселиться* дескриптивный признак «вялый» не может служить основанием для этической оценки, но представление о психофизическом состоянии человека, лишённого бодрости, акцентирует его пассивный аспект как деятеля. Этот акцентированный смысл определяет содержательную основу для этической оценки медлительности и апатичности, подчеркивая неэффективность человека в роли работника, и обосновывает включение в общее оценочное содержание этического аспекта.

Как показывает языковой материал, эстетическая оценка соответствует не только природным свойствам человека, комплексу его анатомических и психофизиологических особенностей, но и качествам, выходящим за границы компетенции эстетической нормы. Рассмотренные примеры убеждают, что социальные ограничения, накладываемые на эстетическую норму, сужают сферу распространения эстетической оценки, которая в определенной степени перераспределяет свои регулятивные функции между рационалистическими и психологическими оценками, ориентирующими на оценку социально полезных качеств человека (*кондовый* «прочный, крепкий, качественный, о лесе, древесине» → *кондовый* «крепкий, здоровый человек: *деду Николае – кондовый старик: семь десятков, а косит как молодой*) (Ср.Урал). Онтологически несовместимые эстетические и практические нормы, отсылающие к разным видам оценок – рационалистическим и сублимированным, – взаимопересекаемы и даже взаимозаменяемы в том случае, если в фокус оценки попадает человек.

Следует заметить, что взаимодействие эстетической нормы с другими видами норм не является единственно возможной аксиологической моделью. В следующих примерах можно наблюдать, как в метафорическом значении реализуется автономная эстетическая оценка. Чаще всего это характеристика человека по признаку пропорциональности сложения,

знаку пропорциональности сложения, учитывающая параметры полноты и роста, например: *загвозда* «железный клин, вбиваемый в топорище» → *загвозда* «толстая женщина, толстуха» (Волог.), *обрубок* «обрубок от большого пня» → *обрубок* «о низкорослом, толстом человеке» (Пск.).

Среди метафор с эстетической оценкой достаточно большое место занимают зооморфные образы, через которые факт несоответствия внешности человека эстетической норме интерпретируется как сближение его внешнего облика с чертами животного. Перенос по модели «внешний вид животного – эстетическое проявление человека» происходит не только на основе образно-ассоциативного представления, квазистереотипа, но и с участием оценочной информации, актуализированной в исходном значении. Оценка, связанная с определенным представлением о животном, его восприятием, является конкретно-чувственной по своему характеру и определяется сенсорно-гедонистическим признаком «неприятный» (ср.: *кочушка* «сытая лошадь» → *кочушка* «о полной, круглой женщине») (Ряз.).

Эстетическая норма, приписывающая человеку не быть внешне похожим на животное, реализуется в следующих метафорических наименованиях: *курдюк* «овца особой породы с жировыми отложениями в хвосте» → *курдюк* «толстяк» (Казан.), *мерин* «большая, толстая лошадь» → *мерин* «о высоком, толстом человеке» (Олон.) и т.п.

Метафорической интерпретации понятия «красивый/некрасивый человек» в анализируемом материале свойственна следующая закономерность: эстетическая норма взаимодействует с другими видами норм, что отражено в комбинировании сенсорной, практической, нормативной оценок, актуализированных в исходном значении. Реализующийся в языке диалектоносителей концепт «некрасивый человек» выявляет отнесенность эстетических качеств человека к разным сферам его проявления – этической, интеллектуальной, практической.

Таким образом, можно говорить о том, что в оценочной метафоре этические и эстетические проявления человека осмысляются через комплекс разных частнооценочных значений, взаимодействие и взаимоуточнение которых определяет специфику оценочной метафоры.

В процессе метафоризирования своих этических и эстетических проявлений диалектоноситель активно обращается к когнитивной сфере конкретно-чувственной и практической информации, тем представлениям, которые обусловлены его перцептивным и рационально-логическим опытом познания мира.

Обращение к этим когнитивным источникам конкретно-чувственной информации дает метафоре особые возможности выражения оценки. Так, воспринимая оцениваемые этические или эстетические качества через сенсорные, рационально-практические метафорические образы, человек формирует не ментальное суждение о положительных или отрицательных качествах, а создает в воображении богатую своей чувственной, образной и эмоциональной палитрой картину. При этом комплексность оценок в исходном значении, через которые видится, ощущается и осмысливается заданный сознанием образ, – суть выражения единства информационной базы, которой оперирует человек, решая когнитивные задачи оценивания.

1.2.2. Метафорические модели времени

Метафорическое представление времени в языке осуществляется посредством сочетания обозначений времени или его отрезков с переносными ЛСВ единиц разных частей речи (в первую очередь – глаголов и прилагательных). Все рассмотренные в разделе метафорические сочетания распределены по группам, основанием для отнесения в которые послужила общность их исходных и переносных значений. Такая классификация позволяет говорить о разбиении анализируемых сочетаний по их принадлежности к *метафорическим моделям*, под которыми понимается: 1) такой процесс метафорического переноса, при котором у группы метафор отмечается общий компонент как в переносных значениях, так и в исходных; 2) группы подобных метафор.

Оценочное значение в той или иной степени присутствует почти во всех метафорических моделях времени, но если в одних моделях оно является основным, то в других – второстепенным.

Одним из самых распространённых способов представления времени в русском языке являются языковые метафорические модели движения времени (ЯММДВ).

Посредством **динамической** ЯММДВ (наиболее распространённой в русском языке, когда время уподобляется человеку (*время идёт, бежит*), животным (*время летит, ползёт*), водному потоку (*время течёт, льётся*) и т.д.) выражается в первую очередь не констатация движения времени или его отрезков, а именно их оценка, личностное отношение говорящего к процессу этого движения (т.н. «психологический» аспект восприятия времени). В психологии выделяются некоторые закономерности, проявляющиеся при восприятии времени. Например, при восприятии времени обнаруживаются такие особенности сознания человека, как его склонность преувеличивать небольшие и преуменьшать большие промежутки времени; зависимость временного восприятия от эмоционального состояния: положительные эмоции дают иллюзию быстрого течения времени, отрицательные – субъективно несколько растягивают временные промежутки и т.д.¹ Следовательно, можно сделать вывод о том, что для говорящего достаточно малозначимо объективное «движение» времени, а важно через то или иное обозначение движения времени выразить прежде всего своё отношение к обозначаемому моменту, фрагменту действительности. Это могут быть, например, временные «переживания», в которых актуализируется семантика интенсивности движения времени (*время идёт: медленно – быстро – нейтрально*); может реализовываться ощущение плавности, незаметности течения времени (*время течёт, льётся, плывёт*) и т.д. Соответственно, говорящий может давать характеристику времени не только через использование собственно оценочных определений (например, *хороший / плохой день*), но и посредством обозначающих движение времени метафорических ЛСВ глаголов движения. Оценочная маркированность при помощи соответствующих определений (нередко метафорического характера: например, *чёрный, золотой, суровый* и т.д.) является дополнительной. Положительно оцениваемые отрезки времени могут сочетаться только с глаголами, которые обозначают быстрое движение (*лететь, промчатся* и т.д.), негативные периоды выражаются сочетаниями с глаголами *ползти, тянуться* и т.д.: *Время, между тем, бежало по своему*

¹ Общая психология / Под ред. В.В. Богословского. М., 1981. С. 211; Общая психология / Под ред. А.В. Петровского. М., 1986. С. 288.

обыкновенно под гору, увлекая за собою дни, часы, минуты и секунды (Григорович); Как мучительно тянется каждая минута ожидания (Саянов). Использование нейтральных в плане обозначения скорости глаголов (*идти, плыть*) может выражать оценочные смыслы только в случае употребления дополнительных маркеров: *День за днем проходило время, жаркое, пыльное и совершенно ненужное. Плыли дни, как облака в небе, неизвестно откуда, куда и зачем* (Сергеев-Ценский).

Поскольку, как уже было сказано выше, движение времени передается при помощи глаголов с исходным значением движения в физической среде, то следует отметить, что в этом значении потенциальные смыслы остановки движения, отсутствие передвижения в физической среде также могут быть метафорически интерпретированы при характеристике времени. Посредством метафоры остановки времени могут быть обозначены две ситуации: **отрезок время стоит** (такое сочетание употребляется только с обозначением какого-либо, чаще всего сезонного, отрезка времени) и **время остановилось**. В первом случае имеется в виду констатация наличия какого-либо отрезка времени, во втором – остановка движения времени.

Ситуация "бытования" какого-либо промежутка времени выражается при помощи ЛСВ глагола *стоять*, употребленного в сочетании с обозначением какого-либо отрезка времени. Такие словосочетания не выражают каких-либо оценочных смыслов: *Стояло лето. Стоял полдень*.

Ко второй группе анализируемых метафорических выражений с актуализированным значением отсутствия движения относятся сочетания слова *время* с ЛСВ глагола *остановиться*. Следует отметить, что метафора остановки времени – это метафора, которая непосредственно коррелирует с одним из потенциальных смыслов метафоры *время идёт, движется*: если время может идти, то оно, соответственно, наделяется способностью и останавливаться. О неполной закреплённости данной метафоры в системе языка свидетельствует и достаточно широкий разброс смыслов, выражаемых с её помощью. Очевидно, именно это обстоятельство и обуславливает то, что метафорическое сочетание *время остановилось* не отмечается в словарях, но широко представлено в текстах.

Представляется возможным выделить несколько наиболее типичных ситуаций, характеризующихся посредством метафоры *время остановилось*, из которых в аспекте выражения оценочных смыслов интересны следующие.

Желаемая остановка времени предстаёт в метафорической номинации как отражение состояния человека, оцениваемого столь положительно, что ему хочется, чтобы это состояние длилось как можно дольше, вечно: *От человека, аллес, ждать напрасно: / "Остановись, мгновенье, ты прекрасно"* (Бродский). Такая остановка времени оценивается как положительная для говорящего.

«Реальная» ситуация интерпретируется метафорическим сочетанием как ситуация без движения времени или с остановившимся временем. Метафора остановки времени используется как гипербола к выражению *время идёт медленно*, посредством которого обычно описывается состояние томительного ожидания, растянутого во времени переживания неприятных событий и т.д. Как «крайняя» форма обозначения «медленного» хода времени возможно гиперболическое сравнение: *Время шло так медленно, что казалось, будто оно остановилось* (Чернов). Метафорически обозначается остановка времени применительно к обществу, государству для обозначения стагнации, застоя: *Ну, в самом деле, какое значение имеет год, в который ты живёшь, если тебе точно известно, что время в твоей стране остановилось и никуда не движется?!* (Искандер). (Эта ситуация может быть обозначена и с помощью других единиц, например *безвремяе* и *застой*.) Метафоры остановки времени употребляются для отображения какого-либо столь сильного потрясения в жизни человека, что оно может быть выражено только через отождествление с таким аномальным явлением, как остановка времени: *В этот миг время остановилось для него* (Рябинин). При описании **«реальной» ситуации** использование метафоры остановки времени служит для выражения негативной оценки говорящим сложившегося положения дел. Причём не только описываемая ситуация влияет на такую оценку, но и – для более полного обозначения ненормальности, отрицательности такой ситуации – указание на отсутствие движения времени, на остановку времени усиливает оценочный компонент, что проявилось в каждом из вышеприведённых контекстов. Это

обстоятельство может служить достаточно ясным свидетельством того, что в РЯКМ в качестве нормы воспринимается движение времени. Обозначение отсутствия такого движения при изображении реальной (а не предполагаемой, желаемой и т.д.) жизни человека или общества свидетельствует о её восприятии как аномальной.

В **статической модели движения времени**, которое в этом случае уподобляется пространству в целом или каким-либо его фрагментам (порог, дорога и т.п.), оценочная семантика проявляется нерегулярно и встречается только тогда, когда речь идёт о развитии (движении) общества в историческом «пространстве». Оценочная окрашенность подобной ситуации проявляется следующим образом: движение вперёд оценивается положительно, а назад – отрицательно: *Мы идём к (светлому¹) будущему; / Мы идём, **возвращаемся** (!) к прошлому (тёмному, мрачному и т.п.)*. Отметим, что сочетания с подобной семантикой характерны прежде всего для публицистических текстов.

Кроме того, «топография» такого движения также может нести дополнительные аксиологические характеристики: *столбовая дорога истории, окольные пути истории и т.п.* Здесь следует отметить несомненную этическую оценку ориентированности такого пространства.

В отличие от метафорических сочетаний предыдущей группы, большая часть **синхронных моделей движения времени** предназначена для обозначения оценки говорящим чьих-либо действий, позиции и т.д.: *идти (шагать) в ногу со временем; идти рука об руку (рука в руку) с веком; попасть в ногу современности; опережать своё время; обогнать своё время; забежать вперёд; отстать от времени; не поспевать за временем; быть не в состоянии угнаться за временем; идти (плестись) в хвосте у событий; идти на поводу у времени; действовать наперегонки со временем².*

¹ Определения в такой ситуации могут служить дополнительным оценочным маркером.

² Н.Д. Арутюнова отмечает наличие таких сочетаний в языке, не выделяя их в какую-то отдельную модель [см.: Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. М., 1999. С. 694].

В этих сочетаниях время и человек метафорически уподоблены субъектам, движущимся в одном направлении, параллельно друг другу, синхронно. Время и человек представлены здесь как равноправные, сопоставимые величины, в отличие других ЯММДВ, где либо время динамично, а человек статичен, либо наоборот. Такая модель может быть обозначена как синхронная на основании того, что время и человек движутся одновременно, совместно, синхронно и противопоставляются в основном в плане скорости передвижения.

Признаки скорости, интенсивности движения составляют основу оценочной семантики данных метафорических сочетаний при характеристике действий человека. Действие человека оценивается положительно – если он соответствует требованиям общества в данное время, что метафорически изображается как передвижение наравне со временем (*идти в ногу со временем, идти рука об руку (рука в руку); не отставать от своего времени*), и негативно – если таким требованиям он не соответствует, что метафорически обозначается как положение позади времени (*отстать от времени; плестись, идти в хвосте у событий; не поспевать за современностью; быть не в состоянии угнаться за веком; отчасти: действовать наперегонки со временем*). Случай, когда человек «опережает» своё время, «обгоняет» его, не столь однозначен и может трактоваться различным образом в зависимости от конкретной контекстуальной ситуации. Значение такого выражения, как *не будем забегать вперёд*, синонимично одному из значений выражения *не будем опережать время*. Содержащаяся отрицательная оценочность в метафорическом сочетании *забегать вперёд* свидетельствует о том, что единственная положительно оцениваемая посредством метафор позиция человека относительно времени – это метафорическое обозначение его движения «наравне» со временем. Однако человек, «находящийся» в наиболее оптимальном положении по отношению ко времени, понимается не только как движущийся на одной "скорости" с ним, но и в одном **ритме**. Об этом свидетельствуют такие сочетания, как *идти в ногу со временем; попасть в ногу с современностью и т.п.* Несколько особняком стоит и выражение *идти на поводу у времени*. В выражении *идти (или быть) на поводу у кого-либо* описывается негативная ситуация вообще, независимо от того,

идёт здесь речь о времени или нет, так как действия по чьей-либо указке, не самостоятельно, зависимость в своих поступках от кого-либо в РЯКМ оцениваются, как правило, отрицательно. Если проализировать это выражение, то сочетание *идти на поводу у времени* достаточно ясно обрисовывает положение субъектов движения: время – «впереди», человек – «позади», а эта позиция (позади времени), как мы уже показали выше, воспринимается как отрицательная. Кроме того, на негативную оценку влияет значенные принудительности движения человека.

Достаточно близки к синхронным ЯММДВ и модели, выраженные сочетаниями некоторых временных обозначений с глаголом *влачить*: *Всегда гоним, теперь в изгнание Влачу закованные дни* (Пушкин). Такие метафорические сочетания характеризуют время как фактор, неблагоприятный для человека, что выражается уподоблением временных отрезков некоему грузу, который человек вынужден с усилием *влачить* или *тащить*. (Возвратная форма данного глагола – *влачиться* (а также *влечься*) – представлена в динамической ЯММДВ и, как и *влачить*, отражает негативное отношение к обозначаемому отрезку времени.) Модели, формируемые такими метафорическими сочетаниями, могут быть отнесены к синхронным ЯММДВ, так как движение времени и человека происходит в такой интерпретации одновременно и в одном направлении. Человек здесь метафорически представлен как субъект, который, перемещаясь, тянет за собой груз (время), что и обусловливает негативную окрашенность описываемого отрезка времени. Необходимо заметить, что, в отличие от остальных ЯММДВ, время здесь представлено не в роли активного субъекта, а в качестве объекта по отношению к человеку.

Время в РЯКМ наделено способностью не только к передвижению, но и к совершению разного рода других действий, которые могут быть проанализированы в аксиологическом аспекте в рамках нескольких метафорических моделей. Следует отметить, что в такой интерпретации значение оценочности является дополнительным при выражении основных смыслов. Это можно проследить на примере метафорических сочетаний, которые отражают изменения физического облика человека, этапы его старения, приписываемые влиянию времени: *Через много лет время стёрло с лица [князя] печать молодости и печать красоты* (Искандер).

Путём сравнения переносного и исходного значений глагола *стереть*¹ (ИЗ Удалить что-л. с поверхности, проводя по ней чем-л.; вытереть. РЗ Уничтожить, изгладить) представляется возможным проследить образную ситуацию при описании воздействия времени на физическую «оболочку» человека: с рождения человек обладает некими качествами (запас которых ограничен и наличие которых оценивается положительно), а время уничтожает их, как бы стирая с поверхности. Подобного рода действия времени оцениваются говорящим негативно.

Такой аспект влияния времени может быть обозначен и с помощью других глаголов: Смотрю: ёлки-палки, что время **делает** с нами! Разве я когда-нибудь узнал бы в этом облысевшем, как и я, человеке того молодого, как звон, красавца лётчика, в далёком военном году обламывавшего ветки прусской рябины в красных кистях (Искандер). В такой интерпретации время так обращается с человеком, что последний, теряя свои положительно оцениваемые говорящим качества, ничего не приобретает взамен либо получает черты, которые могут восприниматься только как негативные. Здесь любопытно отметить, что даже если из всего вышеприведённого контекста вычленишь только сочетание что время **делает** с нами, то и тогда становится ясно, что результат такого процесса **отрицателен** для человека как объекта воздействия. Следовательно, в РЯКМ влияние времени на физическую сторону существования человека воспринимается как одностороннее.

Однако здесь необходимо учитывать следующий момент: если действовать в сторону улучшения физической оболочки человека время действительно не склонно, то в ряде случаев оно может всё-таки быть снисходительно к человеку, что и выражается в отсутствии какого-либо воздействия времени на него: *Время милости-во обошлось с Джозлионом, ибо он был Форсайт. Но Ирэн время словно совсем не коснулось, таково было, по крайней мере, его впечатление. Когда она вышла к нему в сером бархатном платье... она показалась ему ничуть не постаревшей* (Голсуорси, перевод Богословской-Бобровой). Отражённые в данном фрагменте отношения человека и времени аналогичны тем, которые

¹ Здесь и далее словарные значения приводятся по изд.: Словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. А.П. Евгеньевой. 3-е изд., стер. М., 1981.

описываются посредством ЛСВ глагола *стереть*: любой «контакт» со временем не несёт ничего хорошего для человека (по крайней мере, для его физической стороны). Кроме того, как видно из приведённого фрагмента текста, время может *милостиво обойтись* с человеком. Однако милость времени в данном случае заключается не в том, что время что-то дало человеку, а в том, что оно всего лишь *не прикоснулось* к нему, ничего не унесло, не уничтожило. Подобный тип отношений человека и времени интерпретируется и в следующем тексте: *Удивление его возросло, когда он увидел, что годы так пощадил её: в тридцать с небольшим лет она казалась если уже не прежней девочкой, то только разве расцветшей... женичиной* (Гончаров).

Сопоставление словарных значений (*Пощадить* ИЗ Дать пощаду кому-л., не причинить вреда кому-, чему-л. РЗ Сохранить без изменений, уберечь от разрушения) уточняет понимание времени в РЯКМ: всё, что время может сделать хорошего для человека, – это не коснуться его, **сохранить его состояние без каких-либо изменений**, так как подавляющее большинство изменений, вносимых временем, пагубно отражаются на человеке как объекте такого воздействия. Вместе с тем такое «обращение» времени с человеком следует считать скорее исключением, нежели правилом, что можно увидеть и в приведённых текстовых фрагментах, так как такое состояние вызывает удивление. Для говорящего гораздо более обыденной является ситуация, когда время всё-таки воздействует на человека, и такое его воздействие несёт только отрицательный результат, например: *Мы думаем, что время идёт только для других, но оно **не щадит** никого* (Борхес, перевод Дубина).

Непреложность негативного влияния времени на физическую сферу человека обосновывается и в таком контексте: Дойдя до предела нищеты, он оставлял людям всё вверенное ему достояние в целостности и сохранности. Лишь плоть его **была подвластна** времени (Карпентьер, перевод Косс). Посредством такой метафоры время представляется как властелин человеческого тела и, следовательно, может поступать с ним по своему усмотрению.

Деструктивная функция времени может выражаться и с помощью таких метафорических сочетаний, как, например, **ветер времени**: *Ах, ветер времени злоедей, / причина множества кручин!*

/ Ты **изменяешь** форму женщин / и содержание мужчин (Губерман). Наличие в русском языке такого устойчивого сочетания (*ветер времени*), очевидно, может быть объяснено тем, что главным, определяющим признаком времени в РЯКМ является **движение**. И сочетание со словом *ветер*, где значение движения также является основным (*Ветер*. Движение потока воздуха в горизонтальном направлении), должно ещё более подчеркнуть это свойство времени.

Однако иногда время метафорически интерпретируется и как существо, бессильное изменить что-либо в человеке (что также воспринимается положительно): *Он давно уже не прочь был [познакомиться с] мадемуазель Флоридор, разглядев во время ночных спектаклей под туникой с узором меандра [фигуру], на которую время так и не смогло наложить свой неизгладимый отпечаток* (Карпентьер, перевод Косс).

Здесь интересно отметить, что **неналожение** знака, отпечатка времени на человека оценивается положительно, рассматривается как благо. А если у человека отмечаются какие-то следы времени, то это, в свою очередь, является констатацией несохранения красоты, здоровья и т.д. Хотя необходимо заметить, что в ряде случаев возможно и не столь однозначное осмысление подобного воздействия времени, согласно которому время, забирая физическое здоровье, взамен, в виде своего рода компенсации, увеличивает ментальные способности человека. Подобное положительное восприятие воздействия времени проявляется, например, в следующем тексте: *Мне исполнилось недавно сорок лет. Не полагая себя красавцем, я знал, что статно сложен, что черты мои благородны... что на лице моём... нет морщин, хоть голова моя уже седа – что придавало мне некоторое величие, наводя на мысль об опыте и разумном взгляде на вещи, что связывают, хоть порою ошибочно, со всеми знаками, налагаемыми на нас временем* (Карпентьер, перевод Тыняновой).

Логическим итогом такого воздействия времени должна явиться смерть, однако как раз «обвинений в летальном исходе» в адрес времени практически не встречается. Очевидно, в основе такой интерпретации времени лежит то, что у смерти в подавляющем большинстве случаев всегда есть какая-либо причина, объясняющая её: болезнь, несчастный случай и т.д. Времени в РЯКМ при-

писываются такие изменения, которые происходят *постепенно и незаметно*. Среди же окказиональных метафорических сочетаний можно встретить и такие, в которых причиной умирания, угасания человека является непосредственно время: *Не во тьме мы оставим детей, / когда годы сведут нас на нет; / время светится светом людей, / много лет как покинувших свет* (Губерман).

Кроме того, при характеристике времени в данном аспекте используются метафоры согнуть, клонить, гнести: Время **согнуло** её пополам, чёрные когда-то глаза были тусклы и слезились (Горький); Не молодым пришёл, а старым, прожившим уже свою жизнь человеком, когда годы **стали клонить к земле**, когда все радости жизни остались позади – когда уже перевалило ему за семьдесят (Магауин, перевод Курчаткина). При такой интерпретации время уподобляется субъекту, который сгибает (часто под своей тяжестью) тело человека, первоначально имевшее распрямлённый вид. И такие метафоры также подчёркивают однонаправленный и необратимый характер действия времени: сделать, например, человека стройным оно не может. Эти метафорические сочетания перекликаются с метафорами груз лет, бремя лет и т.п., согласно которым прожитые годы воспринимаются не как благо, а как тяжкий и обременительный груз, нести который время обрекает человека. Соответственно, такие метафоры могут быть объединены в одном контексте, например: После освобождения Латвии от фашистской оккупации литературная деятельность Андрея Упита продолжается в Риге. Хотя **груз лет** и заметно **согнул** его стройную фигуру, рука его всё также крепко держит перо (Григулис).

Вместе с тем, хотя роль человека в ситуациях, когда время его гнёт, клонит и т.п., показывается как весьма незначительная, люди могут сопротивляться негативному воздействию времени, например: *Несмотря на возраст, он не сдавался своим годам* (Гольдес). Наличие подобных метафорических номинаций указывает на то, что в РЯКМ отражается постоянная (хотя и не всегда явно выраженная) ситуация противоборства времени и человека. В этой борьбе время в большинстве случаев одерживает верх, постепенно ухудшая здоровье и внешность человека, но, однако, в ряде случаев человек может оказывать сопротивление и иногда такое сопротивление приводит к положительным для него результатам, но только на какое-то время, так как исход этой борьбы в целом пре-

допределён заранее. Кроме того, здесь одновременно содержится и положительный оценочный компонент – противодействуя влиянию времени, человек сохраняет те невозстановимые качества, которые время стремится унести или уничтожить.

Данное свойство, согласно метафорической номинации, может быть обнаружено и у каких-либо особо прочных материальных объектов и также с имплицированной положительной оценкой: *Перед церковью святого Матфея жилище Ламба Дориа... солидное, как знатный род его владельцев, **противостояло** шагу столетий* (Карпентьер, перевод Тыняновой). В этом фрагменте представляет интерес тот факт, что борьба происходит не просто со временем, а с ходом времени (в данном случае – *с шагом столетий*), и это позволяет говорить о том, что, хотя движение времени в РЯКМ воспринимается как нечто естественное, а его отсутствие аномально, вместе с тем в таком движении заключается и негативный для человека смысл: ход времени ослабляет физические силы, здоровье человека и незаметно приближает его к смерти.

Метафорические контексты такого типа свидетельствуют о том, что в РЯКМ время может восприниматься как субъект, негативно воздействующий не только на человека, но и на целый ряд неодушевлённых объектов. Такая интерпретация влияния времени на натурфакты и артефакты широко распространена в РЯКМ: *С момента появления скал... прошло много веков, но **всесокрушающая рука** времени **не коснулась** их. Они и поныне стоят незыблемо, как бы выполняя какую-то странную миссию, неведомую простым смертным* (Арсеньев); *Всадники вплотную подъехали к крепостным **стенам**, уже **пронутым** временем* (Чернов); *По обе стороны длинного-предлинного пути, пролегающего меж стенами залов и галерей, скользили тёмные полотна [написанные] маслом, лепные **украшения**, **зачернённые** временем* (Карпентьер, перевод Тыняновой). Подобные метафорические сочетания позволяют говорить о том, что воздействие времени на неодушевлённые (в том числе и природные объекты) зачастую интерпретируется как значительно более сильное, нежели подобное воздействие на человека. Если способность времени оказаться причиной смерти человека является скорее окказиональным вариантом рассматриваемой метафорической модели, то полное уничтожение временем каких-либо неодушевлённых объектов – явление, регу-

лярно актуализируемое в РЯКМ. Кроме того, при воздействии на неодушевлённые объекты время способно не только касаться, дотрагиваться до них (что также приводит к самым негативным последствиям), как в случае с физической оболочкой человека, но и ломать, разрушать и т.д. И здесь, как и ранее, можно отметить, что влияние времени метафорически интерпретируется как однонаправленное – только в сторону старения, разрушения и т.п. Если же какие-то вещи, предметы сохраняются лучше, чем можно было бы ожидать, то такая ситуация может быть обозначена при помощи метафорических сочетаний *время пощадило, время помиловало* и т.п., которые помимо основного смысла зачастую содержат ещё и дополнительный смысловой компонент исключительности такой ситуации (впрочем, как и в аналогичном случае с человеком): *В углу, на возвышении две-три молитвенные книги, пощаждённые временем и людьми* (Инбер). Кроме того, при деструктивной характеристике роли времени оно может быть уподоблено чему-то прожорливому, ненасытному: *Состояние [рукописи] было превосходное, только в одном месте, на левой части близ стыка, чернела небольшая дырка, проеденная ненасытным Временем* (Акунин). Также отмечается и негативное воздействие на материальные объекты какого-то *груза времени*: *Крыльцо, выходящее во двор... погнулось под бременем лет* (Короленко).

На основании всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что для РЯКМ время наряду со своими прочими характеристиками в немалой степени наделено и качеством деструкции, каковое и реализуется применительно как к человеку, так и к артефактам и натурфактам. Необходимо отметить, что во всех случаях негативного вмешательства времени в жизнь человека и при разрушении им неодушевлённых объектов речь идёт исключительно только об изменениях *постепенных*. И в данном случае представляется возможным предположить, что в приписывании каких-либо подобных изменений воздействию времени отражается стремление говорящего найти причину таких модификаций. Ибо если кто-либо (что-либо) *значительно* изменяется за относительно *небольшой* промежуток времени, то в подавляющем большинстве случаев представляется относительно несложным вычленивать, что послужило причиной этого. Также следует обратить внимание и на то, что для человеческого сознания не харак-

терна фиксации внимания на относительно небольших модификациях чего-либо. Когда же количество таких невеликих изменений переходит в качество (т.е. когда говорящий осознаёт случившуюся перемену), то возникает необходимость как-либо объяснить её. И тот факт, что все подобные изменения происходили в течение относительно большого промежутка времени, служит основанием того, что время из фактора сопутствующего превращается в языковом сознании коллектива в фактор, детерминирующий данные изменения. Нередко подобные изменения приписываются столь же безличному, как и время, влиянию каких-то природных сил, и в целом ряде случаев можно проследить такое переплетение детерминаций, например: – *Да... время или буря, должно быть, за-мели все следы [кораблекрушения]* (Верн, перевод Немчиновой и Худадовой). Всё вышесказанное может объяснить и такую особенность осмысления времени, согласно которой время является фактором, по преимуществу разрушительным и чрезвычайно редко – созидательным. Возможно, дело в том, что в сознании человека созидание, в противовес разрушению, во-первых, совершается в какой-то относительно обозримый срок и «на виду» у людей, а во-вторых, оно предполагает какой-то первоначальный замысел, что в значительной степени не свойственно образу времени в осмыслении его человеком.

В ряде случаев, когда говорится о разрушительном влиянии времени, имеется в виду время, не абстрагированное от каких-либо конкретных исторических событий. То есть происходит своего рода метонимический перенос: если в какой-то период времени совершались жестокости и преступления (причём их «количество» превышало некую норму, конвенционально установленную в РЯКМ), то и это время наделяется качествами жестокости и преступности: *Жестокость времени непоправимо изуродовала и огромный поэтический дар Ярослава Смелякова...* (Самойлов); *Убедительно и зримо в ней [книге] показывалось, кем обещал стать и не сумел стать Юрий Олеся, как эпоха согнула, надломила и скрутила его талант и личность. Тонко и едко, словно кислотой по металлу, вытравлены были черты зловещего времени, жестоко убивавшего в людях самый дух вольной игры и вольной мысли* (Губерман); – *А я откуда знаю – прежний ты али нет? Может, надломила тебя жизнь?* (А. Иванов). Эти метафоры отражают

понимание времени как субъекта, наделённого весьма отталкивающими качествами и способного очень жестоко обойтись с человеком, который как-либо не соответствует требованиям данного времени. Необходимо заметить, что такое негативное влияние времени как исторической эпохи направлено на ментальные, моральные и т.п. аспекты человеческой личности, а не на физическую сторону человеческого бытия, и «задачей» времени в этих ситуациях является стремление сломить непокорство (но не уничтожить полностью!). Эта семантика неполной деструкции очень хорошо просматривается, например, в исходном значении глагола *надломить* (ИЗ Сгибанием, надавливанием сделать трещину в чём-л. (но не отломить, не разломить). РЗ Ослабить, подорвать чем-л. (здоровье, силы и т.д.). Вызвать резкое ослабление душевных и физических сил; надорвать). Также здесь следует отметить и то, что в интерпретации этой метафоры моральная организация человека первоначально представляет собой нечто целостное, а воздействие времени нарушает такую целостность, приводит к появлению трещин и т.д., что, разумеется, не может оцениваться говорящим положительно.

Кроме того, какие-либо особо неблагоприятные отрезки времени могут сказываться негативно и на физическом состоянии человека, например: *Две ночи, проведённые без сна, в напряжённой работе... окончательно **надломили** его сильный организм* (Новиков-Прибой); *Изъеденный кусок известняка – вот что напоминает ему **источенное** годами страданий лицо* (Упит, перевод Абызова).

В данном случае представляется проблематичным определить, какое из значений глагола *источить* явилось исходным для вышеприведённой метафоры, и можно только очертить круг предполагаемых вариативных образов: 1) одушевлённого субъекта, наделённого способностью деструктивного воздействия (грызть, подтачивать и т.п.); 2) неких природных сил, которые своим постоянным многократным действием приводят к порче чего-либо.

Подобная интерпретация проявляется и в таком контексте: А чуть позже понял я, что самого себя и свою творческую судьбу защищал этот сильно **траченный** эпохой старый человек, так некогда блестяще начинавший, столько обещавший и не смогший (Губерман). Такое сочетание образовано, очевидно, по сущест-

вующей в русском языке модели от идиомы траченный молью (устар.) – испорченный, изъеденный молью (об одежде, материи). Это позволяет ещё более конкретизировать анализируемый метафорический образ времени – оно может быть уподоблено насекомому с ярко выраженными негативными качествами, которое приносит существенный вред человеку. В данном случае мы можем говорить о вариативности «поведения» времени в зависимости от оценки наполняющих время исторических событий: если совершались в какую-либо эпоху преступления, то время предстаёт как преступное, если нет – то оно может наделяться любыми положительными эпитетами вплоть до «золотого» и «благословенного». И если та или иная эпоха может быть жестокой, то она может быть и «хорошей» по отношению к человеку и обществу: – Палван совсем мягким человеком стал, а? – Это **наше** время его **размягчило**. При эмире ему уста и топором нельзя было разрубить. Верно, узнал, что комиссия из Бухары приехала, вот и поджал хвост (Айни, перевод Бородина). Здесь представляется уместным привести окказиональную метафору, в которой время уподоблено человеку, подверженному заболеваниям: Я устал слушать нытьё про «наше тяжёлое время». Во времена царя Николая, когда время было потяжелей нынешнего, ваши «честные люди» по струнке ходили да неустанно свою счастливую жизнь нахваливали. Если стало можно сетовать на тупость и произвол, значит, время **на поправку пошло** (Акунин). В подобных метафорах эпоха, которая по каким-либо причинам воспринимается обществом как неблагоприятная, уподобляется больному, а её улучшение воспринимается как выздоровление времени и оценивается положительно.

Таким образом, напрашивается вывод, что в РЯКМ время может метафорически интерпретироваться как субъект, который производит различные разрушительные, деструктивные действия по отношению к человеку, артефактам и натурфактам. Воздействие времени, как некой безграничной категории, абстрагированной от исторической эпохи, на физическую сторону человека (его здоровье, красоту и т.д.) осмысливается как однозначно отрицательное, а отсутствие такого воздействия – положительно. Но вместе с тем для РЯКМ не характерна интерпретация времени как непосредственной причины смерти человека. Также негативно

осмысливается и влияние времени на неодушевлённые объекты. Однако в этом случае оно не только ухудшает состояние таких объектов, но может и полностью разрушить, уничтожить их. Воздействие времени как какой-либо исторической эпохи понимается как не столь однозначное, но также по преимуществу негативное. Такое влияние времени распространяется прежде всего на абстрактные явления, и это воздействие может оцениваться и отрицательно, и положительно в зависимости от общепринятой коллективной оценки той или иной эпохи.

Кроме того, следует отметить, что произведённый ранее анализ метафорических сочетаний со значением движения времени показывает, что ход времени в целом воспринимается носителями РЯКМ достаточно нейтрально, а отсутствие движения времени оценивается как ситуация в высшей степени аномальная. Анализ же метафорических сочетаний, отражающих деструктивный характер воздействия времени, позволяет говорить о том, что в РЯКМ время, кроме всего прочего, воспринимается и как некое неумолимое, безразличное к человеку существо, высшая сила, которая наделена абсолютной властью для разрушения и уничтожения всего сущего. Сопротивление же таким действиям времени оценивается говорящим сугубо положительно.

В РЯКМ время может интерпретироваться и как некая сила, воздействующая не только на объекты физического мира, но и на сферу абстрактного. Например, оно способно разрушать и даже уничтожать разного рода социальные, эмоциональные, эстетические и т.д. явления, понятия, образы: *По всем признакам, время **расшатывало** королевскую власть. Да, время в самом деле **работало против** Короля* (Искандер); *Суров к подругам возраста мороз, / **выстуживают** нежность **ветры** дней* (Губерман); *А **дунуло** время своим **ветерком** и **унесло** любовь, как пушинку* (В.Д. Иванов); *И поэтические строки испытывают **разрушительную силу** медленного урагана времени: и порой строки, восхищавшие нас пять лет назад, вызывают ныне ироническую усмешку и чувство неловкости за себя тогдашнего* (Поляков). Сравнение исходного и переносного значений глаголов, с помощью которых выражается такая деятельность времени, позволяет описать данный фрагмент РЯКМ. Например, *расшатать* (ИЗ: Сделать шатким, неустойчивым, непрочным. *Расшатать стул.*

РЗ: Привести в состояние упадка, ослабить). В этой метафоре время уподобляется субъекту, совершающему многократное действие, результат которого выявляется только постепенно, и то, что казалось прочным, незыблемым под таким воздействием времени, оказывается неустойчивым, *расшатанным*. Подобное воздействие времени, как видно из приведённого фрагмента текста, характерно прежде всего для каких-либо социальных институтов. *Годы гасят чувства* (из песни). (*Гасить* ИЗ: Прекращать горение, свечение; тушить. РЗ: Не давать развиваться чему-л.; подавлять, заглушать). Данная интерпретация действия времени основывается на таком наблюдении, что человеку сложно сохранять сильные эмоциональные переживания на протяжении длительного времени. И такая модель может обозначать и ситуации, оцениваемые человеком не только негативно, но и положительно (например, *время лечит*). Сам же процесс метафоризации происходит здесь следующим образом: если чувства нередко уподобляются огню, пламени, то время, соответственно, интерпретируется как субъект, заглушающий такое горение.

Однако в ряде случаев время может быть интерпретировано и как субъект, вносящий положительно оцениваемые изменения в эмоциональную сферу жизни человека, несущий облегчение его страданиям: – *Это у вас пройдёт, дорогой коллега. Время **излечивает** всё, даже самые глубокие сердечные раны* (Упит, перевод Глезера); – *Когда-то я была помолвлена... только вот жениха моего убили на войне. – Время **притушило** боль этих слов* (Маршалл, перевод Архангельской). (*Притушить* (ИЗ: Загасить, потушить. РЗ: Сделать менее резким, громким, менее ярким; приглушить). Модель метафоризации здесь та же, что и в слове *гасить*. Однако если в первом случае моделировалось уничтожение временем положительно оцениваемых эмоций, то во втором – время интерпретируется как то, что способствует избавлению от страданий. *Время всё **сглаживает**... Я больше не могла ненавидеть* (Ларни, перевод Богачева). (*Сгладить* ИЗ: Сделать гладким, уничтожив неровности; выровнять. РЗ: Сделать менее ощутимым, менее резким и сильным что-л. неприятное, тягостное и т.п.; смягчить). В данном случае метафора интерпретирует время как фактор положительного воздействия на психику человека. Метафорический процесс здесь основан на противопоставлении **гладкая**

поверхность / неровная поверхность. Неровное воспринимается как символ отрицательного, а гладкое, ровное, – наоборот, положительного. Отрицательные эмоции уподобляются в данном сочетании чему-то неровному, шероховатому, а время, устраняя, сглаживая эти неровности, облегчает страдания, переживания человека. Эта же метафорическая модель реализована и в глаголах *притупить* и *смягчить*. *Время... постепенно притупляло мои старые страхи* (Толкиен, перевод Кистяковского); *В её словах чувствовалось острое, не смягчённое временем горе* (Чернов); (*Смягчить* ИЗ: Сделать более мягким, эластичным, лишить твёрдости, жёсткости. РЗ: Сделать менее сильным и резким; ослабить, умерить). В сфере эмоций всё острое, резкое воспринимается негативно (в отличие, например, от сферы ментального), доставляет человеку мучения, поэтому время, своими действиями снимающее эту остроту, выравнивающее, сглаживающее, оценивается положительно.

Образование метафорического сочетания с глаголом *смягчить* опирается на восприятие твёрдого, жёсткого как чего-то отрицательного, а мягкого – как положительного. И если что-то уподобленное твёрдому причиняет человеку страдания, то смягчение этого несёт облегчение.

Метафора *время лечит* образована путём уподобления эмоциональной сферы человека сфере физической. И если физические страдания излечиваются с помощью лекарств, процедур и т.д., назначаемых врачом, то и душевная боль, следовательно, также может поддаваться излечению, которое и осуществляется временем.

Кроме того, время может вносить и положительные изменения в ментальную сферу человека: *Это борьба, в которой я стремлюсь победить, некая игра, в которой я хочу выиграть, пусть ценою собственной жизни. Нынешний день ещё больше укрепил меня в этом намерении* (Сенкевич, перевод Лысенко); *Особой беды нет, что ваши рассуждения довольно зыбки, а ваши убеждения пахнут типографской краской. Годы укрепляют и формируют. Был бы живой и подлинный интерес, а остальное со временем приложится* (Упит, перевод Абызова). Метафора время укрепило образно интерпретирует идеи, убеждения и т.п. как изначально представляющие собой непрочную, несформированную

массу, а время в такой интерпретации выступает как субъект, который придает им форму и делает устоявшимися, прочными.

Для РЯКМ использование метафорической модели воздействия времени на сферу абстрактного наиболее актуально при описании каких-либо эмоциональных переживаний человека. Время в такой ситуации предстаёт как субъект, устраняющий или значительно ослабляющий эти переживания. Соответственно, и оценка воздействия времени зависит от оценки объекта такого воздействия: если эмоции, подверженные деструктивному влиянию времени, воспринимаются отрицательно, то такое влияние оценивается положительно, и наоборот. Такая закономерность может считаться главным отличием между действиями времени по отношению к физической среде и по отношению к абстрактной сфере. Ибо если воздействие времени как на физическую оболочку человека, так и на натурфакты и артефакты происходит только в сторону ухудшения их состояния и приводит исключительно к негативным результатам, то влияние времени на абстрактные явления может быть и положительным и отрицательным.

Время метафорически может быть представлено и в роли субъекта, диктующего человеку правила его поведения, регламентирующего те или иные аспекты в жизни человека и общества и т.д. Многие поступки человека в РЯКМ могут быть представлены как санкционированные, разрешенные временем, и даже причины своих решений человек может объяснять позволением или, наоборот, запретом их временем, например: – *А [вступить в] кумхоз, что поделаешь, время заставило* (Искандер). В такой интерпретации время предстаёт как субъект, наделённый властью, и его решения являются определяющими для человека. Это время конкретной исторической эпохи, предполагающей свои нормы поведения (в широком смысле) и предъявляющей определённые требования к человеку, который в идеале должен им соответствовать. В противном случае человек по каким-либо своим качествам оценивается негативно. Впрочем, ещё более отрицательную характеристику вызывает стремление кого-либо *подладиться* к таким требованиям: *Подлаживается под требования времени* (Айни, перевод Бородина); *Он прожжённый политик и ловко применяется к требованиям времени* (Карпентьер, перевод Лесюка). Однако время может не только запрещать или требовать что-то от

человека, но и способствовать развитию чего-либо: *Неблагодарная эпоха покровительствует исключительно утилитарным познаниям, которые возможно обменять на деньги* (Валери, перевод Кожевниковой). Кроме того, каждая историческая эпоха предполагает какие-то свои критерии во всех сферах жизнедеятельности человека. Например: *А разве не бывало так, что [Жюль Верн] сам превращался в своего героя, рассказывая читателям... необыкновенное о невиданном, насыщая их новыми знаниями, которые всегда были на уровне времени?* (Казанцев).

При несоответствии требованиям времени человек или его творение оказывается не востребуемым, не оценённым, и ему остаётся только надеяться на будущие времена, когда такие требования могут поменяться в лучшую для него сторону, например: *Моим стихам придёт черёд, / когда зима узду ослабит* (Губерман). В этой окказиональной метафоре зима, как самое суровое время года, символизирует историческую эпоху, неблагоприятную для автора стихов. А эта эпоха, в свою очередь, метафорически уподобляется наезднику, сдерживающему силой все попытки неповиновения, несогласия с его волей.

Неумение человека уловить веяния времени также может служить основанием для его оценки: *Её не коснулось дыхание современности. Она не поняла и не оценила достоинств новой жизни* (Зощенко). Таким образом, можно предположить, что время в РЯКМ наделено в том числе способностью дышать, и человек **должен** уметь услышать, почувствовать это дыхание, чтобы в дальнейшем ориентировать свои действия в верном направлении. Однако, как следует из приведённого метафорического сочетания, роль человека здесь может представляться пассивной. Вместе с тем очевидно, что от него требуется какая-то определённая готовность к тому, чтобы *дыхание современности* его всё-таки *коснулось*. Веления эпохи не всегда выражаются в столь категоричной форме. Нередко они могут доходить до человека как рекомендации, подразумевающие вариативный характер их исполнения, например, это касается способности понимать, видеть *нужды* времени. Время не требует этого от человека в императивном порядке, однако такая способность оценивается сугубо положительно. Человек здесь предстаёт в качестве союзника времени, а содействие времени практически всегда в РЯКМ воспринимается как неч-

то позитивное: *Свои открытия он подчинял **нуждам** времени. Так, например, он обратил внимание на необходимость изучения вечной мерзлоты, что имело огромное значение в годы постройки железной дороги в Сибири (Марков); А таких людей, как Венсан, постигших философский смысл вещей и хорошо понимавших **нужды** времени, теперь немало (Карпентьер, перевод Лесюка).*

Также время в РЯКМ метафорически наделяется способностью побуждать человека к действию, причём образы формируются на основе лексических единиц с самым разным исходным значением. Согласно таким метафорам время ***может не ждать, не терпеть, подпирать, поджигать*** и т.д.: – *Не знаю, что с ним [стало] потом, – время **не ждало**, надо было ехать (Сергеев-Ценский); *Идёмте в дом, время **не терпит*** (Акунин). В приведённых текстовых фрагментах время уподобляется субъекту, который имеет предварительную договорённость с человеком о встрече, и для человека представляется максимально важным уложиться в отпущенные ему сроки ожидания его временем. *А время **подпирает!** Да! Пора уже мануфактуру начинать отмаывать* (Юрьенен). В этом контексте время представляется как субъект, совершающий давление, нажим на человека, что должно вызвать определённый дискомфорт, с целью побуждения его к каким-то действиям или более быстрому исполнению этих действий. ***Подгоняемый** неумолимым течением времени, он понаставил по Москве немало отвратительнейших [скульптур]* (Акунин). Чаще всего побуждение, осуществляемое временем, оценивается негативно, так как человек, оказавшись в данной ситуации, вынужден действовать в спешке и, следовательно, зачастую не всегда качественно: *Это скорее походило на заключительную часть лекции, которую профессор комкает, ибо время **поджигает*** (Ап-дайк, перевод Патрикеева).*

В РЯКМ время метафорически может быть представлено и в роли пассивного объекта воздействия, с которым человек способен производить разного рода манипуляции. Следует отметить, что такая интерпретация категории времени менее характерна для РЯКМ, нежели понимание времени как активного субъекта действия.

Метафорически в качестве объекта воздействия время прежде всего уподобляется чему-либо ценному для человека. Поскольку

универсальной единицей при оценке материального достатка являются деньги, то в такой интерпретации время характеризуется при помощи метафор, в своём исходном значении относящихся к сфере распоряжения материальными ценностями.

Дж. Лакофф и М. Джонсон обосновывают такое уподобление времени (на материале английского языка) следующим образом: «В нашей культурной среде время особенно ценится. Его ресурсы для нас ограничены. Поскольку в современной западной культуре понятие труда обычно связывается со временем, затрачиваемым на его выполнение, а время подлежит точному количественному измерению, труд людей обычно оплачивается согласно затраченному времени – по часам, неделям или годам. В нашей культуре метафора ВРЕМЯ – ДЕНЬГИ проявляется весьма многообразно... В истории человечества эти общественные установления относительно новы и существуют далеко не во всех культурах. Возникшие в современных индустриальных обществах, они глубоко понижают нашу повседневную деятельность»¹.

В такой интерпретации время может быть уподоблено:

– деньгам, материальным ценностям: *Пустая трата времени* (Голсуорси, перевод Лорие); *Хандра крадёт у нас радость, энергию и время* (Максимова); *Мы даём прогноз сжатия льдов... Это экономит массу времени, что для Арктики очень важно* (Голованов);

– ограниченным запасам жидкости, которые либо расходуются человеком, либо уменьшаются сами по себе: *Истекал двухсотый год новой эры* (Куприн); *Времени у нас нет... мы его исчерпали* (Хейли, перевод Обухова);

– тающим веществам: *Три недели остались и таяли с каждым часом* (Ратушинская); *Но стройке подходит срок, время тает, как воск* (Ажаев). При такой интерпретации «растаявшее» время понимается как полностью исчезнувшее, в отличие от исходного образа, когда вещество переходит в иную форму существования, а не исчезает бесследно;

¹ Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живём // Теория метафоры / Общ. ред. Н.Д. Арутюновой, М.А. Журиной. М., 1990. С. 389.

– пище, чему-то съедобному: *Он [телевизор] жрёт много времени, отнимает силы, нервы, а пользы почти что ноль* (Песков). Эта метафора, несомненно, имеет окказиональный характер, однако образована она в рамках языковой модели: время уподобляется ограниченному количеству чего-либо ценного для человека, и это что-либо неизбежно сокращается и в конечном итоге исчезает полностью;

– полотну, ткани: *Да и захочет вспомнить – времени выкроить не сможет: у него миллион дел* (Амаду, перевод Богдановского). Данная количественная метафорическая модель времени (КММВ) отличается от прочих тем, что согласно такой трактовке времени человек сам распоряжается запасами своего времени и по своему усмотрению может отрезать (или не отрезать) «лоскуты» времени.

Общим признаком для всех КММВ является то, что наличие большого "количества" времени воспринимается положительно, а малого – отрицательно. Также чаще всего негативно оценивается и *убывание* времени, его *растрата*, например: *Время растратить жалко, его не вернёшь* (В.Д. Иванов). Образ же *прибывания* времени может быть использован только при сопоставлении каких-либо однородных отрезков времени, например: *Сегодня самый короткий день... Солнцеворот. Дни будут прибывать* (Вишневский). При описании других ситуаций такое выражение употреблено быть не может. Здесь несомненна переключка с динамическими моделями времени, где одним из обязательных свойств движения времени является его однонаправленность. Также и в КММВ движение, как важнейший атрибут категории времени, «диктует» свои законы: «количество» времени, его «запас», отведённые на выполнение любого действия, всегда ограничены. А так как время движется, течёт, то и его количество не может ни оставаться постоянным, ни увеличиваться.

Если КММВ являются продуктивным и относительно распространённым классом метафор в РЯКМ, то остальные метафорические модели, в которых время интерпретируется как пассивный объект воздействия, представляют собой периферийное явление, так как, во-первых, число этих метафор ограничено, а во-вторых, они не продуктивны.

В первую группу метафор входят сочетания ловить момент, захватить какое-то время, прихватить сколько-то времени: *Час упоенья Лови, лови! Младые лета Отдай любви* (Пушкин); *Возил он [рожь] весь день с Марфой и прихватил ночь* (Л. Толстой); *А наша дама проживала как раз до этого факта. Так что она, естественно, расстраивалась, что не захватила эту будущую эпоху с более крупным камнем* (Зоценко). В данном случае также при сходстве ситуаций, описываемых исходными значениями этих слов, обозначаются различные результирующие ситуации. Если исходные значения этих метафор включают семантический компонент «схватить что-либо», то переносные значения служат для выражения отличных друг от друга смыслов: «стараться не упустить что-л., воспользоваться чем-л. быстро исчезающим, проходящим» (ловить); «застать, застичь» (захватить); «взять, захватить, использовать и т.п. в дополнение к чему-л., прибавить к чему-л.» (прихватить). В метафорической интерпретации отрезки времени, с которыми производятся манипуляции, не являются чьей-то собственностью, в отличие от метафор первой группы, и такие процедуры, совершаемые со временем, не наносят ущерба какому-то третьему лицу. Наоборот, ситуации, когда человек получает возможность завладеть каким-то отрезком времени, оцениваются положительно или нейтрально, что видно из приведённых контекстов.

Вторую группу метафор составляют слова со значением пространственной манипуляции со временем как с объектом: *приближать, отдалять, отодвигать, оттягивать, перенести*. К этому же разряду на основании сходства результирующих значений представляется возможным отнести и слова со значением изменения интенсивности движения времени: *замедлять и ускорять*. Посредством этих метафор в языке находит отражение прежде всего так называемый психологический аспект восприятия времени, когда положительно оцениваемые события и отрезки времени ожидаются с нетерпением, а негативные, наоборот, интерпретируются как такие, приближение которых можно замедлить: *Этот день мы приближали, как могли* (из песни); *И он придёт – победы нашей час! Приблизь, добудь его в сражение* (Светлов); *Отец хотел оттянуть подале время отъезда* (Аксаков). Кроме того, изменения в планах на будущее также метафорически уподобляются перемещению в физическом пространстве: – *Час наступления отодвинул*

*почему-то до половины шестого утра (Сергеев-Ценский); **Время** начала занятий **было перенесено** на другую неделю (Чернов).*

Немногочисленность метафор со значением объектного манипулирования временем показывает, что во взаимоотношениях времени и человека в РЯКМ наблюдается несомненная асимметрия: если сценарии, в которых время выступает как активный субъект по отношению к человеку, обозначаются целым рядом продуктивных метафорических моделей, то обратная ситуация выражается (за исключением количественных метафорических моделей времени) всего несколькими метафорическими сочетаниями преимущественно непродуктивного типа.

Исходя из всего вышесказанного, представляется возможным сделать вывод о том, что метафоры времени используются для выражения самых разнообразных оценочных смыслов. При характеристике каких-либо отрезков времени или этапов развития человека и общества задействуются метафорические сочетания, объединяемые в динамическую ЯММДВ (*лекция тянется / отпуск пролетел*), которые для усиления оценочности могут факультативно дополняться определениями (*хмурый, весёлый, чёрный, золотой* и т.д.). Посредством синхронных ЯММДВ в первую очередь обозначается оценка позиции человека по отношению к какому-либо периоду истории и общества (*отстать от (своего) времени / опередить (своё) время*). В прочих ЯММВ семантика оценочности (даже если она прослеживается достаточно чётко) является второстепенной. Так, например, при обозначении деструктивных изменений внешнего облика человека и физического мира роль времени воспринимается негативно, при отражении изменений во внутреннем мире человека и в социальных отношениях возможна как негативная, так и положительная оценка говорящим действий времени. КММВ, в которых время уподоблено самым разнообразным объектам, представляющим ценность для человека, предназначены для обозначения количества времени, и оценочные смыслы в этом случае дополнительные.

1.2.3. Метафорические модели звучания

Если подойти к звучанию с объективной точки зрения, то это в первую очередь динамический (протекающий во времени) при-

знак какого-либо объекта или явления. Но факты языка показывают, что данный признак давно осмысляется как самостоятельная сущность. Человеческое сознание абстрагировало, «оторвало» его от предмета, явления. А.И. Уемов пишет, что человек выделяет в мире три типа объектов: вещи, свойства и отношения. «Все эти категории определяют друг друга, причем центральной, основной среди них является категория вещи»¹. Выделение этих типов отражается в языке при оформлении понятий в слова трех знаменательных частей речи: существительного, прилагательного и глагола. «В суждении субъект обозначает вещь, которой приписывается тот или иной признак – предикат. Свойство обозначается этим предикатом. Что же касается отношения, то его также можно выражать через предикат, но через предикат особого рода, приписываемый сразу двум или нескольким вещам и ни одной из них в отдельности»². По А.И. Уемову, сознание человека чрезвычайно гибко и способно к высокому уровню абстрактного мышления, это и ведет к тому, что свойство или отношение могут осмысляться как вещь, вещь – как свойство, свойство – как отношение, отношение – как свойство.

В первом случае вещь представлена не как целостная субстанция, а как система свойств или отношений. Во втором – свойство мыслится как вещь, если рассматривается как совокупность других свойств, и т.п. Этот мыслительный ход, когнитивную модель, отраженную в языке, выделяют и многие представители когнитивной лингвистики: М. Джонсон (кинестетическая образ-схема объекта)³, Дж. Лакофф, М. Джонсон (онтологическая концептуальная метафора)⁴ и др. "Становясь темой сообщения, любой знак приобретает субстанциональные характеристики, и наоборот, знак, имеющий эти характеристики, легко может стать темой сообщаемого. Раскрывая тему, напротив, любые знаки приобретают

¹ Уемов А.И. Вещи, свойства и отношения. М.: Изд-во АН СССР, 1963. С. 52.

² Там же. С. 53.

³ Скребцова Т.Г. Американская школа когнитивной лингвистики / Послесл. Н.Л. Сухачева. СПб., 2000. С. 103.

⁴ Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. М.: Едиториал УРСС, 2004. С. 53.

призначные значения – иначе они не могут передать новой информации”¹.

Возвращаясь к звучанию, отметим, что его восприятие позволяет человеку проследить динамику изменений мира, а с этим напрямую связан уровень биологической и социальной адаптации. Принципиально важное значение имеет восприятие звучания для развития психической и когнитивной сферы человека: базовая коммуникативная система – естественный язык, благодаря которому просыпается сознание человека², – реализуется в форме звучащей речи.

В силу своей значимости лексика, репрезентирующая звучание, неоднократно выступала объектом изучения в отечественной лингвистике. Отметим, что большинство работ посвящено анализу лексико-семантических групп глаголов звучания – ядерной части лексико-семантического поля «Звучание», потому что, во-первых, это полнозначные (в отличие от звукоподражаний, стоящих ближе к междометным словам) единицы, обладающие вполне определенным понятийным значением. Во-вторых, глагольная семантика наиболее полно отражает специфику звучания: «Слуховое восприятие отвечает только динамическому аспекту мира. Оно дает языку, прежде всего, процессуальные глаголы»³.

Исследование лексем, представляющих звучание в языке, проводилось в следующих аспектах: словообразовательном (А.Н. Тихонов, С.А. Тихонов, Р.Г. Карунц, Е.Н. Лагутова), лексико-грамматическом (М.А. Шелякин, А.Н. Тихонов), фоносемантическом (С.В. Воронин, И.Г. Рузин), лексико-семантическом (Н.А. Сколотова, Е.Л. Голубева, Г.В. Степанова, Л.М. Васильев, Т.Д. Сергеева). Однако исследование сферы звучания было сосредоточено только на единицах, представляющих ядро лексико-семантического поля «Звучание».

¹ Кубрякова Е.С. Части речи в ономаσιологическом освещении. М.: Наука, 1978. С. 37.

² В.И. Тюпа отмечает: «Жизнь сознания – это коммуникация» (Тюпа В.И. Модусы сознания и школа коммуникативной дидактики // Дискурс. 1996. № 1. С. 17).

³ Аспекты семантических исследований /АН СССР, Институт языкознания; Отв. ред. Н.Д. Арутюнова, А.А. Уфимцева. М.: Наука, 1980. С. 216.

Но, как уже говорилось выше, звучание – процесс, характеризующий предмет, – может быть осмыслен как субстанция, обладающая определенными признаками. Например: *С волками жить – по-волчьи выть*. – Я бы вплетал свой голос в общий звериный вой (Бродский). – Наши нордические предки не пили вина, – не отрывая взгляда от дороги, **ровным голосом** проговорил Петр, – а опьяняли себя грибом мухомором (Пелевин). Отчего и **звоны**, вечер у церкви, **словно стаи сизых, ранних голубей** (Городецкий).

Субстантивация такого динамического признака, как звучание, проявляется не только в том, что язык оформляет процесс звучания в категориях имени существительного, но и в том, что включает его еще в одну сферу метафоризации. Звук осмысливается как явление (слуховое), которое может быть охарактеризовано метафорически через лексику других сфер восприятия. Например, **толстый голос, ровный голос, яркий бас, тонкий звук, вибрирующий голос, стеклянный смех** и др.

Подобная метафора основана на особом свойстве человеческой психики – *синестезии*. Известный психолингвист И.Н. Горелов отмечает сложность человеческого восприятия и приводит классификацию экстероцептивных (от внешних раздражителей) ощущений, подразделяя их на две группы: 1) контактные: вкусовые, тактильные, давления, температуры, боли; 2) дистантные: зрительные, слуховые, обонятельные¹.

При этом названный автор, а также другие исследователи, работающие в области психологии и психолингвистики, отмечают, что различные ощущения не изолированы друг от друга, а, напротив, тесно взаимосвязаны. Именно это явление и было названо *синестезия* – "неразделенное восприятие"².

Как отмечает С.В. Воронин, среди ученых существуют разногласия в определении данного явления, но в самом общем виде его можно представить следующим образом: "...совместная работа ощущений, при которой качества ощущений одного вида пере-

¹ Горелов И.Н. Синестезия и мотивированные знаки подязыков искусствоведения // Проблемы мотивированности языкового знака. Калининград, 1976. С. 75.

² Павлюк Н.А. Сопоставление фонетического и лексического значения // Проблемы мотивированности языкового знака. Калининград, 1976. С. 65.

носятся на другой вид ощущений"¹. Наиболее простой пример синестезии – это одновременные вкусовые и болевые ощущения при едком вкусе пищи. Это очень распространенное явление, оно регулярно фиксируется языком, например словосочетанием *острая пища*. Возможны и более сложные варианты синестезии, например: *обжигающий холод, теплый взгляд, пронзительный крик* и многое другое. Самым, пожалуй, ярким вариантом синестезии, является феномен «цветного» слуха.

«Композитор Оливье Мессье, говоря о союзе цвета и звука в своей музыке, объяснял интервьюеру: “Когда я слышу музыку, я вижу внутри себя, в уме, цвета. Они движутся вместе с музыкой. Это не воображение и не психический феномен. Это внутренняя реальность.” Кэрл Стин, нью-йоркский художник, как и большинство синестетов, испытывал синестетические переживания с раннего детства и использовал в своих работах особенности своего восприятия. Он говорил о различных видах головной боли, различая их по цветам: “Если это боль от свища, она зеленая”»².

Исследователи, работающие в области гештальт-психологии, Эбрахам и Эдит Лачинс, отмечают, что «во второй половине двадцатого века синестезия оказалась в центре внимания художников и психологов. Но до сравнительно недавнего времени наука, в общем-то, игнорировала ее. Те, кто переживают синестезию, редко обращаются с жалобами. А частная природа этого свойства восприятия затрудняет исследования – не существует объективного способа определить, что необычного происходит в восприятии. Но в последние десятилетия появление сканирующих техник и других новых технологий изучения живого мозга вновь пробудило интерес к синестезии. Теперь в различных странах ее изучают небольшие группы исследователей. Для этого все больше применяются PET-сканеры, электрофизиологические записи, анализ ДНК и другие техники. <...> Исследователи надеются, что понимание синестезии как аномалии восприятия может со временем прояснить и нормальное восприятие или даже пролить свет на

¹ Воронин С.В. Основы фоносемантики. Л.: Изд-во ЛГУ, 1982. С. 126.

² Лачинс Э., Лачинс. Эд. Изоморфизм в гештальт-теории: сравнение концепций Вертгеймера и Келера. Режим доступа: <http://www.metaphor.nyu.edu>, свободный. Загл. с экрана.

само сознание. А пока большинство ученых знает о смешении чувств даже меньше, чем это уже известно. До сих пор малоизвестны самые основные свойства синестезии, например ее широкая распространенность»¹.

К рассуждениям исследователей о существовании неразделенного восприятия А. Бэн добавляет, что «впечатления, полученные от различных органов чувств, обнаруживают определенную одинаковость в эмоциях»², наблюдение подобных соотношений позволило С.В. Воронину выделить такое явление, как синестемия: «соощущения + соэмоции». Исследователь П.П. Соколов также отмечает: восприятие низких звуков сопровождается тем же эмоциональным коэффициентом, что и ощущение чего-либо большого, широкого, толстого, и этот эмоциональный коэффициент становится основой для ассоциативной связи между ними³.

Таким образом, можно убедиться, что в сфере человеческого восприятия нет дискретности, внутренний мир человека синтетичен, синестетичен. Вот что говорил об этом основоположник гештальт-теории Макс Вертгеймер: «Когда мы сталкиваемся с набором стимулов, мы, как правило, не переживаем их как несколько независимых вещей: одна, другая, третья... Они складываются в целостности большего масштаба и вступают в нашем переживании во взаимодействие, их комбинация и разделение устойчиво и вполне определено»⁴. Это, как мы полагаем, еще одно подтверждение того, что способность к метафоризации как процессу целостного восприятия окружающего мира является имманентной сущностью человека.

Синестезические метафоры в сфере звучания чрезвычайно разнообразны, но нас прежде всего будет интересовать лексика экстероцептивных ощущений – сферы, которая, во-первых, первична по отношению к интероцептивным; во-вторых, дает представление об образах внешнего мира; в-третьих, более разнообразна,

¹ Лачинс Э., Лачинс. Эд. Указ. соч.

² Цит. по: Воронин С.В. Основы фоносемантики. Л.: Изд-во ЛГУ, 1982. С. 127.

³ Там же. С. 128.

⁴ Вертгеймер М. Законы организации в перцептуальных формах. Режим доступа: <http://www.metaphor.nsu.ru>, свободный. Загл. с экрана.

нежели сфера интероцептивных ощущений, т.к. здесь более четко дифференцированы объекты. Обращаясь к интероцептивным ощущениям, мы наблюдаем восприятие действительности, в то время как в сфере интероцептивных ощущений мы имеем дело со слабо расчлененным состоянием самого субъекта.

Звук при характеристике его посредством лексики сферы экстероцептивных ощущений оказывается эквивалентным различным объектам действительности. Для оценки звучания привлекаются такие вспомогательные объекты и их свойства, которые способны раскрыть определенные параметры звучания и передать отношение к нему. Таким образом, на основании анализа синестезической метафоры звучания можно реконструировать образы различных типов звучания.

Звучание может быть представлено как *визуальная сущность, тактильная, обладающая объемом, формой, определенной поверхностью, весом, плотностью*. Работа в данном направлении осуществляется посредством анализа метафорических сочетаний качественного прилагательного, обозначающего эмпирический признак какого-либо объекта, не относящегося к сфере слухового восприятия и имени звука (или звукового действия), например: ***толстый (тонкий, высокий, округлый) голос***.

При классификации материала мы основывались на типологии качественных прилагательных, приведенной в работе А.Н. Шрамма¹. Эта типология проводилась на основании «различий в характеристике признака, обозначаемого качественным прилагательным»². А.Н. Шрамм выделяет по данному основанию *эмпирические* прилагательные, называющие непосредственно воспринимаемые признаки, «качественные характеристики предметов, которые непосредственно оправдываются и подтверждаются чувственным опытом людей, отражаясь в нем до и независимо от какой бы то ни было теоретической рефлексии и прежде всего до специального качественного анализа»³.

¹ Шрамм А.Н. Очерки по семантике качественных прилагательных (на материале современного русского языка). Л.: Изд-во ЛГУ, 1979. С. 24–33.

² Там же. С. 15.

³ Там же. С. 18.

Обращение к эмпиричной качественной характеристике объекта соотносимо с положением о *дологическом* основании метафоры, о ее базовой роли в моделировании реальности, потому что именно уровень первичного ощущения *дологичен*, это телесный, предразумный опыт. И в метафоре такого рода мы наблюдаем не только интуитивное сопоставление образов ситуаций, фреймов, а более глубинный уровень общности ощущений от различных стимулов. Именно в синестезической метафоре ярче всего обнаруживается гештальтная природа этого феномена, когда основой сопоставления служат не столько внешние, поверхностные черты, которые можно наблюдать и анализировать (поведение, действие и т.п.), сколько тактильные, визуальные, болевые, температурные и т.п. ощущения, которые для самого их субъекта не всегда прозрачны и ясно осознанны.

Более того, именно такая метафора позволяет говорить о бессознательном, предразумном уровне оценочной деятельности человека: ощущение и связанные с ним эмоции порождают самую первую оценочную реакцию, которая, как можно убедиться, уже связана с целостными образами других объектов, не являющихся результатом рационального осмысления, а основывающихся на телесном, перцептивном опыте.

И в этой связи особенно актуальным представляется исследование языкового отражения первичной системы телесных ощущений – различных видов чувственного восприятия как репрезентирующих наиболее глубинные пласты сознания. «Важно, что знания о мире, полученные зрительным (и вообще перцептивным) путем, принципиально отличаются от знаний, полученных дискурсивно... Вопрос этот почти не изучен. Ясно только, что благодаря им человек обладает ориентацией, координацией, свободно двигается, действует, соизмеряет свои усилия с обстановкой и т.д. В лингвистическом отношении соответствующая проблема может быть, видимо, сформулирована как выявление способов фиксации и выражения в языке недискурсивных знаний, основанных на перцептивном опыте»¹.

¹ *Рябцева Н.К.* Ментальная лексика, когнитивная лингвистика и антропоцентричность языка. Режим доступа: <http://www.dialog-21.ru/Archive/2000/Dialogue%202000-1/268.htm>, свободный. Загл. с экрана.

В настоящем разделе мы рассмотрим оценочные образы типов звучания человека, которые, как мы полагаем, репрезентируют ядерную, прототипическую часть русского саундшафта и являются особо значимыми для носителей русского языка: это звучание человеческого голоса – *голос*, в т.ч. *певческий голос, бас, тенор*. В качестве материала для анализа в этой работе использовались данные, представленные в словаре эпитетов¹.

Как показал анализ, преобладающие метафорические именованья звучания человеческого голоса относятся к сфере визуального восприятия. Следующим по значимости оказывается слуховое восприятие, что подчеркивается и другими исследователями: «Слуховое восприятие по значимости уступает только визуальному»².

Затем следуют «тактильные» метафоры, метафоры, связанные с созданием образов на основе интерпретации вкусовых, болевых ощущений, ощущения давления. Единичные метафоры создают образ звучания на основе синестезического уподобления температурного и обонятельного восприятия.

Итак, рассмотрим подробнее синестезические образы звучания.

1. Визуальные образы звучания человеческого голоса

1.1. Образы, связанные с восприятием поверхности предмета, состояния среды, обусловленные воздействием света

Наличие метафор такого рода свидетельствует о том, что звучание голоса может восприниматься и оцениваться как материальный объект, обладающий поверхностью. Звуки человеческого голоса могут метафорически отождествляться с объектами разных типов, во-первых, с объектами, *способными излучать свет*. Голос человека может быть осмыслен как предмет, способный продуцировать, излучать свет, об этом свидетельствует языковая метафора *яркий голос* – звонкий, звучный, хорошо слышимый, выразительный. Восприятие звучания голоса синестезически связано с восприятием света: яркий – излучающий свет или хорошо освещенный, т.е. хорошо воспринимаемый, привлекающий внимание. Посредством использования имени этого качества выражается положительная оценка как звучания голоса, так и его обладателя, при-

¹ Горбачевич К.С., Хабло Е.П. Словарь эпитетов русского литературного языка. Л.: Наука, 1979. 567 с.

² Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. С. 85.

чем оцениваются личные качества – яркий, привлекательный человек.

Другая метафора – *светлый голос* – связана с обозначением голоса ясного, чистого тембра. Эта метафора позволяет говорить о том, что звучание включено в нормативную шкалу архетипа "свет-тьма". Степень освещенности и яркость оказываются тесно связанными. Таким образом создается противопоставленность комплексов признаков: *тусклый, бесцветный, темный – яркий, цветной, светлый*. Компоненты этих комплексов вызывают приблизительно одинаковую эмоциональную реакцию и оценку. При этом комплекс "свет" связан с определенной гаммой эмоций. Голос подобного типа вызывает те же эмоции, на этой основе и происходит оценка звучания голоса.

Звуки человеческого голоса могут также метафорически отождествляться с объектами, *способными отражать свет*. Голос может восприниматься как предмет, имеющий поверхность, способную плохо отражать свет: в словаре встречаются метафорические сочетания *тусклый голос* и *матовый голос*, но нет сочетания *блестящий голос*.

Языковая метафора *тусклый голос* обозначает голос неярко, невыразительный, не выражающий и не вызывающей яркой эмоциональной реакции. Восприятие голоса в данном случае связано с представлением об отсутствии света, со слабым его отражением. Причем следует учесть, что слово *тусклый* обозначает утраченное свойство – изначально предмет мог хорошо отражать свет, был блестящим. Отсюда связанная с данным визуальным образом негативная оценка, которая характеризует обладателя голоса либо с точки зрения его состояния (голос выражает неблагоприятное эмоциональное состояние), либо с точки зрения его личных качеств: обладатель голоса – малоинтересный, скучный человек.

Иной образ дает метафорический эпитет *матовый голос* – ровный, плавный, звучащий не резко, спокойно. Как можно убедиться, прилагательное обозначает то же качество – слабое отражение света поверхностью, но оценочность, связанная с ним, имеет иной знак. Вероятно, это связано с тем, что *матовый* – это изначально данное, предполагаемое свойство. Кроме того, актуальным в данном случае является и обратная сторона: резкость, слишком яркий свет, блеск способны вызвать негативную реак-

цию в связи с тем, что возникает эффект ослепления. *Матовый* – не сверкающий, не слепящий, позволяющий спокойно смотреть. В данном случае актуализируется оценка и по отношению к звучанию (не резкое, не мешающее восприятию), и по отношению к субъекту – обладателю голоса.

Метафорические образы звучания человеческого голоса могут создаваться на основе отождествления с предметами, *способными пропускать свет*, звучание голоса в этом случае связывается с образом прозрачного предмета. Языковая метафора **прозрачный голос** обозначает голос высокого тона, не «плотный» тип звучания, не громкий и не выразительный, эмоционально отстраненный. Эта метафора в первую очередь характеризует человека – носителя такого голоса, который в чем-то противоположен предыдущему типу. Он привлекает к себе внимание не экспрессивностью и эффектностью, а, напротив, отстраненностью. В данном случае мы не можем говорить однозначно о качестве оценки, эта метафора, скорее всего, несет в себе амбивалентную оценку.

Создаются метафорические образы и на основе уподобления предметам, *имеющим окрашенную/неокрашенную поверхность*: при этом голос, как правило, редко характеризуется посредством цветовых признаков (по крайней мере, узуально). Об этом свидетельствует отсутствие собственно цветовых эпитетов. Носителями языка фиксируется только такое свойство звучания голоса, как **бесцветный голос** – неяркий, незвучный, невыразительный: *Эти слова мне диктовала не / любовь и не Муза, но потерявший скорост / звука пытливый, бесцветный голос...*(Бродский). В то время как метафора **тусклый голос** может характеризовать эмоциональное состояние говорящего, метафорическое определение **бесцветный** скорее квалифицирует его с точки зрения личных качеств – бесцветный голос принадлежит бесцветному, «невыразительному, ничем не замечательному»¹ человеку.

Несмотря на то, что собственно цветовых характеристик такому объекту, как голос, носителями языка не приписывается, существует метафора, обозначающая утрату цветовой насыщенности: **блеклый баритон**.

¹ Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под. ред. Н.Ю. Шведовой. М.: Русский язык, 1987. С. 41.

Подобная метафора описывает такие качества человека, как утрата выразительности, личностной привлекательности из-за возрастных изменений или вследствие нарушения физического или психоэмоционального баланса. Утрата яркости, цветовой насыщенности объекта может произойти из-за его долгого или слишком интенсивного использования, этот признак и привлекается для метафорической оценки состояния обладателя голоса.

Следующий эпитет формально может быть отнесен к цветовым характеристикам, но, по нашему мнению, внутренняя форма этого слова вызывает ассоциацию, прежде всего, с названием металла: **серебристый голос**. Как нам представляется, речь идет скорее об отражательных способностях поверхности серебряного предмета – ведь серебро не обладает конкретным цветом из цветового спектра. Обычно очень трудно дать определение такому цвету. Поэтому **серебристый голос** можно определить как **блестящий, яркий**. Кроме того, внутренняя форма прилагательного отсылает к образу металла и его звучанию, т.е. в данном случае сравнение происходит не с собственно визуальным образом, а с образом синкретичным, гештальтным, включающим также и звуковые характеристики. С помощью такой метафоры оценивается как звучание голоса, так и его обладатель.

1.2. Образы, связанные с фактурно-зрительным восприятием поверхности предмета

В этот разряд мы можем отнести метафорические сочетания, основанные на восприятии голоса как объекта, обладающего поверхностью, но при этом речь идет о фактурно-зрительных параметрах, таких, как, например, *наличие /отсутствие на поверхности объекта чего-либо*. Данный признак реализуется в языковой метафоре **чистый голос**. Звук в этом случае включается в нормативную шкалу "чистый – грязный", где уже существует норма восприятия. С отсутствием визуального объекта – грязи – метафорически отождествляется отсутствие шумовых призвуков: хрипов. Таким образом оцениваются акустические параметры звучания. Нельзя не отметить, что метафоры, реализующей второй полюс шкалы, нет, хотя есть метафора **грязный звук**, которая используется в профессиональном жаргоне музыкантов для характеристики звучания музыкальных инструментов. В этом случае оценива-

ется тот же параметр – наличие шумовых призвуков в тоновом звучании.

Подобную этой метафоре характеристику дает образ *ржавый голос*. Хотя нужно отметить, что этот образ более полный, конкретный и связан не только с наличием на поверхности объекта ржавчины – следа коррозии, но и со звуковыми образами – звучанием заржавленных петель при открывании двери, звуком, издаваемым при подворачивании ключа в заржавленном замке. В этом случае речь идет не просто о шумовых призвуках голоса, но дается более конкретный звукообраз – скрип. Кроме того, метафора *ржавый* не просто характеризует звучание, но и передает дополнительные смыслы, признаки объекта – старый, давно не используемый, не работающий, испорченный. *Ржавый голос* – это прежде всего оценка человека с точки зрения его коммуникабельности, вербального взаимодействия с другими людьми.

Языковая метафора *масленный голос* реализует другой образ – объект, поверхность которого как бы смазана маслом, скользкая. Подобная метафора отражает образ скользкого предмета, за который нельзя ухватиться, так как он выскользывает. Объективно эпитет *масленный* не несет отрицательных оценочных смыслов, но предмет, смазанный маслом, становится скользким, его трудно удержать. Кроме того, скользкий – без труда проникающий, не создающий трения, не требующий усилий. Можно предположить, что данная метафора соотносима с другой языковой метафорой – *скользкий человек*. Они взаимно перекликаются и репрезентируют, по сути дела, один образ, фокусируя внимание на разных его частях: *скользкий человек* – не создающий трения, без труда проникающий куда-либо, уходящий от ответственности. *Масленный голос* – атрибут такого человека, его речевое действие. Кроме того, здесь могут быть актуализированы такие смыслы, как приятный (на вкус), мягкий (*масленный блин*). Обе метафоры дают отрицательную оценку личных качеств человека.

Голос может быть охарактеризован также как *предмет, обладающий структурной поверхностью*. Такой образ создают языковые метафоры *ровный / неровный голос*, характеризующие единообразие звучания голоса. Можно говорить о том, что мы имеем дело с традиционной метафорической моделью смешения пространственно-временных параметров: *Я внимал бы ровному голосу, пове-*

ствующему о вещах, / не имеющих отношения к ужину при свечах... (Бродский). Прерывистость звучания голоса, изменение высоты тона осмысливается как структура поверхности предмета. Это оценочная метафора, посредством которой характеризуется психоэмоциональное состояние говорящего.

По аналогии с предметом, *структура поверхности которого может быть подвергнута обработке*, в метафорическом осмыслении звучания человеческого голоса существует модель степени обработки голоса. Эта модель относится прежде всего к певческому голосу, т.к. такой голос представляется носителями языка в качестве музыкального инструмента. Голос, таким образом, может быть *обработанный* и *необработанный*.

1.3. Образы, связанные с фактурно-зрительным восприятием материала

Среди метафор, характеризующих восприятие звучания человеческого голоса, значительную группу составляют имена прилагательные, называющие материал, вещество. Конечно, образ вещества, материала является синкретичным (визуальное восприятие, тактильное, слуховое), но в связи с тем, что визуальное восприятие является ведущим, его фактурно-зрительные признаки являются, по нашему мнению, определяющими при восприятии материала.

Итак, одна из распространенных метафорических моделей здесь – это модель «металл – голос»: *медный бас, серебряный голос, стальной голос, чугунный голос, золотой голос*. Эти метафоры позволяют охарактеризовать разные типы звучания голоса и при этом дать оценку его обладателю.

Метафора *медный бас* или *медный голос* характеризует звучный, плотный и громкий тип звучания. Возможно, что этот метафорический перенос усложняется метонимическим, т.к. медь – это материал, из которого изготавливаются различные духовые инструменты, и звучание голоса в этом случае сравнивается со звуком духового инструмента.

Относя подобные случаи к сфере метафоризации, мы идем вслед за Л.П. Кожевниковой, которая, рассматривая структурное сходство противопоставляемых в традиционной отечественной лингвистике типов переносного значения, отмечает: «...по убеждению Моррела, акцент в отношениях между двумя тропами (ме-

тафорой и метонимией) нужно делать на их сходстве, а не на противопоставлении. <...> Подобную точку зрения разделяет и Лаунберг, отмечая, что метафора и метонимия не являются независимыми друг от друга»¹. Не принято проводить жесткую границу между образными средствами и в когнитивной семантике. Когнитивистикой активно постулируется положение о моделирующей функции любых образных средств языка, при этом принципиально изменяется взгляд на явление полисемии «как на категорию с размытыми границами как вовне (между единицами), так и внутри (между отдельными значениями одной и той же единицы) и с разным весом различных признаков внутри категории»², меняется и трактовка способа организации значения полисемантического слова. Л.П. Кожевникова также говорит о глубинном изоморфизме структуры этих тропов, доказательством которого является «трактовка в терминах предмета и образа»³. Мы в данной работе также не проводим категорического различия между этими явлениями языка, объединяя их на том основании, что в их основе лежит принцип переноса, но метафора объединяет различные ситуации, а метонимия отражает перенос в пределах одной.

Метафора *стальной / железный голос* дает дескриптивную оценку не столько типу звучания, сколько обладателю такого голоса. И опять мы имеем дело со сложным образом, включающим в себя не только тип материала, его звучание, но и функциональные его свойства: сталь чаще всего используется для изготовления оружия, предметов, способных выдержать нагрузку, сохраняя целостность. Рассматриваемая метафора характеризует такие черты характера обладателя голоса, как жесткость, выносливость, негибкость, и соотносима с другими реализациями той же модели: *стальной/железный человек*. Как нам представляется, метафора *стальной/железный голос* позволяет также описать и отношения между коммуникантами – отсутствие доброжелательных отношений и, напротив, выражение скрытой угрозы, агрессии.

¹ Кожевникова Л.П. О структурно-семантическом сходстве метафоры и метонимии // Проблемы функциональной семантики. Калининград, 1993. С. 105.

² Скребцова Т.Г. Американская школа когнитивной лингвистики / Послесл. Н.Л. Сухачева. СПб., 2000. С. 16–17.

³ Кожевникова Л.П. Указ. соч. С. 105.

Метафора *чугунный голос* также оценивает звучание голоса и его носителя, но дает при этом совершенно иную оценку: чугун отличается от предыдущих металлов иным типом звучания – глуховатым, не звонким. Он используется для изготовления самых простых металлических изделий, т.к. не обладает достаточной гибкостью, является хрупким металлом и плохо выдерживает нагрузки, кроме того, чугун – очень тяжелый металл. Поэтому названная метафора привлекается для характеристики таких свойств человека, как некоторая примитивность психической и интеллектуальной сферы, отсутствие психологической и коммуникативной гибкости, некоммуникабельность.

Иные характеристики дают образы драгоценных металлов. Например, *серебряный голос* характеризует тип звучания, сопоставимый с негромким, высокого тона звоном изделий из серебра, например звоном колокольчика, бубенца: *...твой серебряный, крылатый, Беспечальный голос-бубенец (Шубин)*. Эта метафора позволяет дать оценку как типу звучания (положительная), так и его обладателю – это, как правило, дети и молодые девушки.

Метафора *золотой голос* основывается не на типе звучания металла, а на образе «драгоценности». Характеристика в данном случае дается не через дескриптивные признаки, а через отнесенность к «образцовым» объектам – *золотой голос* обладает всеми качествами, относящимися его классу редких, дорогих, не встречающихся в обыденной жизни объектов, при этом качества эти выступают как совокупность, и метафорический образ не позволяет их дифференцировать.

Другая, менее частотная, модель, сопоставляет голос с иным типом вещества – минералами. Но из всего многообразия минералов для характеристики голосового звучания привлекаются только два: *стеклянный голос* и *хрустальный голос*.

При этом, как нам кажется, значительную роль играет фактор обработки: стекло и хрусталь – вещества, получаемые вследствие обработки кварцевого песка, это не первичные минералы. Кроме того, образ вещества здесь осложнен метонимическим переносом: стекло и хрусталь – это не просто вещество, но и изделия, сделанные из него. Значимым для метафорического образа является и тип звучания таких предметов. Обе метафоры характеризуют го-

лос высокого тона, прозрачного тембра, звонкий, но **хрустальный голос** более чистый и звонкий, чем **стеклянный**.

Вещественная метафора звучания позволяет совместить в рамках единого звукообраза сходные типы звучания разных материалов для усиления акустической ассоциации: *Впущенный горничной писмоводитель еще из прихожей услышал гул множества мужских голосов, но время от времени доносился и тот, **серебряно-хрустальный, волшебный** (Акунин)*. Объединение в единую метафорическую номинацию не только не является противоречивым, но, напротив, усиливает впечатление «драгоценности» звучания такого голоса и, соответственно, исключительности его обладателя.

Еще один образ вещества, привлекающийся для фактурно-зрительной характеристики голоса, это одно из органических веществ, а именно дерево: метафора **деревянный голос** не является частотной, но она зафиксирована в словаре. Эта метафора используется для характеристики глухого звучания голоса, в котором отсутствуют дополнительные тембры, делающие его выразительным: *Вечная память... поют старухи, и Гумилев неожиданно присоединяет свой глухой, **деревянный, детонирующий голос** к их спешемуся стройному хору (Одоевцева)*.

Думается, что в чем-то образ дерева как вещества в сознании носителей языка близок образу чугуна: общими являются признаки примитивности, отсутствия необходимой гибкости, хрупкости. С помощью этого образа оцениваются как психологические свойства человека (прямота и примитивность мышления, некоммуникабельность, негибкость), так и неблагоприятное психоэмоциональное состояние, в котором пребывает субъект голоса.

Итак, несмотря на разнообразие веществ в мире, образы далеко не любого из них могут быть использованы для описания и оценки звучания человеческого голоса. Самым частотным являются образы металлов.

1.4. Образы, связанные с восприятием особенностей строения, формы предмета

Голос характеризуется носителями языка не только с точки зрения восприятия его поверхности, но и с точки зрения формы и строения. Какие же *формы предмета* может принимать голос?

Самая распространенная форма, привлекаемая для характеристики звучания, – это форма отрезка или прямой (нити, струны). У

большинства носителей языка звучание голоса, и, в общем-то, любое звучание, ассоциативно соотносится именно с такой формой. Свидетельствует об этом наличие большого количества эпитетов, которые могут быть отнесены именно к объекту такой формы: *отрывочный, прерывистый, протяжный, струнный голос*. Такой образ является результатом действия уже упоминавшейся ранее пространственно-временной метафорической модели. В связи с тем, что в сознании носителей русского языка параметры пространства и времени тесно взаимосвязаны, процессу звучания наиболее соответствует именно такая фигура, имеющая начало, протяженность и конец. При этом звучание обладает динамическими характеристиками, выступает как атрибут времени, в отличие от пространства – тишины: *И голос мой, на тысячной версте / столкнувшийся с твоим непостоянством, / весьма приобретает в глухоте, / по форме совпадающей с пространством (Бродский)*¹.

Редко употребляемая, но тем не менее зафиксированная словарем метафора *круглый голос* позволяет говорить еще об одном метафорическом образе. *Круглый голос* – плавный, ничем не раздражающий, сильный, звучный, низкого тембра, как бы имеющий объем, форму шара, раскатистый. Нужно сказать, что с данной формой ассоциативно связан именно низкий голос, причем чистый, без шумовых призвуков: *Он слышал мягкий, профессорски округлый голос старшего политрука*. Круг (шар, сфера) воспринимается как наиболее совершенная форма. Кроме того, здесь актуально представление о полноте, силе голоса.

Еще одну характеристику голоса нельзя напрямую отнести к параметру формы, т.к. эта метафора не отсылает к определенной фигуре, но, по нашему мнению, это определение предполагает наличие какой-либо формы, акцентируясь на другом аспекте – проявленности абриса – внешнего контура формы. К таким метафорам можно отнести *отчетливый и четкий голос* – голос, выделяющийся из окружающего пространства, отличный именно

¹ По этому вопросу см.: Мишанкина Н.А. Метафорические образы русского саундшафта // Проблемы русистики: Материалы Всероссийской научной конференции «Актуальные проблемы русистики», посвященной 70-летию профессора кафедры русского языка ТГУ О.И. Блиновой. Томск: Изд-во Том.ун-та, 2001. С. 139–142.

своими внешними границами. Противопоставлен ему по параметру «оформленность – неоформленность» **тягучий голос**: *Фисса все поглаживала свои опухшие пальцы, и голос ткачихи был такой же опухший, бесформенный, тягучий (Олди).*

Еще один, менее конкретный, нежели форма, но также визуально воспринимаемый признак – *размер предмета*.

Голосу, как любому визуально воспринимаемому объекту, приписывается свойство размерности. Наиболее часто употребляется метафора, связанная с параметрами поперечного сечения, что опять же отсылает к образу длинного вытянутого объекта, такого как нить или струна: *Так тонок голос, / Тонок, впрямь игла./ А нити нет...; Талант – игла. И только голос – нить./ И только смерть всему шитью – пределом (Бродский).*

Наиболее частотной является метафора **тонкий голос**. Как уже было сказано, в данном случае актуализируется образ предмета, имеющего небольшую площадь поперечного сечения. Как правило, таким образом именуется голос высокого тона, но слабый, как бы способный «порваться»: – *Ты не бойся, Харон... – Кастор внезапно проморгался и захихикал. Голос у него тоже оказался старческий. Дребезжащий, тоненький фальцетик. – Не бойся (Олди).*

Противоположная метафора **толстый голос** употребляется гораздо реже, как правило, применительно к низкому звучанию женского голоса: *Бабушка, изображая волка, говорила и пела толстым голосом (Скиталец).*

Еще более отвлеченный признак совокупного размера объекта реализуется в метафорической паре **большой голос – маленький голос**. Но в этом случае актуализация образа размера объекта не столь обязательна, так как существует целый блок метафорических значений подобного рода, объединенных общим семантическим маркером «значительный – незначительный». Безусловно, этот признак базируется, прежде всего, на перцептивной основе – значительным, более заметным, как бы «заявляющим о себе» является именно объект большого размера, но тем не менее мы можем говорить о ситуации смещения прототипического фокуса

значения¹. Противопоставленность *большого и маленького голоса* связана в первую очередь, с силой, значительностью, заметностью звучания. *Большой голос* – сильный, звучный, красивый. *Маленький голос* – незначительный по силе, неширокого диапазона, как бы «не достающий до нормы» по силе проявления. О том, что присутствует данный семантический компонент, свидетельствует возможность противопоставления: *Маленьким, но милым голосом она, вместе с сестрой своей, пела украинские песни (Горький)*. Безусловно, *маленький* еще не значит плохой, но отклонение от нормы все же может повлечь негативную оценку. При этом актуализируется оценка звучания голоса, а также оценка его обладателя.

Кроме метафор, характеризующих звучание через образы внешнего строения, форму, существует большое количество семантических вариантов слов, обозначающих в исходном значении особенности строения предмета, определяемые образующими его или входящими в него однородными частями. Таким образом, звучание голоса может быть определено как объект, обладающий **внутренней структурой, консистенцией**.

При создании образа на основе признака *консистенция* голос осмысливается как вещество, состоящее из множества близко расположенных частиц – *густой голос (бас)* или, напротив, *жидкий голос*.

Метафора *густой голос* обычно характеризует звучание низкого тона, насыщенное, плотное. Понятие *густой* ассоциативно связано с восприятием плотного, тяжелого вещества. Любопытно, что с физической точки зрения низкое звучание образуется вследствие колебаний малой частоты, но именно этот тип звучания характеризуется посредством употребления слова *густой*, и в этом случае актуализируется сема «насыщенность», «заполненность» внутреннего пространства звука: *Кричали все интеллигенты, но*

¹ Р. Лангакер выстраивает модель полисемии в виде сети, представляющей узлы – отдельные значения многозначного слова – и коннекторы – ассоциативные связи между ними. В такой модели ассоциативная первичность одного из узлов определяется не его генетической первичностью, а прототипичностью или когнитивной выделенностью – актуальностью для носителей языка в данный период времени (*Лангакер Р. Когнитивная грамматика // Скребцова Т.Г. Американская школа когнитивной лингвистики / Послесл. Н.Л. Сухачева. СПб., 2000. С. 130*).

голоса всех их покрывал низкий, **густой**, придушенный **бас** мужчины в маске (Чехов). Подобная метафора может выполнять оценочную функцию, но эта функция является факультативной, так, например, последний контекст показывает, что можно говорить о доминировании номинативности.

Метафора **жидкий голос** именуется не противоположный тип звучания – высокий, а голос слабый, в котором внутренние части расположены как бы далеко друг от друга. При этом данная метафора выполняет прежде всего оценочную функцию, характеризуя не столько тип звучания, сколько состояние обладателя голоса.

Голос может быть осмыслен и как *предмет, имеющий структуру*, аналогичную структуре вещества – состоящий из множества близко расположенных частиц – **дробный голос**. Таким образом характеризуется неравномерный, изменчивого тона тип звучания, как бы состоящий из отдельных частей. При этом метафорическом переносе актуализируется семантический маркер "нецелостность", для оценки звучания привлекается образ нецелого, разделенного на части предмета, что свидетельствует о негативной оценке такого свойства звука.

Наличие целого ряда метафор позволяет говорить об архетипической актуальности для носителей языка такого качества, как «целостность». Отсутствие этого признака вызывает однозначную отрицательную оценку, а нарушение целостности звучания голоса, единообразия его звучания, сопоставляется с нарушением целостности самого обладателя: – *Вспомни! – Отчаяние и надежда звенят в надтреснутом голосе человека. – Мазандеран... ложе в пещере, которую звали дворцом... я читал тебе стихи... (Олди).*

Семантический компонент «нецелостность», «испорченность» актуализирован в эпитетах **ломающийся** (слишком твердый, не гибкий, хрупкий), **разбитый** (как бы расколотый на куски или испорченный вследствие длительного использования), **надтреснутый** (образ предмета, испорченного трещиной), **надломленный** (образ твердого предмета, имеющего вытянутую форму, или образ растения, потерявших целостность в результате внешнего воздействия), **надорванный** (образ ткани (нити) с нарушенной целостностью), **дырявый** (образ испорченной ткани или музыкального инструмента): *Здорово, Дарьюшка! – гудел он сиплым, будто дырявым, голосом (Распутин).* Все эти качества оцениваются отрица-

тельно, но воспринимаются не как негативные качества личности, а как свидетельство неблагоприятного эмоционального или физического состояния. Нужно отметить, что посредством использования подобных эпитетов может характеризоваться не постоянный, а временный признак человека, не качество, а состояние.

Все приведенные метафоры связаны с оценкой результата механического воздействия на объект. Нужно отметить, что восприятие этого свойства также не является исключительно визуальным, но зрительное восприятие сохраняет здесь свое доминирующее положение.

Как уже говорилось выше, нарушение целостности как результат механического воздействия регулярно оценивается носителями языка отрицательно. Это вполне справедливо и по отношению к самому процессу механического воздействия, даже если результат не является необратимым, об этом свидетельствует метафора *сдавленный голос* – лишенный возможности полноты проявления, активности, не свободный. Привлекается образ предмета, подвергающегося давлению, деформации. В этом случае звучание и состояние обладателя голоса оцениваются отрицательно.

И напротив, положительную характеристику получает тип звучания голоса, не поддающийся внешнему воздействию.

Голос может быть охарактеризован через образ *устойчивости структуры к механическому воздействию*: об этом свидетельствует метафора *крепкий голос* – сильный, звучный, звучащий целостно, принадлежащий здоровому, сильному человеку. Посредством такой метафоры оценивается как звучание голоса, так и его обладатель – как физически и душевно сильный. Метафоры, дающие противоположную, но на тех же принципах базирующуюся оценку: *хлипкий голос, ломкий голос, хрупкий голос*. Думается, что здесь мы имеем дело со случаем смешения метафоры и метонимии.

1.5. Образ, связанный с восприятием объекта как вместилища

Звучание голоса может быть осмыслено не только как объект, обладающий поверхностью и структурой, но и как объект-вместилище, обладающий полым пространством внутри. Это распространённая языковая метафора *полный голос* – не ослабленный, звучащий во всю силу, звучный, громкий. Как мы полагаем, здесь актуализируется семантический компонент «вместивший в себя предельное количество», который связан прежде всего с образом сосуда.

1.6. *Образы, связанные с восприятием пространственных признаков предмета*

Образ звучащего голоса как объекта, имеющего пространственное расположение, – это устойчивая метафорическая модель, связанная с восприятием противоположных феноменов: звука и тишины, при котором тишина последовательно осмысливается через пространственные характеристики, а звук – через характеристики объекта, расположенного в этом пространстве. При этом пространственные характеристики могут быть достаточно разнообразными.

К типу метафор, создаваемых на основе образа *статических пространственных характеристик*, относятся распространенные языковые метафоры **высокий голос – низкий голос**.

А.Н. Шрамм, интерпретируя этот тип метафор, пишет: «Можно допустить, что значение «высокий (о звуках)» связано с исходным значением на основе общей семы «большой, значительный» (т.к. высокие звуки образуются в результате колебаний большой частоты)»¹. Но если рассматривать другие признаки **высокого голоса** (тонкий, струнный) и признаки **низкого голоса** (толстый, круглый, густой), то можно заметить, что **высокий** – ассоциативно воспринимается как менее плотный, тяжелый, одним словом, меньший по массе и объему, чем **низкий**.

Если учесть к тому же признаки, характеризующие данные типы звучания по способу движения, то можно увидеть, что **высокий** характеризуется через эпитет *летащий*, а **низкий** – посредством использования эпитета *раскатистый, катящийся*, что свидетельствует об их ассоциативном восприятии как относящихся к различным точкам вертикальной оси пространства. Эти метафоры входят в структуру пространственного архетипа «верх-низ», где **высокий** осмысливается как находящийся на большой высоте, связанный с воздушной средой, а **низкий** – находящийся на земле. Такое осмысление пространственного расположения разных типов звучания слабо соотносится с такими физическими аспектами, как частота колебания.

Метафора **глубокий голос**, по нашему мнению, также соотносена с данным архетипом. Это голос, имеющий специфические призвуки, определенным образом интонированный, как бы идущий из

¹ Шрамм А.Н. Очерки по семантике качественных прилагательных... С. 99.

глубины груди, тела. Если принять за точку отсчета «низ» – землю, тело человека ниже головы, то глубина выступает как зеркальное отображение «верха» и имеет определенный символический смысл – находящийся под чем-либо, связанный с внутренним, тайным.

Ориентированность голоса как пространственного объекта по вертикали или горизонтали может быть изменена. Подтверждением тому служит метафора **поставленный голос** – обработанный посредством определенных упражнений, звучащий ровно, правильно: *Я стала ревностно обучаться у Кони ораторскому искусству, слушала лекции Луначарского, Энгельгардта и самого Всеволодского, мне ставили голос (Одоевцева)*. Здесь актуальной является норма пространственного положения человека – вертикаль. **Поставленный** – приведенный в нормальное, наиболее желательное состояние. Это предположение может быть подтверждено наличием подобного компонента в сочетании **поставить на ноги** – «вылечить», «воспитать, вырастить детей».

Метафора **стройный голос** также предполагает вертикальную ориентированность, но кроме того актуализирует такие признаки, как правильность звучания, отсутствие неприятных призвуков и перепадов, полнота и насыщенность звучания.

Динамические пространственные характеристики оказываются тесно связанными со статическими, прежде всего это изменение типа звучания, осмысляемое как изменение пространственного положения: **упавший, опущенный, поднятый голос**. Таким образом характеризуется смена тона и силы звучания, связанных с выражением эмоционального состояния: *Дарье она сказала, **подняв голос до стога**: – Ой, да какую там зиму! Ни одного дня не вижу впереди; А не доживай до такой старости, – вдруг ни с чего со злостью вскинулась Дарья. – Знай свой срок, – и **пригасила, опустила голос**, понимая, что не дано его человеку знать (Распутин)*.

Однако звучание голоса может быть охарактеризовано и через другие типы движения в пространстве.

Однонаправленное движение в горизонтальной плоскости связано с соотношением типа звучания и способов движения: **перекастистый, раскатистый, плавный, переливчатый, текучий голос**. Звучание в данном случае осмысляется как движение: катиться, плыть (плавать), литься, течь. Разнонаправленное движение связано с восприятием неконтролируемого движения объекта: **вибрирую-**

щий, вздрагивающий, трепетный, трепещущий, дрожащий голос. Полагаем, что здесь мы имеем дело с двойной метафоризацией: на первом ее этапе действует ранее упоминавшаяся модель нити или струны, при этом голос уподобляется струне, закрепленной с двух сторон и издающей звук в результате вибрации. Второй этап связан с антропоцентрической моделью оценочной деятельности.

1.7. Образы, связанные с восприятием одушевленного объекта

Одной из сфер метафорической номинации является характеристика звучания голоса посредством образов живого одушевленного существа. Прежде всего, это статические физические признаки одушевленного существа: **тощий голос, вялый голос, дряблый голос, сильный и слабый голос**, а также динамические признаки: **напряженный голос, расслабленный голос, натруженный голос, торопливый голос**. Во всех этих случаях по звучанию голоса оценивается состояние его обладателя. Хотя, вероятно, в этом случае трудно со всей определенностью говорить о том, что такой тип переноса происходит только по метафорическому принципу. Вполне возможно, что в этой сфере регулярно проявляется смешанная метафоро-метонимическая модель переноса, так как голос – это всегда атрибут одушевленного существа, который выполняет функцию репрезентации.

Но тем не менее результаты анализа контекстов показывают, что мы можем говорить о существовании антропоцентрической метафорической модели восприятия звучания. Например: – *О'кей! – **голос** Администратора неожиданно **переменился**, совершенно исчезли **слащавые обертона**, **тембр** как бы **подсох**, **растопился жирок** и **проступила рельефная мускулатура** (Тучков).*

Итак, наиболее развитая у человека сфера визуального восприятия последовательно выступает сферой-источником для выражения метафорической оценки голосового звучания человека. Как уже отмечалось ранее, визуальные образы звучания представляют самую многочисленную группу. Следующая по количественному составу группа метафор также относится к сфере дистантных ощущений – это метафора, основанная на смешении слуховых ощущений, но в данной работе мы не будем рассматривать эту область синестетической метафоры, так как отчасти она была описана нами в предыдущих работах.

Еще один вид дистантных ощущений – обонятельное восприятие – не включается в область метафоризации, в ходе анализа нам не встретились метафоры подобного типа.

Поэтому мы переходим к описанию оценочной синестетической метафоры, областью-источником для которой выступает сфера контактных ощущений.

2. Тактильные образы звучания человеческого голоса

Наиболее частотны в этой области тактильные метафоры, представляющие дескриптивные признаки звучания голоса через сферу осязания. В связи с тем, что эта сфера менее дифференцирована, нежели визуальное восприятие, метафоризация здесь менее активна.

Самая распространенная метафора связана с тактильным восприятием поверхности объекта, которая может быть податливой, приятной на ощупь (*нежный баритон, мягкий голос*) и, напротив, неподатливой и раздражающей, ранящей кожу (*грубый бас, жесткий голос, твердый голос, огрубелый голос*). Полагаем, что основой метафоризации выступает именно качество ощущения: приятно/неприятно. Как и в предыдущих случаях, объектом оценки является не только звучание голоса, но и его обладатель: приятный голос принадлежит приятному человеку, и наоборот.

Конкретизация тактильного ощущения представлена в метафоре *бархатистый / бархатный голос*. Несмотря на то, что мы имеем дело с названием ткани, материала, который может восприниматься визуально, все же, по нашему мнению, основным, доминантным образом здесь выступает именно тактильный образ ткани. В этом случае также оцениваются имплицитные свойства голоса (и его обладателя).

Нужно сказать, что языковые метафоры *твердый голос* и *мягкий голос* способны передавать не только образы ощущений от поверхности объекта, но и другие его свойства, такие как способность/неспособность объекта изменять форму вследствие механического воздействия. Также связан этот тактильный образ с консистенцией предмета и ориентирован на оценку личностных качеств человека – способности/неспособности оказывать противодействие при коммуникации: *Правда, – твердым голосом ответил Санька (Свирский)*. Свойство это может быть латентным и способным проявиться вследствие изменения условий протекания

коммуникативного акта: ...*Не знаете положение и не говорите. – Голос у Жука заметно потвердел (Распутин).*

Метафора *гибкий баритон* также позволяет охарактеризовать звучание и дать его оценку по нескольким параметрам. Во-первых, это оценка акустических свойств звучания, отличающихся перепадами тона и особой тембровой окраской. Во-вторых, это просодический рисунок речи, характеризующийся особым богатством интонаций. В-третьих, через оценку первых двух параметров оказывается возможной оценка таких личных качеств обладателя такого голоса, как богатство и разнообразие интеллектуальной и эмоциональной сфер, умение находить эффективные коммуникативные тактики при общении. Все названные оценки базируются на исходном образе гибкого объекта, способного не только изменять форму, но и возвращаться в прежнее положение.

Несмотря на близость базовых областей, с помощью метафор *упругий голос, тугой голос* оцениваются несколько иные свойства личности. Образ упругого объекта связывается с представлением о бодрости, здоровье, о полноте проявления человека: *Крестьяне! – полным тугим голосом говорил Рыбин (Горький).*

Противоположностью *тугому голосу* выступает иной тип звучания, ассоциативно связываемый с отсутствием влаги: *сухой голос*. Привлечение этого образа позволяет маркировать безэмоциональность звучания голоса, при этом отрицательная оценка недостаточности эмоционального проявления позволяет говорить о том, что и отсутствие влажности оценивается как отклонение от нормы.

Как можно убедиться, тактильная метафора позволяет оценивать самые разнообразные качества человека через оценку звучания его голоса, меньшая дифференцированность тактильных ощущений ведет к тому, что в этом случае оказывается еще более сложным выявить конкретные семантические признаки, выступающие основой при переносе. Этот тип метафоры по преимуществу реализует гедонистическую оценку, основанную на эмоциональном восприятии.

3. Болевые образы звучания человеческого голоса

Следующая по частотности – метафора болевых ощущений. Как правило, все эти единицы реализуют отрицательную оценку воздействия звучания голоса. Оцениваться через образы боли мо-

гут как акустические параметры звучания, так и его эмоциональное содержание.

Основой при метафоризации данного типа выступают различные виды физического деструктивного воздействия, выражаемого глаголами *резать, пронзать, сверлить, колоть*, например: *острый голос, пронзительный, резкий, колючий голос*. Этот тип звучания ассоциативно связывается не только с болевым воздействием, но и с ситуацией нарушения целостности субъекта, воспринимающего такой голос.

Другой тип звучания не обязательно связан с повреждениями, но на первый план выходит именно болезненный аспект такого воздействия: *хлесткий, щемящий голос*. Например: *Это не искренний голос впотьмах саднит, / но палец примерз к дизелю, лишен перчатки (Бродский)*.

4. Вкусовые образы звучания человеческого голоса

Еще менее дифференцированы вкусовые образы звучания голоса, так же как и лексика вкусовой сферы, метафора в этой области не отличается особым разнообразием. Самая разнообразная палитра вкуса связана с ощущением сладости: *медовый, паточный, сладкий голос*. Подобная метафора передает ощущение удовольствия от приятного звучания голоса: *У актрисочки, точно, голосок был хорошенький, – звонкий, соловьиный, медовый! (Достоевский)*. Но вместе с тем возможна и амбивалентная интерпретация: слишком приятное звучание голоса может расцениваться как манипулятивная стратегия, попытка оказать эмоциональное воздействие, и с этой точки зрения метафора *сладкий, сахарный голос* выражает негативную оценку намерений обладателя голоса.

Метафора, сферой-источником для которой выступают неприятные вкусовые ощущения (*горький голос, кислый голос*), как правило, служит для передачи эмоционального состояния обладателя такого голоса.

5. Образы звучания человеческого голоса, связанные с восприятием давления

В этой сфере нами отмечено весьма небольшое количество метафорических единиц, которые связаны прежде всего с восприятием веса: *легкий голос, невесомый голос, полновесный голос, тяжелый бас, тяжкий голос*. Думается, что посредством использования метафоры веса передается ощущение от звучания разного по

тону голоса, связанного с уже упоминавшимся выше противопоставлением **высокий – низкий голос**. Как обладающий незначительным весом оценивается голос высокого тона. Голос низкий, напротив, ассоциативно связан с ощущением веса, превышающего норму. При этом такой оценке может быть подвергнута не только высота тона, но и недостаточная мелодичность, негибкость голоса низкого тона: *Как может он произносить: лила, лила, качала – своим каменно-тяжелым, деловым, трезвым голосом?* (Одоевцева).

6. Температурные образы звучания человеческого голоса

В сфере восприятия температуры можно отметить несколько метафор, базирующихся на основной температурной дихотомии *холодное – горячее*. Чаще всего посредством термальной метафоры оценивается голосовое выражение эмоций. В этой сфере нами отмечено соответствие термальной метафорической модели осмысления эмоциональной сферы человека: проявление эмоций, активный эмоциональный фон тесно связаны с восприятием высоких температур: **жар любви, огонь ненависти, пылать страстью, накал эмоций** и т.п. Отсутствие или слабая выраженность эмоций, напротив, соотносятся с областью низких температур: **холодное равнодушие, ледяное высокомерие** и др. Звучание голоса как неотъемлемый атрибут человека естественным образом выражает эмоциональное состояние и отношение: **горячий, жаркий голос – холодный, стылый, застывший голос**.

Нельзя не отметить также, что термальная метафора позволяет передать не только статичность эмоционального состояния обладателя голоса, но и динамику изменений эмоционального фона: *Как он любил вспоминать свое детство! У него **теплел** голос и менялось выражение лица...* (Одоевцева).

Метафоры, базирующиеся на области контактных ощущений, отличаются значительно меньшим разнообразием и дифференцированностью, но именно эта слабая расчлененность позволяет говорить о высокой степени синестезии, когда основанием для метафоризации выступает слабо осознаваемый комплекс признаков, ощущений и оценок, основанных на эмоциональном, гедонистическом компоненте. Именно такая метафора показывает, насколько тесно взаимосвязаны в психике человека все архетипические модели и насколько значим перцептивный опыт для ориентации человека в мире.

Анализ синестетической звуковой метафоры позволяет с уверенностью говорить о том, что языковая картина мира отражает основополагающее свойство человеческой психики – синтетичность восприятия мира. Внутренний мир человека не терпит дискретности и, возможно, представляет собой модель, состоящую из узлов – особого рода когнитивных схем, связанных ассоциативными цепочками. Такая организация позволяет мгновенно, на уровне подсознания, воспринимать, оценивать и квалифицировать любые объекты внешнего мира, что делает психику устойчивой.

Как показывают результаты анализа, такими ассоциациями тесно связаны все сферы восприятия: образы для оценки и передачи нюансов звучания голоса заимствуются практически от всех органов чувств человека. Хотя, конечно, большая их часть приходится на долю визуального восприятия – ведущего для человека. Область визуальных образов является наиболее дифференцированной. Как уже говорилось, не столь многочисленные и менее расчлененные образы привлекаются из сферы контактных ощущений, думается, что это связано прежде всего с функциональной актуальностью этих признаков.

Со всей уверенностью можно говорить о том, что все образы голоса могут выступать как оценочные для характеристики акустических параметров звучания и личных качеств обладателя голоса, его физических, психических, эмоциональных состояний. При этом здесь гораздо чаще действует смешанная метафорометонимическая модель.

Направленность оценки в первую очередь на обладателя голоса – человека – подтверждает регулярность и последовательность действия в когнитивной сфере антропоцентрической доминанты и антропоцентрического стандарта восприятия.

Синестезическая метафора подтверждает положение о доминировании оценочной деятельности в жизни человека, за счет того, что эта деятельность носит предразумный характер, она начинается до появления логического мышления, она интуитивна и базируется на телесном опыте.

Взаимное соответствие метафорических моделей, функционирующих в разных областях восприятия, позволяет говорить о тесной взаимосвязи между архетипическими структурами.

Глава 2

Деривационные модели формирования русской ценностной картины мира

2.1. Именная деминутивная деривация в моделях выражения оценки¹

Исследователи, занимающиеся описанием национально-специфичных языковых картин мира, неоднократно отмечали ярко проявленную особенность строя русской речи – повышенную эмоциональность, разработанность языковых механизмов ее формирования на разных уровнях языковой системы². При взгляде на этническое своеобразие языковых картин мира с другой стороны – со стороны языковых средств и механизмов формирования этноязыковой специфики – ярко проявленной в системе русского языка оказывается включенность деривационных механизмов в формирование комплекса оценочных смыслов при явной предрасположенности к насыщению выражаемых рационально-оценочных смыслов эмоциональностью. Это своеобразие характерно для словообразования всех знаменательных частей речи (*приоткрыть, попридержать, мудрить, обезьянничать, пошловатый, глазаственный*), для разных способов словопроизводства, различных типов словообразования (*пошлый – пошляк, умный – умник, глаза – глазастый* – мутационное словообразование и *глаза – глазки, глазоньки, солдат – солдатик* – модификационное). При всей дескриптивности, описательности, обращенности к передаче диктумных смыслов система мутационного словообра-

¹ Раздел представляет собой авторскую переработку главы «Прагматически ориентированная деривация» монографии «Функциональный аспект словообразования: Русское производное имя» (Томск, 1996).

² Ср., например: *Вежицкая А. Русский язык // Вежицкая А. Язык. Культура. Познание. М., 1996. С. 33.*

зования включает модели со открытой модальной перспективой, и в том числе оценочной. К числу таковых относим не только модели с синкретичными суффиксами *-ун* (*говорун, молчун, шептун*), *-ец*, *-аг(а)*, *-ак(а)* (*простак, делега, гуляка*), но и словообразовательные типы преимущественно номинативной направленности, например образованные с помощью весьма продуктивных словообразовательных суф. *-ник*, *-льник*, *-ист* и др., производные которых в особых контекстных условиях включаются в процессы выражения оценочных смыслов. Ср.: *[Быстрицкий] в делах снабжения оказался большим ловкачом (Игнатьев); Старец этот, отец Ферапонт, был тот самый престарелый монах, великий постник и молчалник (Достоевский). С одним из самых страстных и неутомимых картежников поселенцем Изотовым у меня происходил один такой разговор... (Чехов). Бурнашов так и впился глазами в лошадь – он был отчаянный лошажник (Мамин-Сибиряк).*

И все же наиболее включено в сферу выражения оценочных смыслов именное словообразование, центр оценочно, прагматически ориентированной сферы которого составляют словообразовательные типы с так называемыми «уменьшительно-ласкательными» суффиксами. Исследователи отмечают особую развитость («разработанность», по А. Вежибцкой) этой сферы русской морфологической деривации – деминутивного словообразования. По отношению к рассмотренным моделям мутационного словообразования деминутивы отличаются обратным соотношением функций: направленность на выражение оценочно-прагматических смыслов у деминутивов является ядерной, дескрипция «обслуживает» и конкретизирует оценку. Вторичность дескрипции проявляется в ее необязательности, в многочисленных примерах текстовой размытости содержательных оснований оценки.

Своеобразие деминутивного словообразования в системе языковых средств выражения аксиологического отношения к миру заключается и в том, что при отмечаемой асимметрии оценки в целом в языке, в том числе в лексиконе, и в сфере мутационного словообразования в сторону отрицательной оценки русское деминутивное словообразование – строевая сфера языка, сформиро-

ванная для выражения эмоциональной оценки прежде всего положительного спектра.

При том что генетически первичным, исходным в моделях деминутивного словообразования является рационально-оценочный компонент, в современной речевой стихии выявляется функционально-семантический синкретизм¹ с доминированием оценочной функции. Созданные по данным моделям производные единицы служат для выражения принципиально синкретичных смыслов, являя собой многообразие вариантов комбинаций компонентов рационально-, эмоционально-оценочных, волевых, выполняя в текстах комплекс коммуникативно-прагматических функций². Сфера активной экспансии деминутивного словообразования в современном русском языке – косвенная референция: деминутив служит средством выражения оценочного отношения не к собственно предмету, к имени которого он присоединяется. При создании деминутивного производного происходит своеобразный сдвиг референции оценочных смыслов, деминутив служит средством выражения положительного отношения к другим предметам, отраженным в высказывании, что ярко проявляется в этикетных первичных речевых жанрах (*выпейте с нами чайку, пожалуйста*), в разговорах с маленькими детьми и разговорах о детях (*как твоё горлышко, уже не болит?*).

Современная многофункциональность, смысловая неоднозначность деминутива включает относительно самостоятельное проявление одного из смыслов как частный случай из множества вариантов возможных текстовых комбинаций. В именах с «чисто» уменьшительным значением (значением рациональной, параметрической оценки) в основе словообразовательной семантики лежит логическая операция включения в класс с маркированием по отличительному признаку – отклонение от нормы («меньше нормы») по признакам размера, интенсивности и т.д.: *столлик* – то,

¹ *Мандельштам И.* Об уменьшительных суффиксах в русском языке со стороны их значений // Журнал министерства народного просвещения. 1903. Июль, август.

² Как отмечает А. Вежбицкая, за «ярлыками» вроде «уменьшительный» или «увеличительный» «скрывается широкий спектр различных функций, природа и взаимодействие которых остаются загадкой (как правило, не признаваемой)» (*Вежбицкая А.* Язык. Культура. Познание. С. 89).

что принадлежит классу столов, отличаясь по признаку размера, «меньше нормы»¹. Параметрический признак конкретизируется в вариантах: меньше нормы размерных параметров предмета, количества, интенсивности проявления, значимости, степени соответствия каким-либо социальным, эстетическим и прочим нормам. Организующим центром этого смыслового многообразия является общая ориентация суффиксов на выражение нормативно-ценностных отношений. Ориентированность на выражение оценки определяет смысловую и функциональную неоднородность, сложность деминутивных суффиксов и, как следствие, производных от них деминутивов.

Функциональная многомерность деминутива определяется **самой природой оценки, ее когнитивным статусом и особенностями коммуникативной реализации**. По авторитетному мнению Н.Д. Арутюновой, оценка – «наиболее яркий представитель прагматического значения, ее характеризует максимум контекстной зависимости»². В основе оценочной деятельности лежит механизм сравнения объекта оценки, «оценка определяет выбор из некоторого ассортимента объектов или альтернатив»³, рациональная оценка чревата эмоцией: «интенциональный объект эмоции реализуется в виде дескрипции, возникающей на основе мнения о данном объекте, иными словами, в основе эмоции лежит оценка. Дифференциация эмоций при этом основана на дифференциации мнений об объекте»⁴. В семантическом пространстве рациональной и эмоциональной оценки встречаются «разум и чувство – две автономные сферы психической деятельности», «сосуществуя, они как бы подхлестывают одна другую и контролируют одна другую... эти два вида деятельности языкового сознания не амаль-

¹ В формуле это отношение может быть выражено следующим образом: $x \text{ incl } y, x < y$. (incl – логическое отношение включения).

² Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений... С. 5.

³ Там же. С. 7.

⁴ Вольф Е.М. Эмоциональные состояния и их представления в языке // Логический анализ языка: Проблемы интенциональных и прагматических контекстов. М., 1989. С. 56.

гамируются»¹. Эмоция связана с волей. Как отмечает Н.Д. Арутюнова, «оценочное высказывание уже само по себе выражает коммуникативную цель рекомендации, побуждения к действию, предостережения, похвалы или осуждения»². Так, эмоция ласки часто усиливает воздействие или является средством волевого побуждения. Таким образом, в акте оценочной деятельности, зафиксированной в оценочной номинации, соединяются факторы автора речи, субъекта оценки, объекта оценки и адресата речи.

Включение механизма деминутивно-оценочного словообразования в акт порождения высказывания/текста обуславливается как потребностями номинации – необходимостью, настроенностью на отражение размерных и других параметрических признаков предмета, явления, так и прагматическими задачами – нацеленностью на выражение эмоций, вызываемых определенными свойствами именуемого явления, предмета, или – шире – ситуации, участником которой является предмет, стремлением воздействовать на волю Слушающего. То есть деминутив может актуализировать разные слои семантики, функционально ориентируясь на три основных столпа акта коммуникации – Говорящего, Слушающего, предмет сообщения. Ср. выделение трех аспектов смысла уменьшительных слов в речи героини у М. Цветаевой: *Струечка... Секундочка... Все у нее было уменьшительное (умалительное, умилительное), вся речь.*

Включенность прагматического компонента в смысл деминутива делает невозможным его анализ вне коммуникативного акта, факторов, обуславливающих коммуникацию: "Поскольку прагматическое значение по определению контекстно обусловлено, его изучение ставит задачу выявления характерных для него контекстов"³ и, добавим, конситуаций употребления.

Синхронная палитра смысла деминутивного суффикса необычайно широка, он включает наряду с многообразием видов рацио-

¹ *Телия В.Н.* Экспрессивность как проявление субъективного фактора в языке и ее прагматическая ориентация // Роль человеческого фактора в языке: Языковые механизмы экспрессивности. М., 1991. С. 5.

² *Арутюнова Н.Д.* Типы языковых значений... С. 6.

³ *Телия В.Н.* Экспрессивность как проявление субъективного фактора в языке... С. 7.

нальной оценки (оцениваются размерные параметры предмета, количество, интенсивность, значимость, степень соответствия ряду социальных, эстетических и других признаков) широкую палитру эмоциональных реакций на какой-либо вид нормативных несоответствий или их комбинацию; эмоциональная реакция может быть конситуативным усилителем волевого воздействия. Семантика несоответствия норме по какому-то параметру может имплицировать и ряд собственно коммуникативных функций. Деминутив потенциально оказывается заряженным всем этим комплексом смыслов с неопределенными границами, реализуя их как ответ на запрос коммуникативной ситуации. При этом «чистое» рационально-оценочное значение, как представляется, в той же степени контекстно и конситуативно обусловлено, как и другие коммуникативно актуальные смыслы, реализуется в контекстах, содержащих заказ на актуализацию смысла параметрической оценочности, и как следствие – языковые и коммуникативные показатели подобного рода ограничений.

Конкретизация рационально-оценочного компонента определяется значением производящей основы. Так как "каждый объект действительности (вещь, человек, положение дел, событие) обладает обычно неопределенным по числу и составу набором аксиологически релевантных свойств"¹, это обуславливает возможность весьма широкого содержательного варьирования суффиксального значения: меньший по объемным параметрам – высоте, габаритам (*носик, домик, скверик, кулачок, огурчик*); по степени проявления, интенсивности (*ветерок, холодок, морозец*); значимости (*статейка, разговорчик*); отклоняющийся от нормы по каким-либо качествам (*горошек, сучик*).

1. Анализ всего спектра функционирования деминутивной деривации в современном русском языке обнаруживает относительно незначительное количество реализации собственно размерного значения деминутивов, «свободного» от шлейфа эмоциональных и волевых коннотаций. Наибольшую свободу от импликаций эмоционального и волевого компонентов обнаруживает параметрический смысл «меньше нормы по размеру, параметрам объема». Реализуется этот смысл в производных с **конкретно-предметным**

¹ Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений... С. 8.

значением. Условно говоря, "уровень амбиций" суффикса в таких случаях – слово, формирование компонента смысла высказывания, ср.: *Нужна бу-ты-лоч-ка, – зло сказал он Лева, – а тут бутылица! Нужна же бутылочка! Пузырек! (Битов); Рыхлая колода с круглыми уголками... Что было, что есть. (Мы раскинем карты.) Что будет... (Битов).*

В приведенных выше контекстах реализован наиболее "чистый" рационально-оценочный смысл деминутива без осложнения как другими рационально-оценочными смыслами (соответствие/несоответствие социальным, эстетическим и подобным параметрам), так и эмоциональными и волевыми компонентами. Функция деминутива в таких контекстах наиболее номинативна, ограничена формированием смысла имени, и только через его посредство суффикс участвует в создании смысла высказывания.

Оценочные смыслы конкретно-предметных имен не ограничиваются размерной конкретизацией, возможно их проявление в варианте: "соответствующий норме по ситуативно или узуально предъявляемым требованиям", например: *"Сапоги были удобные, с войлочной **стелечкой**"* (Приставкин), где *стелечка* – хорошая, удобная, соответствующая предназначению, прагматическим потребностям говорящего. Как только параметрическое значение покидает пределы чистой размерности, рациональная оценка соединяется с эмоциональной.

Для того чтобы проявилась потенциальная эмоциональная заряженность деминутивного суффикса, достаточно малейшей положительной эмоциональной окрашенности контекста, появления в окружении деминутива слов с эмоциональным компонентом положительного спектра. Текстовое функционирование деминутивов, быть может, одна из сфер, в которой наиболее ярко проявляется эффект синтагматического "наведения сем" (по И.А. Стернину¹). Наиболее регулярно семантический компонент "меньше нормы по размеру" имплицитно прагматический компонент "ласкательное". Все, что меньше нормы по размеру, меньше стандартов человека, потенциально заряжено эмоцией умиления, ласки. Эмоции негативного, отрицательного спектра чаще всего свя-

¹ *Стернин И.А.* Лексическое значение слова в тексте. Воронеж, 1985. С. 118–121.

заны с разочарованием в прагматических устремлениях в тех случаях, когда размер меньше нормы препятствует осуществлению социальной предназначенности предмета.

Отрицательная оценка может быть вызвана и несоответствием эстетическим устремлениям автора речи, при этом увеличивается доля субъективного начала, конситуативных мотиваций оценок. Ср. различную актуализацию потенциального эмоционального заряда деминутива в разных контекстных условиях: *Это оказалась двухэтажная дачка, с чистыми комнатками, ко всем дверям были приделаны чашечки для святой воды (Набоков)*; В данном фрагменте эмоция «ласкательное» вызывается соответствием прагматическим и эстетическим нормам предметов в восприятии говорящего: удобство, чистота, «чашечки со святой водой...». В следующем фрагменте несоответствие параметрической норме размера имплицитно и ряд других оценок, ведущей среди которых является прагматическая оценка, несоответствие норме по данному параметру обуславливает сложность эмоционально-оценочных импликаций: к значению «ласкательное» примешивается эмоция пренебрежения, выявляемая в обобщающем слове *мелкота*: *Дом возвышался над двухэтажной мелкотой: особнячками, церквушками, колоколенками, старыми фабриками, набережными с гранитными парапетами, и с обеих сторон его обтекала река (Трифонов)*. Следующие фрагменты выявляют коммуникативную деактуализацию размерно-оценочного смысла деминутива, с одной стороны, с другой – являются примером сложности, неоднородной референтной отнесенности эмоции, выраженной деминутивным суффиксом. Эмоциональное содержание деминутивов *халатик*, *(тоненькая кофейная) чашечка*, *(бедная) лапка*, *рыбка (об лед)* определяется перенесением на них эмоционального отношения повествователя к героине-Альбине: *Да, он мог бы любить ее, она могла быть его женой. (Ему представилась ее квартира, открытые двери, мелькнул в сумраке и запахнулся халатик, тоненькая кофейная чашечка в руке...)*. *"Я не люблю тебя больше", – сказала Альбина (Битов)*; *А потом они идут рядом, и Лева словно в километре от нее, и руки в карманы спрятал, и локтик к бокам прижал – и ей руки никак под локоть не просунуть. Тычется бедная лапка, бедная варежка, бедное от-*

дельное существо ее рук и **рыбка** об лед, **рыбка** с тупой меховой **мордочкой** (Битов).

Контекстное окружение с эмоциональными компонентами отрицательного заряда либо "просто" зачеркивает, нейтрализует эмоциональный положительный компонент деминутивного суффикса, либо сообщает ему смысл отрицательного эмоционального спектра: *Постой-постой! – озноб гулял по Левиной спине, и оптика алкогольного пространства показывала старый детский фокус – перевернутую трубу: где-то в очень узкой дали отчетливо ухмылялось личико Митишатъева, именно личико, величиной с детский немытый кулачок (Битов); Но сестра, вот она, сидела на кухне у Одоевцевых и, стыдливо и бурно, пила чай из блюда: **пальчики** у нее были толстенькие и упорные (Битов)*. Эмоционально-оценочный смысл деминутивов обнаруживает зависимость от эмоционального заряда лексем ближайшего контекста (ухмыляющееся личико Митишатъева сравнивается с немытым детским кулачком, а пальчики родственницы дяди Диккенса – упорные, обнаруживающие ее отвратительные в ситуации получения наследства дяди Диккенса меркантильные устремления), а также от смысловой, а в художественном тексте это значит – образной, структуры речевого произведения в целом. Связь смысла деминутива и текста видится нам двунаправленной: деминутив "заряжается" эмоциональным фоном, потенциалом образной структуры текста и усиливает ее, выступая как одно из ярких средств создания эмоциональной окрашенности речевого произведения. Контекстное столкновение словарного значения деминутива "уменьшительно-ласкательное" и отрицательного эмоционального смысла текста – знак косвенного речевого акта, иронии.

Семантика "не отвечающий социальной норме", "нечто незначительное в социуме" может реализоваться в условиях контекстной деактуализации компонента размерной параметризации: *Садитесь, пожалуйста! – старик подволок, вместе с ногою, к Лева стул, Лева поздно бросился помогать, когда тот уже протирал сиденье газеткой... Старик покачнулся: он не только вытирал, вытирая, он опирался о стул, о **бумажку** (Битов)*. При этом «вынесение приговора» о несоответствии норме социальной значимости может естественно имплицировать эмоцию пренебрежения: *Теперь-то я понял, как вы тогда заблудились. Когда про **цифирки***

на людских жилищах сейчас говорили так зло... И ничего не зло, ничего я не понял! Нужны эти цифирки, какой дурак станет их отрицать, как же без них! (Битов). Эмоциональный заряд демиинутива актуализируется экспрессивно окрашенной конструкцией. Представляется, что именно в таких употреблении истоки смыслового выветривания демиинутивного суффикса, его десемантизации, и его проявления как стилевого маркера: «нечто незначительное», «не требующее серьезного отношения» → придание речи стилевой окрашенности обыденности, незначительности. Ср. приведенные выше контексты и следующие, в которых основное назначение демиинутивной суффиксации – стилевая маркированность речи, придание ей стилевой окрашенности обыденности: (1) *А точно ли это? – сомневался Николай Григорьевич. – В столовке что-то не говорили. Я не слышал (Трифонов);* (2) *Тогда вахтерша, совершенно почувствовав свою власть надевой, попросила отпустить ее к дочке, чтобы помочь ей справиться с пьющим зятем (Битов).*

Контекстно (конструктивно, тематически и жанрово) ограниченным является значение, антонимичное исторически первичному – "больше нормы", сопровождающееся яркой экспрессией: говорящий небезразличен к выявленному отклонению от нормы и стремится заразить собственным эмоциональным отношением слушающего. Это значение характеризуется достаточно широкой внутрисловной сочетаемостью: в качестве мотивирующих единиц могут выступать имена как с предметным, так и с отвлеченным значением, включающим компоненты «размер», «градулируемый признак». Это значение выражается как конструктивно связанное, структурную завершенность конструкции придает и определенный тип интонации. Место бытования таких конструкций, как и вообще реализации этого значения, – экспрессивные и императивные первичные жанры разговорной речи, которые в художественной речи появляются в варианте явного или скрытого цитирования.

Эмоционально-оценочное ядро семантики демиинутива в условиях взаимодействия с разными типами контекстов, в различных условиях коммуникации может порождать ряд дополнительных прагматических смыслов, таких как «хороший + нужный», «хороший + близкий, свой» и др.

Волевой фон деминутива имплицативен. Он следствие положительной эмоциональной заряженности, создающей благоприятную основу для волевого воздействия. Актуализация волевого потенциала деминутива осуществляется в особых жанровых условиях, и прежде всего в первичных жанрах обыденной речи – жанрах просьбы, угощения, в разговорах с детьми и о детях, о животных.

Эмоционально-волевые смыслы имеют тенденцию распространять сферу референции, сферу смыслового отнесения на другие денотаты по принципу метонимической связи, на описываемую ситуацию в целом и, более того, на целостную коммуникативную ситуацию. Имея достаточно жесткие жанровые и стилевые ограничения на реализацию, эмоционально-волевые смыслы наименее избирательны по отношению к семантическим характеристикам производящей основы, это контекстные и конситуативные реализации.

2. Несмотря на наличие денотативных оснований для реализации «чистого» размерного значения, в деминутивах, именующих человека, этот смысл при своем проявлении обычно осложняется другими типами объективной параметризации и субъективными смыслами. Своеобразие реализации суффиксальной деминутивной семантики в сочетании с производящим значением **имен лица** определяется значительным семантическим и функциональным своеобразием имен этого класса лексики. В пределах класса имен лица выделяются подгруппы, проявляющие направленность к денотативному, идентифицирующему центру, и имена с предикативно ориентированной семантикой. В именах, называющих класс людей по общности предметных, биологических признаков – расовых, половых, возрастных (*негр, мужик, баба, женщина, старик*), компоненты семантики, называющие предметные признаки, являются ядерными, очерчивая границы класса, относимого к данному имени. При этом каждый из классов характеризуется набором имплицативных относительных функциональных признаков, способных актуализироваться в определенных контекстах (типа "*он настоящий мужчина*"), в производных качественных прилагательных и наречиях (*юношеский румянец, постариковски*) и других подобных типах функционирования. На противоположном полюсе стоят имена-характеристики, актуаль-

ные имена: *храбрец, всадник, лентяй*, – проявляющие малую активность в образовании деминутивных производных: коммуникативной активности этого типа деривации препятствует слабая определенность денотативного компонента. Срединное положение занимают имена социальных статусов, функций, идентифицирующие человека в контексте жизни, вследствие чего их семантика наполняется различного рода предметными ассоциациями, актуализируемыми в высказываниях типа *Она похожа на сельскую учительницу, он – на столичного профессора*, производных прилагательных, наречиях, глаголах: *учительский взгляд, гусарить, по-солдатски*. В целом имена, имеющие определенные предметные ассоциации, более активны в деминутивном словообразовании.

Денотативные и сигнификативные семы исходной семантики дают различное направление конкретизации смысла «меньше нормы» деминутивного суффикса. Актуализация производящей денотативной семантики определяет конкретизацию нормативного компонента в варианте «меньше нормы по размеру»: *солдатик, человечек, мужичок*. Эта семантика имплицитно в зависимости от конкретного типа мотивирующего значения (ср. *мужик* vs *мальчик*), внешнего контекста и конситуации ряд эмоциональных компонентов от «ласкательное», «умилительное» до «пренебрежительное», «снисходительное», последние связываются с разочарованием в эстетических и ситуативно предъявляемых прагматических устремлениях говорящего, ср.: *Это и есть фокусы/ а он пишет/ все время/ а вот человек/ который с ним общался/ он говорит/ я не фокусник/ я не показываю никаких фокусов/ кстати говоря/ он тщедушный человек/ тщедушный/ понимаешь! (PPPT)¹*. Имена-функции также способны к актуализации размерно-оценочного компонента, создавая производные со значением «меньше нормы по размеру» с различными рационально-оценочными и эмоциональными импликациями: *Этот ветеран моды, этот леденцовый солдатик Истории, почему-то так и не рассосавшийся на ее языке, обозначал ее позавчерашний вкус (Битов)*. *Солдатик* в данном контексте и маленький ростом человек, и несерьезный, несостоятельный борец – *леденцовый*, т. е. денотативные смыслы

¹ PPPT – Русская разговорная речь: Тексты. М., 1989.

денотативные смыслы активно взаимодействуют с сигнификативными, *солдатик* – человек, проявляющий отклонение от нормы в стандарте роста и в выполнении социальной функции, ср. также: *докторшишко* – это плохой доктор, но, возможно, и невысокий, щуплый, не соответствующий стандарту «настоящего мужчины».

В определенных коммуникативных ситуациях человек выступает как объект комплексной оценки по совокупности оснований, не всегда четко отграничиваемых. При этом суффикс может контекстно «заряжаться» отрицательной семантикой значительной интенсивности. Деминутив, характеризуя человека, выступает как средство маркирования отклонения от нормы по ряду признаков, формирующих социальный нормативный стандарт, например стандарт «настоящего мужчины» или «настоящей женщины». Основания оценки могут быть частично маркированы в тексте, но практически всегда – лишь частично: *Бригадир иштукатуров Семен Хлыстов, ушловатый мужичишка со странным затаенным взглядом на асимметричном лице, написал куда-то письмо (Приставкин)*. Деминутив становится средством выражения общей отрицательной оценки именуемого, используя именно с таковой прагматической функцией: *Приглашая его, Диккенс сказал: только без своей бабенки, – он не любил Фаину, и только ему Лева прощал это (Битов)* – основания нелюбви так же трудно переводимы в логический ряд, как и любви.

Речевые жанры экспрессивного и императивного циклов предъявляют еще меньше требований к ясности семантических (денотативных) оснований положительной эмоциональности, что проявляется особенно ярко в позиции обращения, ср., например: *Ну, мужички, – произнесла, присев, – под горяченькое выпьете, или хватит? (Приставкин)*.

3. Производные от имен со значением процесса, признака, состояния – смысловая база для конкретизации ядерного компонента «меньше нормы» в варианте «меньше нормы по степени интенсивности проявления»: *В палисадниках цветет сирень, белые бабочки, несмотря на утренний холодок, летают там и сям, будто в деревенском саду (Набоков)*; *Все было, как в первый раз: фонарик, продолговатый луиниевский глаз, ветерок, темнота, потом очаровательное движение руки, открывающей рыском портьеру (Набоков)*. Это же значение деминутивов реализуется в

производных с метафорическим значением: *Мысль эту ты уже думал не лоя – тут вдруг, ветерком, поймал – никогда больше не подумать (Битов)*. Рационально-оценочное значение и в этом контекстно обусловленном варианте легко имплицитно эмоциональный заряд под воздействием соответствующей эмоциональной окрашенности контекста: *В один прекрасный осенний день, когда проглянуло солнышко и ветерком подсушило грязь в городке, к дому Григория Афанасьевича пришла делегация (Приставкин)*.

По отношению к процессам и результатам психической и интеллектуальной деятельности человека смысл "меньше нормы" трансформируется в "не имеющий значительной социальной значимости". Рационально-оценочное содержание в различных коммуникативных ситуациях может соединяться с эмоциональной семантикой широкого спектра от "маленький, незначительный, но мой, близкий и потому хороший" (*Я себя низко не ставлю. Я себя знаешь как ставлю, как, скажем, птичку все равно. Все мы можем без птиц прожить, они нам хлеб не сеют. Но с птицами-то лучше, правда? Вон песенки поют. С них и довольно. – Но ты же дело делаешь? – Это моя песенка и есть (Приставкин)*) до пренебрежительного (*Конечно, случалось, что и соперницы сводили на стенке (для объявлений) свои счета и пускали слушок о чьей-нибудь измене (Приставкин)*). Контекст может выявлять сложность оценочных смыслов, формируемых деминутивом: *После этого разговора и зародилась у Шохова мыслишка написать кому-нибудь из бывших приятелей, чтобы выяснить жилье на дальних крупных стройках (Приставкин)*. В данном фрагменте семантика "уничижительности" основного, внеконтекстного значения лексемы соединяется с контекстно формируемым и эмоциональными компонентами – «свой», «правильный», потому – «хороший». В случаях контекстной сочетаемости с производящим, включающим смысл отклонения от нормы в отрицательную сторону, деминутивный суффикс вносит значение смягчения, уменьшения и отрицательной оценки: *А то еще преснина есть, пресняк болотный (восемьдесят кругов), а то еще прозванный, это который из лучшего, но с брачком... (Приставкин)*.

4. Мотивирующая семантика времени дает свой спектр конкретизации суффиксального значения. Сфера активных деривационных отношений – производящие имена со значением малых

отрезков времени: *секунда, минута, час, день, неделя, месяц, год*. Эти лексемы имеют значения единиц измерения и периодов времени, соответствующих данным единицам, вследствие этого собственно уменьшительная семантика реализоваться не может, так как нет семантического основания в производящей семантике – признака градуальности (*минутка* *«маленькая минута», «меньше минуты»). Идея малого, «меньше нормы», ядерная в смысловом поле деминутивного суффикса, трансформируется в условиях сочетания со значением временного отрезка в экспрессивный компонент «всего лишь», либо усиливающий идею маленького отрезка времени, заложенную в именах типа *секунда, минута*, либо «наводя» ее, формируя это значение в производных *годик, годок* и под., в высказываниях *Приезжай хоть на денек, на недельку; Остаься на годик, осмотрись* и под. Говорящий называет отрезок времени, подчеркивает, что считает его незначительным, и побуждает слушающего принять его точку зрения. Это единицы с ярко выраженной волевой интенцией, они неотделимы от побудительных контекстов. Их употребление часто вызвано потребностью воздействия на эмоциональную сферу слушающего, а через нее – на волевою. Вследствие этого производные такого типа функционируют в стилях речи, предполагающих функцию непосредственного воздействия на эмоциональную и волевою сферы, и прежде всего – в разговорной и художественной речи. Открытая волевая направленность таких производных свидетельствует об их жанровой прикреплённости к сфере первичных речевых жанров с непосредственным контактом говорящего и слушающего: *Давай уедем на недельку в деревню, отдохнем; Жень, можно я часик погуляю?* В императивных речевых жанрах волевой компонент выдвигается на первый план, в первичных речевых жанрах повествовательного цикла этот компонент периферичен: *На секундочку меня озарило: так о нелюбимых не говорят! Так говорят о любимых: о тщетно, о прежде любимых! (Цветаева); Но, Марина, представь себе, что я была бы Бог... Нет, не так: что вместо меня бы Бог держал часы и забыл бы перевернуть. Ну, задумался на секундочку – и – кончено время (Цветаева).*

В художественной речи сфера активного функционирования деминутивов с семантикой времени – художественно трансформированные первичные речевые жанры: *«А ты еще говоришь о*

*браке, – сказал Горн, идя за ней вниз по лестнице. – Никогда он не женится. Поедем ко мне, ну на **полчасика**» (Набоков). В повествовательных фрагментах деминутив с временным значением может быть сигналом скрытого цитирования: *К трем часам ночи сон окончательно сморил всех, но страх проспать почему-то проходит, и все решают **придечь на часок**, надеясь на внутренний будильник (Битов).**

Значение "всего лишь", "очень недолго" может реализоваться и в неспециализированных синтаксических грамматических конструкциях. Значимым для актуализации данного типа значения деминутива в таком случае будет лексическое окружение, смысл контекста в целом: *Но вы знаете, Марина, (таинственно), нет такой стены, которую я бы не пробрала! Ведь и Юрочка... **минуточками...** у него почти любящие глаза! (Цветаяева).*

Обычно же это значение реализуется как конструктивно связанное значение с тенденцией к переходу в устойчивые сочетания: «на + (осн. сущ. + демин. суф.) + вин. пад.» (*на денек, на часок*); «ни + (осн. сущ. + демин. суф.) + род. пад.» (*ни минутки, ни секундочки*); экспрессивность может усиливаться частицами, например: *ну, на минуточку; ну, ни секундочки* и т.д.

Экспрессивное («всего лишь») и эмоциональное значения характеризуются дополнительной дистрибуцией, никогда не реализуются в одном лексическом и синтаксическом окружении, ср. приведенные выше фрагменты и следующий: *У нас пиццалки и флажки, мы поем очень уверенно, все слишком озарено – **денек** с утра выдался, смущаемся за себя про себя... (Битов).*

Эмоциональный компонент лексического значения не имеет четко выраженного денотативного основания. Основанием положительной оценки нередко является соответствие ситуативным представлениям о хорошем, о соответствии норме или ее превышении по отношению к событийному наполнению данного временного отрезка: *хороший день* – успешный, хорошая погода, встреча с приятным человеком и т.д.

Третий тип реализации суффиксального значения в сочетании с мотивирующей семантикой времени жанрово ограничен. Суффикс актуализирует сему ласкательности, но деминутив выступает в этом случае транслятором положительного эмоционального отношения либо к слушающему, либо к третьему лицу, например

в разговорах о детях и с детьми: *Сколько нам годиков? Сколько Алеше годиков? Нам уже две недельки на улице гулять можно.* В жанрах вежливого приглашения положительный эмоциональный фон является основой волевого воздействия на собеседников через деминутивы, производные от всех тематических групп. Широта внутрисловной контекстной сочетаемости деминутивного суффикса в этой функции обратно пропорциональна жанровой и стилевой употребительности производных деминутивов.

5. Запрет на реализацию собственно размерного суффиксального значения дает лексико-грамматическая **семантика вещественности**. В разговорной речи и художественных текстах отмечается два основных типа функциональной конкретизации деминутивного суффикса: 1) эмоциональное значение; 2) экспрессивное значение, часто в сочетании с эмоциональной окрашенностью. Экспрессивное значение «только лишь», «всего лишь» касается ограничения набора объектов (*только молочка и попил*) и количества данного объекта (*вытей молочка* – «немного»).

Эмоциональное значение ласкательности возникает на основе «вынесения приговора» о соответствии объекта стандарту, норме, и его превышении; объективные основания оценки вариативны, ср.: *Хороший у тебя чаяк получился!* – основания положительной оценки могут варьироваться от субъекта к субъекту и от ситуации к ситуации. Эмоциональное отношение может иметь косвенную референцию, деминутив при этом используется с целью создания положительного эмоционального фона коммуникации. Как отмечалось, такое использование реализуется в двух разновидностях: с актуализацией волитивного модуса – в жанрах просьб, приглашений и под. – и с периферийным волитивным модусом – в повествовательных речевых жанрах, адресатно и тематически ограниченных, это прежде всего разговоры с детьми и о детях, с больными. Ср. примеры такого функционирования деминутивов в разговорной речи: *Давай нальем эту водичку (настояй репейника)! А Тебе налить?; Ну, иди (есть)! Слышишь /пошли/ творожок там тебе/ яичко/; Кира! иди кушать, бери Буратинку // (ребенок приходит) Ты любишь Буратинка блинки? Спроси его/ со сметанкой блинки/ (PPPT).*

Использование таких деминутивов в художественных текстах не в диалогах персонажей – прием скрытого цитирования для вос-

создания эмоционального фона, свойственного конситуациям первичного употребления, ср.: *Так он слушал недолго, цураясь лишь из манеры, и не проявив отношения к сказанному, вдруг резко поворачивался, тоже, впрочем, лишь из манеры, и уходил к себе в кабинет покурить табачок, попивать чаек* (Битов).

6. При анализе смыслового и функционального варьирования деминутивных суффиксов, сочетающихся с разными семантическими типами производящих основ, выявляются значения и функции, проявляющие минимальную зависимость от типа производящих основ, но реализующихся либо в особом лексическом и синтаксическом окружении, либо в особых коммуникативных ситуациях. В таком функционировании словообразовательная модель выступает либо как составная часть синтаксической конструкции, обладающей относительно целостным значением, либо как один из жанро- и стилеобразующих элементов, также встраивающийся, комбинируясь с элементами других языковых уровней, в своеобразный формально-семантический каркас, остов жанра или стиля.

В целом можно утверждать, что внутрисловный контекст определяет вариацию только рационально-оценочного компонента семантики суффикса, все прочие смыслы и функции проявляются в условиях воздействия элементов внешнего контекста, в том числе весь спектр эмоционально-оценочной семантики, экспрессивные смыслы, коммуникативные функции. Именно деминутивное словообразование выявляет "неокончателность" слова в действующем механизме языка, тот факт, что слово образуется для встраивания в текст с определенным целостным смыслом, определенной синтаксической организацией. Модели деминутивного словообразования характеризуются как синтаксически и текстово открытые. Не случайно так долго дискутировался вопрос об отнесенности этих моделей к морфологии или словообразованию. По типу функционирования они приближаются к грамматическим средствам языка. Деминутивное слово создается при построении определенной синтаксической конструкции как ее составная часть в ответ на определенный коммуникативный запрос.

Вариации эмоционального содержания деминутива в аспекте текстовых зависимостей могут быть интерпретированы как лексико-семантически обусловленные: конкретная реализация эмоцио-

нально-оценочных смыслов зависит от эмоциональной окрашенности лексем ближайшего окружения и эмотивной направленности текста как целостной единицы¹.

Отсутствие эмоционально-оценочной функциональной направленности деминутива можно ожидать не только в условиях оценочно нейтрального лексического окружения, но и при общей информативной направленности текста. Границы текста как целостности определяются в том числе и переключением эмоциональных регистров речи, сменой типов эмоциональной оценки говорящим денотативной ситуации в информативных первичных речевых жанрах, типа эмоциональной и волевой интенции говорящего в коммуникативных ситуациях в императивных и экспрессивных первичных речевых жанрах. В художественной речи знаками переключения является смена объекта отражения, образов говорящего (повествователя) в пределах произведения, эмоциональных состояний повествователя, смена его эмоционального отношения к одному объекту.

Эмоциональное отношение говорящего (в художественном тексте – повествователя) к объекту именованного – сильнейший фактор, определяющий реализацию эмоционального потенциала деминутива. При общем положительном отношении говорящего к объекту смысл деминутива естественно интерпретируется как имеющий положительную эмоциональную направленность и без «поддержки» эмоционально окрашенным лексическим окружением. Так, в повести А. Приставкина «Городок» все, что имеет отношение к создаваемому герою дому, оценивается положительно, что в тексте представлено через насыщение описания деминутивными формами. Использование деминутивных производных при отрицательном эмоциональном отношении говорящего к референту, описываемой ситуации возможно в двух вариантах: 1) в условиях маркирования контекстным окружением; 2) в условиях нейтрального или эмоционально положительно окрашенного лексического окружения. В первом случае деминутив как бы «заряжается» эмоциональным фоном контекста, в его эмоциональное содержание имплицитно включаются смыслы отрицательной рациональ-

¹ См. об этом: *Виноградова В.Н.* Стилистический аспект русского словообразования. М., 1984. С. 80.

ной оценки лексем ближайшего окружения, в результате чего происходит переключение эмоционального заряда суффикса с положительного на отрицательный. Так, в приведенных выше контекстах ухмыляющееся *личико* Митишатъева сравнивается с *детским нематым кулачком*; смысл «маленький», поддерживаемый контекстным сравнением с детским кулачком, оказывается окруженным совокупностью отрицательных оценочных смыслов.

В условиях нейтрального лексического окружения проявляется, на наш взгляд, изначальная потенциальная направленность большинства деминутивных суффиксов на выражение смыслов положительного эмоционального заряда. Контекстные смыслы рождаются именно на столкновении прямого прочтения деминутива как слова с семантикой «ласкательности» и отрицательного эмоционального фона всего контекста в целом. В результате на столкновении подразумеваемого и выраженного в деминутиве возникает ирония. Так, деминутивы в приведенных ниже фрагментах из повести А. Приставкина «Городок» используются для выражения иронического взгляда персонажей, Григория и Сеньки (противостояние которых – одна из сюжетных линий повести), друг на друга: *[Григорий] лишь вприщур посмотрел на Сеньку. В костюмчике, видать с работы. Сумочка хозяйственная в руках; (2) Так ведь я, Григорий Афанасьевич, раньше вас сюда прибыл... А осенью-то гляжу, в голубой куртке Григорий Афанасьевич объявился. С чемоданчиком, модный такой.* Формируемый в этих контекстах иронический смысл «ишь ты» рождается в столкновении семантики положительной эмоциональной оценочности, выражаемой деминутивом, с семантикой контекста.

Разные типы функциональной направленности языковых средств, своеобразная организация коммуникативного акта в различных функциональных стилях литературного языка либо создают запрет на реализацию эмоционально-экспрессивной семантики и ряда коммуникативных функций, либо открывают возможность для их вариативного проявления. Формально-смысловые структуры ряда первичных речевых жанров (жанры вежливого приглашения, просьбы, совета) являются непосредственными условиями реализации особых типов оценочного функционирования деминутива, например выражения им оценки с косвенной референтной отнесенностью.

7. На семантической основе эмоционально-оценочных компонентов базируется функционирование деминутивов с экспрессивной направленностью. «Усилительные» смыслы выявляются как составная часть определенной синтаксической конструкции, характеризующейся в ряде случаев также и лексической ограниченностью. Деминутивная словообразовательная модель в таком употреблении – один из элементов синтаксической конструкции, смысл деминутива интерпретируется также как составная часть целостного смысла конструкции.

Оценочное значение «меньше нормы», «маленький» реализуется в экспрессивном варианте «самый маленький» в ряде конструкций. В сочетании с числительным *один* выявляется значение «всего лишь один, самый маленький»: *Был у него один **вопросик** к Риточке, он так и вертелся у него на языке (Приставкин)* – в приведенном контексте в соединении с производящей семантикой ментального продукта значение конкретизируется в варианте «всего лишь один, самый незначительный вопрос». Ср. возможные вариации оценочно-нормативного плана в экспрессивных выражениях: *одно деревце за всю жизнь посадил; одной кашки утром поел*. В соединении с ограничительными частицами *только, только лишь* выражается значение «только лишь самый маленький» «*Только минутку* посидел и убежал, никто его больше не видел (PPP)¹»; в соединении с мотивирующей семантикой времени деминутивный суффикс является средством экспрессивного усиления смысла субъективной оценки такого отрезка времени как незначительного. Обозначение отклонения от социальной нормы, отражаемого в высказываниях поступка, можно увидеть в употреблении: *лишь водички попил; лишь бутербродик съел*; деминутив в данных позициях не только усиливает значение отклонения от нормы типичного поведения, но эксплицирует смысл эмотивного отношения к субъекту именуемого действия, отношения эмпатии, сочувствия. В конструкциях с отрицанием в предикате и усилительной частицей *ни* выражается значение «нет ни одного даже самого маленького»: *И она, его родная Томочка, ни словечка не молвила по поводу его отъезда (Приставкин)*; ср. также: *пустыня там голая, ни травинки, ни лесники; ни минутки не поси-*

¹ PPP – русская разговорная речь, фрагменты текстов из картотеки автора.

дит, сразу убегает. В конструкциях с прилагательными, включающими семы ограниченности: *каждый, последний, всякий* деминутив участвует в создании значения "каждый, последний, самый и т.д. даже самый маленький": *Сам удивился невесть откуда взявшейся прыти, что гоняет каждую свободную минутку от новостройки к дому и обратно (Приставкин),* ср. также: *...каждый звук раздавался в мире небесным грохотом; ...заповедник, последний очажок, сопротивляющийся прогрессу (Битов).*

Мотивирующая семантика может препятствовать прочтению производного значения в варианте «маленький», «меньше нормы» по отношению к референту имени. Оценочная семантика деминутива в данном случае прочитывается как реализованная с косвенной референтной отнесенностью, при этом рационально-оценочный смысл относим прежде всего к обозначенной в высказывании ситуации в целом (*только (одной) каши поел, одну девчоночку за всю недолгую жизнь любил*), эмоционально-оценочные смыслы, также распространяясь на ситуацию в целом, фокусируются на субъекте ситуации.

Деминутивная модель выступает как одно из формальных средств экспрессивного синтаксиса, сочетаясь с другими элементами, прежде всего частицами, местоимениями во вторичных модальных значениях. Суффикс, входя в смысловое согласование с другими элементами экспрессивной конструкции, выступает как средство формирования оценки отражаемой ситуации в целом, что происходит через посредство усиления, интенсификации признака, увеличения интенсивности переживаемой эмоции по поводу отклонения от нормы обозначенной в высказывании ситуации. При этом направленность отклонения от нормы (+, -), самое содержание признака, относительно которого фиксируется отклонение от нормы, может быть самым различным.

Смысловому разнообразию соответствует разнообразие эмоциональной окрашенности. При этом завершающим, конструктивно определяющим является и тип интонации. Вне определенной интонации конструкция прочитывается как экспрессивная, с эмотивной направленностью, конкретное содержание эмоции, в том числе ее принадлежность к отрицательному или положительному спектру, окончательно оформляется только в интонировании

(в письменном тексте конкретное содержание эмоции может быть интерпретировано только на фоне широкого контекста). Так, например, в высказывании *Ну и статейка у тебя получилась* основанием оценки могут быть разные параметры: длинная/короткая, содержательная/пустая, острая, обличительная/«беззубая». Деминутивное словообразование включается в построение экспрессивных конструкций с разнонаправленным аксиологическим содержанием. Ядро первой составляют частица *ну* и союз *и* в усиленном значении в сочетании с деминутивным производным: *Ну и носик!*; *Ну и деревце!*; *Ну и статейка!*; *Ну и времечко*; *Ну и статейку ты написал!*; *Ну и кашку ты сегодня приготовила!* Вторую конструкцию составляют союз *а* в соединении с деминутивным производным и частицей *то*: *А носик-то!*; *А деревце-то!*; *А времечко-то было!*). Вариантная конструкция с именем без деминутивного суффикса характеризуется меньшей сложностью выражаемого спектра эмоционально-оценочных смыслов: *Ну и нос!*; *Ну и статья!*; *Ну и кашу ты сегодня сварила!*

Усиливает экспрессивный смысл высказывания и сочетание местоимения *такой* в усиленном значении с деминутивом: *И такую пыточку испытал Лева! (Битов)*; *И такой дымок шел от костра, что уйти было решительно невозможно" (PPP)*; *Что ж делать, в такое времечко живем! (PPP)*.

В приведенных выше конструкциях деминутивный суффикс может быть охарактеризован как имеющий сложную референтную отнесенность, участвуя в выражении смысла отклонения от нормы признака, состояния, нормы предмета, обозначенного в имени, и передачи эмоционального отношения говорящего к факту такого несоответствия норме, особого личностного переживания. Ранее была отмечена возможность косвенной референции эмоциональных компонентов смысла деминутива. Экспрессивный потенциал деминутивного суффикса также может реализоваться с косвенной референтной отнесенностью: Деминутивная форма имени может выступать средством усиления экспрессии, возникающей как личностное переживание степени отклонения от нормы, стандарта действия, выраженного в предикате высказывания. Так, во фрагменте *Была она [Нелька], как всегда, не в меру болтлива и многословна, но вот синячки все же углядел у нее Шохов и сообразил, откуда они взялись (Приставкин)* значение деминутива

может быть интерпретировано только в сочетании со смыслом предиката. В семантике предиката *углядеть* "всматриваясь, увидеть, заметить" содержится смысл отклонения от нормы действия *видеть* и связанный с ним смысл преодоления препятствия, требующего дополнительных усилий, контекстно это значение усиливается частицей *все же*, встраиванием смыслов в противительную конструкцию, значение деминутива согласуется с этими смыслами и усиливает их. В данном случае мы наблюдаем сложное сочетание смыслов прямой референтной отнесенности – «меньше нормы проявления» относим к референту *синяки* – *синячки* и косвенной – усиливающий смысл отклонения от нормы действия, выраженного предикатом. Смысловая неоднозначность деминутива формируется и насаиванием эмоциональных смыслов, выражаемых уменьшительной формой, потенциально «заряженной» смыслом положительного эмоционального отношения, и эмоционально-оценочным смыслом, формируемым в рамках широкого контекста.

Условием реализации экспрессивной функции деминутива с косвенной референтной отнесенностью является наличие признака градуальности в предикате, предикативной группе в целом. Так, в следующем высказывании деминутив *рулеточкой* усиливает смысл отклонения от нормы действий, описываемых в высказывании: *Некоторые, самые нахальные, все осмотрели, ощупали руками, а кое-кто и пальцами измерил, а то и рулеточкой, которая у хорошего хозяина всегда найдется (Приставкин)*. Экспрессивно-оценочный смысл деминутива реализуется в контексте предикатов, организованных в смысловом пространстве высказывания по принципу градации, в составе противительной синтаксической конструкции и экспрессивного сочетания *а то и*. Содержание рациональной оценки выявляется прежде всего по отношению к ситуации, описанной в ряде предикатов, деминутив служит средством эмоционального усиления рациональной оценки, актуализируя потенциально заложенные в нем компоненты положительной эмоции, которая транслируется на ситуации через посредство обозначения одного из предметов, в нее включенного. Тип интонации и в этом случае является составным элементом конструкции с различительной функцией. Например, в высказываниях *А глазки-то у нее заплаканные; В костюмчики все повы-*

рядились, шляпы *понадевали* деминутив реализует в качестве ядерного смысла либо эмоционально-оценочный, либо экспрессивно-оценочный компонент в зависимости от его нахождения в конструкциях с разным типом интонации. В высказывании с логическим ударением на деминутиве реализуется смысл эмоциональной оценки «ласкательное» (*глазки*), «положительное эмоциональное отношение» (*костюмчики*). В варианте конструкций с логическим ударением на предикате деминутив выступает как средство усиления экспрессивности высказывания, согласуя свой экспрессивный потенциал с экспрессивно-оценочным смыслом предиката (*понадевали*, *повырядились*). Во втором высказывании смысл суффикса усиливает эксплицитную выразительность глагольных полипрефиксальных форм, в первом – выявляет скрытую экспрессивность предиката. Деминутив маркирует своей формой небезразличное отношение говорящего к ситуации, его эмоционально напряженное отношение к факту.

8. Еще одно направление функционального расширения основного корпуса деминутивных словообразовательных значений – их способность выступать в качестве одного из формальных средств выражения значения свойственности – естественно вытекает из значения положительной оценки. Функциональная динамика смысла здесь такова: «свой → хороший»; «свой + нужный → хороший»; «свой + полезный → хороший». По утверждению А.Б. Пеньковского, выдвинувшего гипотезу о существовании в русском языке этой семантической категории, она есть языковое отражение «фундаментального семиотического принципа членения универсума на два мира – «свой» и «чужой», интерпретируемых в аксиологическом плане в виде оппозиции «хороший» – «плохой»¹. Так, в повести А. Приставкина «Городок» герой, являя собой тип «архаического» человека, стремится создать овеществленный «свой», воплощенный в Доме, мир, мир-убежище, противопоставленный миру-стихии, чуждому миру. Все, что входит в этот мир, в устремлениях и реализации, именуется в повести с помощью деминутивных суффиксальных производных: это сам дом от крыльца до флюгера, от очага до дыма, выходящего из очага; развора-

¹ Пеньковский А.В. О семантической категории «чуждости» в русском языке // Проблемы структурной лингвистики. 1985–1987. М., 1989.

чиваясь в пространстве, этот мир включает двор с растениями, домашними животными, постройками: *Но ведь ещё существует жизнь и вне стихии, и тогда как лучше-то жить? А вот в домишке своем можно и подвальчик поглубже от той же стихии вырыть, чтобы голову бедовую туда сунуть; Шохов... сосредоточился на делах будущего дома. Сперва почему-то пришла на ум банька, такая по-черному банька, с полками да липким веничком из березы; ...[Шохов] обрисовал совместное их житье-бытье в пятистенке, где у каждого будет свое крылечко, и своя верандочка, и свой огородик; Но ведь представь себе, как это получается: выйдешь после работы, а тут и грядочки, и деревца, и собачка твоя, и всякая мелкая живность, и даже воробьи...; Всюду было видно, как закручивается над трубой серый дымок и, чуть согнувшись под ветерком, рассеивается метелкой в просторном небе... Теперь с облегченной душой он смог из жести решеточку вырезать, а на одну ее сторону флюгерок в виде петушка...; Сразу задумал Шохов и деревья посадить. Без садика, без рябинки нет и не будет такого прелестного вида на дом; И все же... Все же, ночуя в избушке, Шохов как бы и за своим родным местечком приглядывал, тут, рядом оно, на глазах!*

Как отмечает Ю.Д. Апресян, моделируя на основе анализа употребления местоимений ты/вы в русском языке понятие личной сферы говорящего, понятия, на наш взгляд, соотносимого с категорией свойственности, «в эту сферу входит сам говорящий и все, что ему близко физически, эмоционально или интеллектуально... Личная сфера говорящего подвижна, она может включать больше или меньше объектов в зависимости от ситуации»¹. В «свой» мир входит не только вещный мир, мир предметных сущностей, но и мир событий, временных отрезков, заполненных действиями субъекта и потому вошедших в его личную сферу. «Свой» мир предстает не только как мир, в котором комфортно в силу его освоенности, но и как полезный, нужный и потому положительно оцениваемый. Так, в следующем фрагменте *коечка* – предмет из личной сферы субъекта, приносящий ему пользу, выгоду. В этом фрагменте очевидно функциональное пересечение

¹ Апресян Ю.Д. Дейксис в лексике и грамматике и наивная модель мира // Семиотика и информатика. М., 1986. Вып. 28. С. 27–28.

значений определенности и свойственности: *кочка* – своя, одна, выделенная из ряда общежитских спальных мест: *Многие из числившихся [жильцов общежития] ночевали у родителей, у приятелей, но чаще у женщин. Кочку берегли на случай, если понадобится справка на очередь для получения квартиры (Приставкин)*. Также в следующих фрагментах *дельце*, *халтурка* – события, в которых принимает участие говорящий с пользой для себя, *денежки* – то, что необходимо, обладание ими желаемо и чревато пользой; *времечко* также освоено героем, обитая в нем, он использует его для себя: *А тут дельце подвернулось, – говорил он, оглядываясь и тоже придвигая к себе чурбачок. Я пару домиков воздвиг, может видел, халтурка выгодная; А для такого крупного дела и подготовительный период – строители знают, что это такое, – должен быть достаточным. Времечко, словом, нужно, чтобы денюжат поднакопить, все вывести, разведать (Приставкин)*.

Интересная интерпретация в аспекте категории свойственности универсальных понятий смерти и жизни, горя и радости в народном сознании представлена в работах Р.Н. Порядиной. Анализируя тексты типа «*Много, миленька, горечка видели*», «*Смертечки нету и живота нету. Годы мои ушли*» (Том.), автор отмечает: «В относительно замкнутом локальном и социальном пространстве мир человеком воспринимается непосредственно, то есть прямым образом соотносясь с личным «я», где общественное включено в личную сферу человека... [жизнь и смерть, радость и горе] ими воспринимаются как данность, как то, чему должно быть, сбыться, и это воспринимается как желаемое»¹.

Представляется, что при интерпретации ряда случаев «остающейся загадочной», по мнению А.Б. Пеньковского, позиции «специализированного знака отчуждения» частицы *там* в сочинительном ряду однородных членов»², необходимо учитывать наличие в тексте деминутивных форм как маркеров противопоставленного

¹ *Порядина Р.Н.* Оценочный синкретизм деминутивного суффикса (фрагмент языковой картины мира среднеобского говора) // *Культура отечества: прошлое, настоящее, будущее.* Томск, 1996.

² *Пеньковский А.В.* О семантической категории "чуждости" в русском языке. С. 80.

категориального значения свойственности. Значение свойственности с осложнением эмоциональной семантикой, выраженное деминутивным суффиксом, в сочетании с компонентами текста, имеющими противоположную категориальную направленность, может не зачеркиваться, не подавляться более сильным средством, но вступать с ним в смысловое взаимодействие, создавая высказывания со сложной модусной перспективой. В приведенном ниже фрагменте, анализируемом в работе А.Б. Пеньковского, частица *там* представляет интерпретируемую ситуацию как чуждую, отрицательно оцениваемую говорящим (первая модусная перспектива). Этой интерпретации противопоставлена оценка этой же ситуации контрагентом (в анализируемом примере это домашние) как освоенной, близкой, нужной, положительно оцениваемой (вторая модусная перспектива). Драма мнений и оценок представлена столкновением двух интерпретаций одного ряда предметов говорящим и лицами из описываемой ситуации: *Перед поездкой в Швейцарию... домашние забросали заказами. **Кофточки там, пиджачки, брючки, туфельки...** (Солоухин).* Мы рассматриваем такие конструкции как один из видов непрямого, косвенного цитирования. Автор приводит мнение домашних о предметах как нужных, желаемых, обрамляя это видение собственной оценкой отрицания и отчуждения. Контексты типа *Не люблю я эти **котлетки!***; *Не буду есть я ваши **бутербродик!***; *Не буду носить я эти их **блузочки-юбочки!*** также представляют собой высказывания с двойной модусной перспективой. Говорящий цитирует адресата или третье лицо с выраженным положительным отношением к предметам (с помощью деминутивных производных) и отчуждает с использованием местоимений в отчуждающе-уничижительном значении. «В представлении современной лингвистики, испытывающей влияние идей М.М. Бахтина и его последователей, реальная речь (дискурс), – отмечает С.Л. Сахо, – всегда наполнена чужими голосами, то есть суждениями, оценками и наименованиями, не принадлежащими непосредственно автору речи»¹. Деминутивные суффиксы в подобных структурах интерпретируются

¹ Сахо С.Л. «Свое»–«чужое» в концептуальных структурах // Логический анализ языка: Культурные концепты. М., 1991. С. 100.

нами как одно из средств формирования оценочного полифонизма речевого сообщения.

Суффиксы с уменьшительно-уничижительным значением (*-ушк(a)*, *-онк(a)*) входят в ряд средств выражения значения чуждости, часто в сочетании с местоимениями *какой-то*, *какой-нибудь* в пейоративно-отчуждающей функции: *Лежит на диване целыми днями, все какие-то газетенки, книжонки непонятные изучает (PPP)*; *Уехал в деревню, поселился у какой-то бабенки (PPP)*. Имена, построенные по словообразовательным моделям с этими суффиксами, широко используются в просторечии и диалектной речи как средства нарочитого отчуждения «своего» мира. Предметы не только материального, но и идеального мира, включенные в личную сферу, осознаваемые как «свое», «дорогое», «нужное», уничижаются и отчуждаются. Можно выделить, по крайней мере, два коммуникативно оправданных мотива использования таких форм. В первом случае доминирует своеобразная «охранительная» направленность коммуникации. Охранительная (по определению Г.В. Калиткиной, табу-функция, Р.Н. Порядиной – магическая)¹ функция реализуется в коммуникации, когда говорящий строит свою речь не только с ориентацией на слушающего, непосредственного адресата речи, но и учитывает наличие, восприятие его речи третьим лицом, присутствующим при акте общения. О наличии языковых показателей ориентации речи на третье лицо (присутствующего) писали Т.Г. Кларк и Т.Б. Карлсон, отмечая такую ориентацию в качестве особой формы побочной адресации речи, «когда прямые иллокутивные акты исключаются как табуированные»². В данном случае мы наблюдаем один из вариантов косвенного речевого акта, ориентированного на восприятие не только непосредственным адресатом, но и третьим лицом, принадлежащим высшим силам. Эти силы воспринимаются говорящим как чуждые, враждебные его миру, вследствие чего говорящий стремится отчуждать в речи

¹ *Калиткина Г.В.* Формы субъективной оценки в аспекте теории мотивации (на диалектном материале): Дис. канд. ... филол. наук. Томск, 1989; *Порядина Р.Н.* О «магической» функции деминутива (на материале среднеобских говоров) // Человек – текст – коммуникация. Барнаул, 1996.

² *Кларк Т.Г., Карлсон Т.Б.* Слушающий и речевой акт // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17. Теория речевых актов. М., 1996. С. 227.

говорящий стремится отчуждать в речи элементы своего мира, чтобы не обнаружить личную пристрастность.

Подобного рода использование деминутивов в пейоративно-отчуждающей функции дает нам дополнительные основания согласиться с выводами М.Я. Гловинской, сделанными ею при анализе глаголов речи, о том, что в «наивной картине мира русского человека существует представление о высшей силе, которая не совпадает с представлением о Боге как религиозно-культурном концепте», «эта сила реагирует на слово – и на ритуальное... и случайное, неосторожное... не только карает, но и принимает от него заложников; это дорогие или священные для него объекты... не допускает чрезмерной уверенности человека ни в прочности того хорошего, что он имеет или надеется иметь, ни в наступлении чего-то плохого»¹. Как глаголы типа *сглазить*, *накаркать*, так и деминутивные формы в функции намеренного отчуждения, уничтожения «своего», близкого, дорогого (с целью защиты «от глаза») являют собой в современном наивном сознании своеобразные рефлексы дохристианской, языческой картины мира, мифологического типа мышления, одним из конститутивных признаков которого является отождествление имени и вещи. Так в бытовой речи в снятом виде проявляются закономерности построения ритуальных речевых актов, охранительных ритуалов.

Другой случай намеренного отчуждения элементов «своего» мира также выявлен и проанализирован на материале среднеобских говоров Р.Н. Порядиной². Говорящий намеренно отчуждает элементы близкого и дорогого ему мира в коммуникативных ситуациях общения с адресатом из другого языкового и культурного мира, другого возраста, предполагающих иную ценностную ориентацию, допуская возможность другой, отчуждающе-уничижительной оценки элементов своего мира слушающим и предупреждая ее в своей речи. Мотивом коммуникативного отчуждения может быть и значительная временная дистанция в отно-

¹ Гловинская М.Я. Семантика глаголов речи с точки зрения теории речевых актов // Русский язык в его функционировании: Коммуникативно-прагматический аспект. М., 1993. С. 215.

² Порядина Р.Н. Оценочный синкретизм деминутивного суффикса (фрагмент языковой картины мира среднеобского говора) // Культура отечества: прошлое, настоящее, будущее. Томск, 1996. Вып. 5.

шениях с предметным миром самого говорящего, позволяющая дать ему новую оценку прошлого: *Гармошонка была. Рупь отдашь за избу, собираются девахи, ребята; Ловили петлями. Дробовичишко был (Том.)*.

Производные имена с суффиксами с уменьшительно-ласкательным значением также выступают в качестве средств выражения категории чуждости в варианте отчуждающе-иронического отношения. Деминутив в сочетании с определенным текстовым окружением выступает как средство формирования косвенного речевого акта иронии. Ирония как один из видов косвенного речевого акта строится на столкновении явно выраженного положительного отношения (в нашем случае с помощью деминутивных производных) и подразумеваемого отрицательного, выраженного интонационно, в письменной речи определяемого из широкого контекста. Так, например, во фрагменте из повести А. Приставкина «Городок» вслед неискреннему речевому поведению персонажа (*воскликнул Хлыстов, будто восхищаясь*) повествователь также с двойной аксиологической перспективой описывает его поведение. Отрицательное отношение Шохова к Хлыстову известно читателю из предшествующего текста, в описании явно выражено положительное отношение к герою с использованием деминутивных форм. В прямом речевом акте включение деминутива в описание предметов, принадлежащих лицу, как отмечалось, является средством косвенного выражения положительного эмоционального отношения к самому человеку. Деминутивные формы на фоне конситуативно или контекстно известного отрицательного отношения к лицу создают обратный, отчуждающий эффект: *Просто домик ваш вспомнил. Цел? Вот ведь везуха! – воскликнул Хлыстов, будто восхищаясь. И кефирчиком в воздухе помахал. – У меня так двух месяцев не прожил – сгорел.*

9. Еще одно направление текстовой экспансии деминутивного суффикса – его способность вносить дополнительные смыслы определенности. А. Адамец считает, что противопоставление определенности/неопределенности связано не только с коммуникативной оппозицией данного/нового, но и со смысловой – оппозицией

родовой/сингулятивной отнесенности¹. Это позволяет нам предположить, что значение определенности деминутивного суффикса опирается на исторически первичный смысл сингулятивности и производные от него смыслы рациональной и эмоциональной оценки: мир эмоционально насыщенной оценки – это мир конкретных переживаний «здесь и сейчас», «истина может быть абстрактной или конкретной, а чувства всегда конкретны»². Модификационные суффиксы используются в качестве средства выделения коммуникативно значимой ситуации из общего потока речи, как диалогической, так и монологической. Монологические описания обычного положения дел в мире могут расцветиваться вставными описаниями конкретных ситуаций. Модификационное слово выделяет ситуацию или ее фрагмент, вводимый говорящим в общее высказывание как образный компонент, который усиливает очевидность происходящего вследствие того, что говорящий делает себя соучастником или наблюдателем описываемой ситуации (отсылка к собственному опыту). О возможности такого вкрапления в общую речь «предупреждает» слово с деминутивным суффиксом. Условием реализации этой функции модификационного суффикса является наличие в тексте разного рода дополнительных указателей на отмеченную выше сопричастность говорящего к действию (специфическое употребление форм времени, наличие обстоятельственных слов, прикрепляющих действие к определенному моменту времени). Основной корпус моделей деминутивного словообразования выступает как средство выражения значений свойственности и определенности. Эти категории имеют зону пересечения как в смысловой сфере, так и в формальном аппарате. Лишь небольшое число суффиксов, включающих эмоциональные компоненты «сниходятельное», «пренебрежительное» в качестве ядерных, используются для выражения коммуникативного смысла «чуждости».

¹ *Адамец А.* К вопросу о референциальной определенности в чешском и русском языках // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 15. Современная зарубежная русистика. М., 1985. С. 487.

² *Телия В.Н.* Экспрессивность как проявление субъективного фактора в языке и ее прагматическая ориентация // Роль человеческого фактора в языке: Языковые механизмы экспрессивности. М., 1991. С. 5.

Следует отметить, что отсутствие деминутива не является показателем текстового значения неопределенности, более того, употребление деминутива при наличии показателей неопределенности приводит к деактуализации у него этой периферийной функции. Реализует же эту функциональную направленность деминутив в определенном согласовании с другими элементами контекста и при частичном сочетании этого смысла с рядом других, в первую очередь экспрессивных и эмоциональных, что характерно и для других неспециализированных средств выражения категории определенности. Деминутивное словообразование включается в построение смысловой структуры высказывания, которое в целом дает обобщенное представление об определенном виде знаний или обобщенном опыте, для введения конкретной ситуации или какого-либо ее фрагмента. Введение конкретизированного отрывка в описательную речь позволяет говорящему связать свои знания о предмете речи со своим конкретным опытом, который как бы служит аргументом высказываемого положения, обобщения. Высказывания такого типа строятся на приеме контраста общего вневременного плана, характеризующего обобщенную часть высказывания, и актуальной временной представленности конкретной ситуации, включаемой в общую конструкцию. Конкретная часть высказывания предваряется и обрамляется вневременной частью речи, тем самым создается своеобразная временная двуплановость высказывания на определенном его участке¹: *Так она срублена урундуком. Заходишь как в сени – урундучок. Глухой, срубленный – урундук; У лодки к носу приделанный кочет. На беседочку садишься, и на кочет надеваешь гребень; Мы картошки, подбивали. Тиранешь деготьком – ни один комар не кусает (Том.).* В приведенных примерах актуальная ситуация вводится с помощью модификационного слова, суффикс которого в условиях данного контекста деноминализируется и выполняет конструктивную текстовую функцию (*урундучок, беседочка, деготек*). В первом из трех приведенных фрагментов категориальное

¹ Приведены примеры диалектной речи из совместной статьи автора и М.Н. Янценецкой: *Янценецкая М.Н., Резанова З.И.* Модификационные производные и их функции // Русские говоры Сибири: Семантика. Томск, 1995.

значение определенности, конкретности актуализируется у демиинутива в наиболее «чистом виде», свободном от генетически и синхронно-функционально связанных смыслов единичности, уменьшительности: в контексте достаточно определенно прочитывается противопоставление родового классифицирующего употребления имени, вводящего в класс, – *урундук* и конкретизированного, выделяющего из класса конкретного – *урундучок*, затем происходит снова определение на основе типового способа создания – *срублена урундуком*. Во втором фрагменте возможно прочитывание совмещенных смыслов определенности, свойственности и уменьшительности, в третьем фрагменте – определенности и положительной оценки, имеющей смещенную референцию с объекта – *деготек* – на всю ситуацию в целом.

О возможности текстовой актуальности у демиинутивной формы значения определенности, конкретной выделенности свидетельствует естественность употребления демиинутивов в высказываниях, в которых содержится референция к конкретному предмету (*Съешь эту котлетку; Передай Грише грибки*), и проблематичность их употребления в высказываниях общего характера, в которых имеется информация об обычном положении вещей, с референцией имен к классу: **По утрам я обычно ем котлетки; *Я не умею готовить грибки*. Последние интерпретируются слушающим либо как содержащие дополнительную информацию о малом размере (*котлет*, например), либо как экспрессивные высказывания, маркированные особым типом интонации, либо как содержащие скрытое цитирование предшествующего текста с конкретной референтной отнесенностью или экспрессивной окрашенностью (*грибки* – такие же хорошие, как эти, о которых речь шла в предшествующей ситуации). Как подчеркивает Е.В. Красильникова, «там, где бессуффиксальное имя не обозначает единичного предмета, возникает омонимия форм с суф. -ка – ласкательных, относящихся к виду предмета, и индивидуальных»¹.

10. Как уже отмечалось, одна из ярких особенностей функциональной палитры демиинутивных суффиксов – их способность к употреблению с косвенной референцией. Суффикс утрачивает

¹ Красильникова Е.В. Имя существительное в русской разговорной речи: функциональный аспект. М., 1990. С. 68.

значение уменьшительности, направляя ласкательные и/или экспрессивные смыслы не к денотату мотивирующего имени. Своеобразная смысловая и функциональная экспансия деминутивного суффикса воплощается в разных вариантах: 1) эмоциональные и экспрессивные смыслы обращены к предметам, метонимически связанным с денотатами деминутива; 2) эмоциональность и экспрессивность распространяется на описываемую ситуацию в целом; 3) анализируемые смыслы обращены к коммуникантам, в первую очередь – к слушающему и, реже, к говорящему. Каждый последующий из перечисленных видов как элемент включает предыдущий. Так, в разговорах о людях близких и дорогих мы обычно используем уменьшительно-ласкательные производные при назывании предметов, включенных в их «личную сферу» проецируя ласкательную семантику с предметов на лица: *Вчера Саша на улице перегулял, ножки замерзли, приболел немного; Дедушка наш сдал за последнее время что-то, с костыльком стал ходить (PPP)*. Распространение положительного эмоционального потенциала деминутива на всю описываемую с его использованием ситуацию можно проследить в следующем фрагменте. Повествование строится на противопоставлении нарушенного нормального, с точки зрения говорящего, положения дел в мире и восстановления этой социальной нормы. Положительная эмоциональность во фрагменте относится не к опалубке-сороковке, опилкам непосредственно, но призвана выявить положительное отношение к восстановленной норме: *А получается-то недоразумение, дед, так как не добавили мне по кругу целых восемьдесят рублей... А я тогда на тракторе езжу, на государственном, значит, транспорте, то есть беру в счет своих недоданных восьмидесяти рублей. Потом еще кому-нибудь опилочки завезу, опалубку-сороковочку на полы – и опять же прибавлю ... свое я возьму (Приставкин)*.

В диалогических речевых жанрах часто с помощью деминутивных форм создается положительный эмоциональный фон коммуникации для воздействия на эмоциональную сферу слушающего, в императивных речевых жанрах – и для воздействия на волевою сферу адресата речи. Классический тип такой реализации смыслового потенциала деминутивного производного – речевые ситуации приглашения, угощения; приведем для примера еще один фрагмент: *«Водки?» – спросил Вася Самохин, впрочем, для*

проформы, бормотуху он не обожал. «Мне все равно», – ответил Петруха. «А может, сухонького?» – предложил дед Макар (Приставкин).

Подобная смысловая экспансия деминутива – от выражения эмоционального отношения к референту мотивирующего имени к выражению отношений к коммуникантам – свидетельствует о том, что деминутивные словообразовательные средства имеют еще одну коммуникативную направленность. Как отмечает Ю.Д. Апресян, в словарное значение слова может быть «вписано» прагматически значимое «указание на относительные статусы говорящего и адресата в социальной, возрастной или иной иерархии, на существующую между ними степень близости, на разделяющую их дистанцию»¹. Деминутив также может выступать как средство маркирования социальных статусов говорящего и адресата, с помощью деминутива говорящий может задать переход из жестко социально ранжированного общения в коммуникацию с доминированием личностных, человеческих ценностей. В двух обращениях *Девушка, мне полкилограмма колбасы* и *Взвесьте мне килограммчик колбаски, пожалуйста!* говорящий обнаруживает свое психологическое бытование в разных мирах: социально, юридически ранжированном мире или мире с доминированием личностных отношений.

В исторической жизни уменьшительно-ласкательных образований в русском языке был период, когда они использовались именно для маркирования социального статуса лица, причем статуса более низкого, сопровождающегося экспрессивным фоном отрицательного спектра (*холоп Ивашка*), значения эти "особенно успели развиться вместе с развитием сословных, классовых различий, резко выделивших понятие о высшем и низшем"².

Современный этап в семантической динамике деминутива может быть определен как свободный от функций сословного ранжирования, но не свободный от идеи ранга, относительного статус-

¹ Апресян Ю.Д. Прагматическая информация для толкового словаря // Прагматика и проблемы интенциональности. М., 1988. С. 9.

² Мандельштам И. Об уменьшительных суффиксах в русском языке со стороны их значений // Журнал министерства народного просвещения. 1903. Июль, август. С. 40.

са говорящего и адресата вообще. С использованием уменьшительно-ласкательных производных отношения говорящего и слушающего как бы извлекаются из мира социальных стандартных отношений в мир личный (ср. сигнал о таком переключении – ласкательная форма обращения в полном (имя-отчество) именовании лица типа Сашенька Ивановна, говорящий останавливается на промежуточном варианте – еще официальное обращение, но официальность "зачеркивается" деминутивным образованием).

Такая функциональная направленность деминутивов в русском языке (напомним: активное деминутивное словообразование – специфическая черта славянских словообразовательных и лексических систем!), на наш взгляд, непосредственно коррелирует с тем, что Э. Сепир определяет как "быть может, самый значительный аспект русской культуры" – "склонность русского рассматривать людей не как представителей каких-либо типов, не как создания, извечно обремененные в одеянии той или иной цивилизации, но как абсолютные человеческие существа... Единственная вещь, которую русский воспринимает всерьез, – это изначальная, "корневая" человечность. В личностных отношениях мы можем заметить любопытную готовность русского пренебречь всеми институциональными перегородками, отделяющими одного человека от другого"¹.

В этом личном мире говорящий и слушающий либо безразличны к идее рангов – все перекрывается чувством доброжелательности, любви (хотя социальное положение коммуникантов и цели выраженной доброжелательности, "человеческой экспрессивности" могут быть различными), либо говорящий находится рангом выше, но этот более высокий ранг определяется не законом, установлением, но личностными и ситуативно актуальными свойствами говорящего – это более сильный, умный, обладающий большими возможностями человек (хотя бы и только в данной ситуации общения). Адресат находится в сфере личных интересов говорящего, при этом сфера его интересов направлена на добро по отношению к адресату. В следующем фрагменте своеобразная утрированная ласкательность в речи персонажа повести А. При-

¹ Сепир Э. Культура истинная и мнимая // Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. М., 1999. С. 471–472.

ставка "Городок", недоброжелательно относящегося к Шохову, отражает его желание не только вести себя в соответствии с типичной речевой ситуацией, но и продемонстрировать свое (наконец-то, хотя бы с болезнью Шохова связанное и ею обусловленное) ощущение себя как сильного, "большого", свой хотя бы ситуативно определяемый более высокий коммуникативный, не социальный, но человеческий ранг, стремление проникнуть в личную сферу адресата (симптоматична выраженная надежда – "*Мы еще подружмся*"): *А я зайду, зайду еще. Мы еще подружмся, вы не думайте. А тут вам бутылочка на стульчике для выздоровления. Поправляйтесь... Калиточку я прикрою. А вообще вам бы собачку завести. Собачка слов не говорит, а дело знает, а?* (Приставкин).

Эти коммуникативно значимые характеристики автора и адресата объединяют речевые ситуации, характеризующиеся наибольшим насыщением деминутивных форм: речевые ситуации общения взрослых с детьми, врача с больными, разговоров о детях. Симптоматично, что именно для этих речевых ситуаций характерно и употребление "мы-инклюзивного": *Мы сейчас не в садике, у нас головка болит и горлышко красное; Ну, как у нас сегодня температура?*

В художественном тексте, "переплавляющем" в соответствии с эстетической целью средства и формы всех языковых стилей, деминутив может использоваться не только для воссоздания стилистики разговорных речевых ситуаций в диалогах персонажей, но и как способ маркирования коммуникативно значимого статуса автора и адресата. Как отметила С.С. Плямоватая, «суффикс имеет способность как бы воспроизводить среду и обстановку, в которой он наиболее часто употребляется»¹. Примеры такой функциональной направленности деминутивного суффикса мы обнаруживаем в литературе для «самых маленьких», где автор с помощью концентрации деминутивных производных в описании в сочетании с другими средствами сознательно формирует образ повествователя как «большого, сильного, доброго, распространяющего

¹ Плямоватая С.С. Размерно-оценочные имена существительные в современном русском языке. М., 1961. С. 60.

свою добрую волю на слушающего, который маркируется как «маленький, любимый».

Коммуникативно актуальным может быть сам акт перевода ситуации общения из официальной, с определенными социальными ролями коммуникантов, в сферу личного общения; деминутив маркирует апелляцию говорящего к личности адресата, его человеческим свойствам. Говорящий осознает свое положение «снизу» в социальной иерархии и заинтересован перевести коммуникацию в личную сферу, апеллировать не к социальной маске, но к человеческой сути адресата. Именно такие контексты употребления находятся в сфере активных оценок в аспекте культуры речи. Речь с деминутивами в таких коммуникативных ситуациях интерпретируется как заискивающая. Представляется, однако, что нельзя оценивать всю палитру функционирования деминутива по одной краске, может быть, и не самой чистой.

Высокая степень эмоциональной насыщенности производных с деминутивными суффиксами определяет значительность субъективного начала не только в их использовании, но и в интерпретации. Как метафорическое имя призвано фактом отождествления неотожествимых с точки зрения внешней логики явлений обозначить спектр ассоциаций, образов, всегда лишь относительно единых у говорящего и слушающего, так и правильно использованное деминутивное производное должно породить ожидаемую эмоциональную реакцию слушающего. Успех коммуникации с использованием метафор – бытование говорящего и слушающего в общих концептуальных и культурных мирах. Успех коммуникации с использованием деминутивных производных – бытование коммуникантов в общем эмоциональном мире, готовность слушающего принять предлагаемую эмоциональность и маркированные ей ситуативные статусы.

2.2. Глагольная префиксация как средство выражения параметрической оценки

Языковая модель человека, являющаяся объектом активных поисков современной науки, не может считаться представленной в полной мере без описания категории действия как такового, отра-

жающего сущность человека как действующего, мыслящего, чувствующего субъекта. В каждой языковой системе сосуществуют общие, универсальные для всех языков компоненты (способы и средства выражения языковых значений, языковые категории, языковые единицы) и специфические, характерные для отдельного языка. Единство плана выражения различных языков «проявляется в общих принципах их построения и в частичном сходстве строевых элементов, колеблющемся от языка к языку»¹. И если некая смысловая основа действия, представленного в той или иной языковой картине мира, устойчива и универсальна для разных языков, то интерпретационный компонент семантики языковых единиц, обозначающих действие, его средства выражения варьируются в пределах даже родственных языков, что естественно, так как содержание, заложенное в языковых структурах, отражает не только объективные отношения внешнего мира, но и специфику их преломления сквозь призму носителя языка.

Для называния действия, даже простого физического, особое значение имеет «ракурс, под которым производитель действия или наблюдатель рассматривает обозначаемую ситуацию, а также механизм ее интерпретации»². Действие, «вырванное» из контекста событий, не перестаёт быть участком динамической действительности, фрагментом какого-либо большего по объёму процесса, продолжает быть связанным с другими действиями, соотносимыми с ним по параметрам. Язык избирателен в отношении признаков обозначаемого действия (характера его протекания, длительности, интенсивности самого действия и его результата), в отношении эксплицитности-имплицитности представления указанных характеристик действия в языковых единицах, распределения того, какими средствами (грамматическими, лексическими, контекстными и т.п.) выражается то или иное содержание.

Будучи самой интерпретационной единицей языка, глагол обладает семантикой, отражающей целый ряд параметров протека-

¹ Кацнельсон С.Д. Типология языка и речевое мышление. М.; Л.: Наука, 1972. С. 11.

² Петрухина Е.В. Производная глагольная номинация: модификация и мутация (на материале русского и западнославянских языков) // Вестн. МГУ. Филология. 1996. №6. С. 43.

ния той или иной ситуации, способных к градации. Кроме того, действие, названное глаголом, может оцениваться с точки зрения его параметрических характеристик. Измерение по шкале интенсивности, с которой соотносится то или иное действие, – естественная направленность человеческого сознания. «Представление о стандартах, или эталонах, и есть та антропометрическая позиция, которая служит тем фильтром, сквозь который, как через цветное стекло, воспринимается мир»¹. Целевые, количественные и другие критерии, с которыми субъект оценивания подходит к тому или иному действию, отражают соответственно признаки действия, его параметры на указанной шкале. Называя действие, мы интерпретируем его, оценивая с точки зрения его соответствия/несоответствия «норме глагольного действия». Данную семантическую категорию рассматривает Л.Г. Ефанова на примере глаголов с префиксами ДО-, НЕДО-, ПЕРЕ- и характеризует её как такой вид предела глагольного действия, «который, как и всякий предел, отражает наиболее вероятный исход ситуации, обозначенный данным глаголом, но в то же время предполагает оценку результата этого действия с точки зрения должного, т.е. такого представления о результате действия, которое существует в сознании воспринимающего данное действие субъекта и может быть оценено как идеал или стандарт»². Этот идеал действия связан в сознании носителей языка с определенным типом деятельности и задается «временной и пространственными координатами, а также качественными признаками»³. Такой образец постепенно сложился в сознании человека и реализуется посредством разного рода языковых единиц. В сфере именной лексики подобными единицами являются суффиксы, в сфере глагольной лексики – префиксы, ориентированные, как и суффиксы, на «выражение нормативно-ценностных отношений»⁴. Предметом анализа в данном пара-

¹ Телия В.Н. Коннотативный аспект семантики языковых единиц. М.: Наука, 1986. С. 39.

² Ефанова Л.Г. Норма как разновидность предельности глагольного действия: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Томск, 1995. С. 4.

³ Гак В.Г. Номинация действия // Логический анализ языка. Модели действия. М., 1992. С. 77.

⁴ Резанова З.И. Функциональный аспект словообразования: Русское производное имя. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1996. С. 167.

графе являются русские глагольные префиксы как средство выражения нормативно-оценочных смыслов при номинации фрагментов динамического мира.

Исследование глагола как особой номинативной единицы в отечественной лингвистике изначально смыкалось с изучением глагольных префиксов, признававшихся семантическими распространителями русского (и шире – славянского) глагола уже в работах Н. Некрасова, Г. Павского. Эта традиция продолжена позднее С. Карцевским, А.В. Исаченко, Ю.С. Масловым, А.В. Бондарко, М.А. Шелякиным, Н.С. Авиловой, Б.Н. Головиным, О.М. Соколовым, И.С. Улухановым, Е.А. Земской, Е.С. Кубряковой, А.Н. Тихоновым и др. Исследователей прежде всего интересовали связь префиксации и перфективации, лексические и чистовидовые значения приставок, приставочные способы глагольного действия и другие вопросы, определившие обширный круг научных интересов языковедов. Современное описание глагольных приставок сложилось на пересечении нескольких научных направлений (аспектология, дериватология и т.п.), однако объединяющим результатом таких исследований в настоящий момент является признание у приставки собственной семантики, выделение целого ряда признаков автономности её семантики, не абсолютной зависимости префикса от глагольной основы¹. Совокупность значений приставки стала представляться как определённая, «подвижная» система².

¹ *Земская Е.А.* Словообразование как деятельность / Ин-т русского языка РАН. М.: Наука, 1992; *Соколов О.М.* Актантная распределенность семантики русских глаголов в мотивационно-словообразовательном аспекте // Вопросы словообразования в индоевропейских языках: Проблемы семантики. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1991; *Улуханов И.С.* Словообразовательная семантика в русском языке. М., 1977; *Черепанов М.В.* Типология префиксальных и конфиксальных структур русского глагола: Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Л., 1974.

² *Вараксин Л.А.* Семантический аспект русской глагольной префиксации. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1996; *Волохина Г.А., Попова З.Д.* Русские глагольные приставки: семантическое устройство, системные отношения. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1993; *Кронгауз М.А.* Исследования в области глагольной префиксации: современное положение дел и перспективы // Глагольная префиксация в русском языке. М.: Русские словари, 1997. С. 4–28; *Кронгауз М.А.* Приставки и глаголы в русском

Такой взгляд на семантику приставки приводит к более глубокому пониманию семантического взаимодействия её с глагольной основой, их взаимовлияния, к постановке вопроса об избирательности префикса при сочетании с глаголами разных тематических групп. Акцент исследований в этом случае переносится с глагола на саму приставку, подчёркивается её автономность, определённая самостоятельность. Утверждение системности, связанности значений приставки предполагает наличие у нее определенной семантической системы, состоящей из конкретных значений, которые могут объединяться в более абстрактные, а также из особенностей семантического перехода одного значения в другое, особенностей реализации значения в контексте (словном и текстовом).

По мнению М.А. Кронгауза, значений одной приставки «одновременно и много, и мало, точнее, их, конечно же, много, но относятся они к разным уровням абстракции (и лингвистического описания)»¹. С одной стороны, это узкопараметральные значения, унаследованные приставками от предлогов; с другой стороны, это более сложные семантические характеристики, вырастающие из взаимовлияния префикса и глагольной основы, являющиеся результатом семантического развития префиксальной морфемы. Такие семантические компоненты префиксальной семантики гораздо шире, чем пространственные и временные значения. Связь между значениями приставки поддерживается наличием единого, прототипического, компонента значения², наличием «семантиче-

языке: семантическая грамматика. М.: Школа «Языки русской культуры», 1998; *Соболева П.А.* Словообразовательная полисемия и омонимия. М., 1980;

Тихонов А.Н. Чистовидовые приставки в системе русского видового формообразования // Вопросы языкознания, 1964. №1. С. 42–52.

¹ *Кронгауз М.А.* Приставки и глаголы в русском языке: семантическая грамматика. 1998. С. 152.

² *Апресян Ю.Д.* Лексическая семантика: Синонимические средства языка. М., 1974; Он же. Избранные труды. Т. 2. Интегральное описание языка и системная лексикография. М.: Школа «Языки русской культуры», 1995; *Волохина Г.А., Попова З.Д.* Русские глагольные приставки: семантическое устройство, системные отношения.

ской сети»¹, которую представляют собой отдельные значения приставки, связанные с глагольной основой и со значениями другого уровня абстракции.

При таком взгляде на роль и значение приставки последняя представляет собой уже не просто семантический признак в общем глагольном значении, а некую семантическую рамку вокруг значения глагола, одновременно самостоятельную и связанную с глагольной основой, в эту рамку можно вставить то или иное глагольное содержание, соотносимое с ней семантически, которое в дальнейшем разворачивается по заданным направлениям. Кроме того, зачастую именно на префиксе лежит нагрузка конкретизации действия, стоящего за глаголом, его интерпретации и оценивания, поэтому префикс следует рассматривать как в определенной степени мельчайшую номинативную единицу, которая способна усложнять пропозициональную структуру глагола. Именно в результате тесного взаимодействия русского глагола с приставками становится возможной та «изобразительность действия», о которой говорили исследователи еще в XIX в.

Как видим, идея относительной номинативной самостоятельности префиксов не нова для лингвистики. В лингвистической литературе находим аналогии между префиксами и частицами, наречиями, определениями и другими языковыми сущностями. Так, М. Докулил сравнивает глагольные префиксы с «агглютинирующими частицами», которые своей самостоятельностью и обособленностью оказываются противопоставленными суффиксам. Такое сравнение особенно подходит к вторичным глагольным приставкам, чью семантику проще «отделить» от общей семантики глагола и «препарировать» с целью выявления её особенностей в качестве структурной составляющей глагола. Помимо выполнения приставкой ее грамматической функции, префикс сохраняет и лексическое значение, важное для передачи актуальных характеристик глагола, в том числе и нормативно-оценочных, не менее важных для представления действия, чем пространственные и временные.

Понятие нормы действия соприкасается с такими традиционными для лингвистики понятиями, как предельность, множест-

¹¹ Кронгауз М.А. Исследования в области глагольной префиксации... С. 4–28.

венность, единичность, интенсивность, деминутивность, оценочность и т.п. На наш взгляд, указание на соответствие/несоответствие норме глагольного действия несут не только рассмотренные Л.Г. Ефановой префиксы ДО-, НЕДО-, ПЕРЕ-, но и некоторые другие (ПРИ-, ПОД-, ПО-, НА-, РАЗ- и т.д.). Действие, номинированное глаголами с такого рода префиксами, называется по «левую» или по «правую» сторону от нормы, характеризуясь недостаточной степенью интенсивности или, наоборот, избыточностью, в то время как «норма глагольного действия» представляется как общепринятый стандарт (ср. *сварить – наварить, сесть – присесть, открыть – приоткрыть, пересолить – посолить*).

Остановимся подробнее на русских глагольных приставках ПРИ-, ПОД-, НА-, ПЕРЕ-, являющихся, на наш взгляд, яркими аксиологическими распространителями глагола в русском языке.

Префикс ПРИ- продуктивен в русском языке, легко выступает в качестве первичной и вторичной морфемы, глаголы с данным префиксом – одно из основных звеньев глагольной системы русского языка и других славянских языков. Среди глаголов с приставкой ПРИ- единицы самых разных ЛСГ: глаголы движения, речи, физического воздействия, состояния, ментальные глаголы (*приехать, привстать, приумолкнуть, пригнуть, придвинуть, принадвинуть, приоткрыть, призываянуть, привыкнуть, приозябнуть* и т.п.).

Основным значением префикса ПРИ- признаётся «приближение к какой-то точке» или «близость вообще». Характеризуя семантику глаголов с префиксом ПРИ-, Г.А. Волохина, З.Д. Попова отмечают, что действие, обозначаемое этими глаголами, происходит поверхностно, неглубоко, приставка в этом случае (в отличие от ДО-, В-) «оставляет невыраженной сему предела перемещения»¹. Таким образом, если представить любое действие, обозначенное глаголом с префиксом ПРИ-, по макету движения, то оно будет происходить на поверхностном уровне, не нарушая внутренней структуры объекта (или субъекта), не выходя за пределы, обозначенные для данного типа движения (действия). Это значе-

¹ Волохина Г.А., Попова З.Д. Русские глагольные приставки: семантическое устройство, системные отношения. С. 37, 38.

ние, на наш взгляд, и является прототипическим пространственным значением приставки и служит точкой отсчета для дальнейшего развития ее значений. Человеческое сознание легко трактует приближение к чему-то без нарушения границ как не абсолютное, т. е. неполное приближение, а также неполное действие вообще. Пространственные параметры действия преобразуются в количественные и начинают отражать степень охвата действием его участников, меру его интенсивности. Актуализируя степень совершения действия, обозначенного глаголом, префикс ограничивает его рамки, оценивая его, представляет данное действие соотносимым с другим действием, обращая внимание на то, что оно совершается не в полной мере по сравнению с «нормой глагольного действия». В глаголах *привстать*, *припухнуть*, *притормозить*, *призавянуть* и др. значение приставки ПРИ- деминутивное и заключается в выражении меры действия. В этом случае действие совершается **слегка, отчасти, немного, до некоторой степени**: *Его малость приконтузило* (Грибачев); *Распрямив присогнутые долгим трудом плечи, они смотрели на море* (Борщаговский); *Полковник бросился к ним, стал грозно кричать, хотел припухнуть и два раза выстрелил на воздух из револьвера* (Вересаев).

Роль деминутивного префикса ПРИ- в выражении общей семантической структуры глагола заключается в том, что он задает рамки действия, названного глаголом, диктует определенный набор пропозиций на денотативно-пропозициональном уровне глагола. Префикс указывает на наличие потенциального (фонового) действия (*встать*, *пухнуть*, *тормозить*, *завянуть*), соотносит его с реально произведенным действием (*привстать*, *припухнуть*, *притормозить*, *призавянуть*) и, «сравнивая» их, корректирует рамки реализованного действия «по трафарету» потенциального (ср. *Митька крепко задумался* (Белянин); *Конечно поверить этому чиновники не поверили, а, впрочем, призадумались* (Гоголь)). Предполагается, что некий субъект, существующий в нашем сознании, некогда совершил действие, аналогичное рассматриваемому действию, но в полной мере, т. е. в обычном для этого типа действий объеме, и получил результат, отличный от полученного при реальном действии, более полный, сильный и т.п. Именно это «идеальное» действие (и его результат) и является нормой глагольного действия, которая закрепляется в качестве идеального

опыта в нашем сознании и служит точкой отсчета для всех аналогичных действий, являясь фоном для сравнения с ними и актуализируясь, когда рамки указанной нормы не совпадают с рамками реализованного действия. Такая связь разноуровневых действий (реального и «идеального») естественна для человека и закреплена в языке (в семантике русского глагола эта связь традиционно выражается на префиксальном уровне).

Отметим, что в русском языке существует группа глаголов с префиксом ПРИ- со значением дополнительного воздействия на объект, прибавления чего-то к тому, что уже имеется, причём это (в большей степени «присоединительное», «пространственное») значение не отменяет деминутивного оттенка. Часть объекта, которую прибавляют, обычно оказывается меньше самого объекта, к которому происходит прибавление (*признять денег, принать работников, прикупить ещё зерна*): *Теперь бы нам только триста рублей на короткое время **признять*** (А. Островский); *Мне вот пустошь **прикупить** хочется, рядом продается, три тысячи просят* (А. Островский).

Итак, приставка ПРИ- в деминутивном значении модифицирует семантику глагола, в подобных глаголах изобразительность действия, его конкретность определяется производящим глаголом, а корректировка его количественных рамок, оценка действия, его параметров, результата, а также указание на связь реального действия с «образцовым» фоновым действием вносится именно префиксом ПРИ-. То же относится и к префиксу ПОД- в аналогичном (деминутивном) значении.

Глагольные единицы с приставкой ПОД- также являются продуктивными в русском языке. Это глаголы движения, состояния, ментально-психической сферы, физического воздействия на объект (*подсунуть, поднажать, поднатужиться, подзабыть, подбодрить* и т.д.).

Так же, как и у приставки ПРИ-, у префикса ПОД- первичное значение пространственное, однако такие семы приставки ПОД-, как «приближение», «горизонтальное действие», «вплотную к предмету», «действие без нарушения границ предмета»¹, обуслов-

¹ Волохина Г.А., Попова З.Д. Русские глагольные приставки: семантическое устройство, системные отношения. С. 83.

ливают её деминутивное значение, при котором глаголом обозначается действие, задуманное и/или проведённое по каким-либо причинам ниже «нормы глагольного действия» (*слегка подзатынуть, немного подбодрить, слегка подзабыть, чуть-чуть подвыпить* и т.д.): *Катенька не ответила, только нагнула голову и, когда отец **подтолкнул** было к ней князя, быстро скользнула за ковер...* (А.Н. Толстой); *Мозоли на бычьих шеях... **подзаросли** ворсой* (Фоменко); *[Крыков] тотчас же отыскивал свое дело: то **подмазат** глиной печку, то **подправить** матрицу, то вон крыльцо разъехалось* (Герман).

При данном значении префикса часто возможна (но не обязательно) синонимия глаголов с приставками ПРИ- и ПОД- в указанном значении: *подпнуть – припнуть, подбодрить – прибодрить, подзавянуть–призавянуть*. Если исходить из «исконных» пространственных значений данных префиксов, то ПОД-сохраняет в своих значениях сему «непосредственной близости», пространственную характеристику «снизу», «рядом», в то время как префикс ПРИ- актуализирует семы «приближения», «появления» объекта, не маркируя место присоединения к нему, в отличие от префиксов ПОД- и НА-. На наш взгляд, последняя семантическая характеристика (немаркированность места присоединения, приближения), сохраняющаяся и в деминутивном значении приставки, делает возможным сочетание префикса ПРИ- с более широким кругом глагольных основ, в то время как более конкретные с пространственной точки зрения семы «снизу вверх», «сбоку и снизу» делают приставку ПОД- «разборчивой» в присоединении к глагольным основам (**подвстать, но привстать; *подоткрыть, но приоткрыть* и наоборот – *поднакидать, но *принакидать*), в силу чего круг глаголов с данной приставкой более ограничен.

Еще одно значение приставки ПОД- (также совпадающее с аналогичным значением префикса ПРИ-) – дополнительное совершение действия – предполагает некоторую нейтрализацию пространственного компонента «снизу». Глаголы с таким значением префикса обозначают действие, совершённое добавочно к основному (*еще немного подглядить рубашку, подзаработать ещё немного к уже заработанному, подлить воды к тому, что уже есть*): *Иногда думаешь... не **подкупить** ли к старому гене-*

ратору еще два, поставить их на локобмили (Тендряков); Разве что подклянчить еще у кого денег? (Аракчеев); Допивай, горяченького подолью, – угощала Арина Елисеевна (Игишев). Сами действия, обозначенные этими глаголами, «не единичны», состоят из двух-трех или ряда повторяющихся действий, должное повторение которых приведёт к определённому результату (в соответствии с «нормой глагольного действия»). Таким образом, каждое добавочное действие дополняет основное с целью приведения результата к должному уровню: *поднакопить денег, подлить воды (добавить объекта), подзакрутить кран (добавить действие).* Так как добавочное действие по его протеканию, интенсивности, результату «меньше» основного, следовательно, семантика приставки соединяет значения дополнительного совершения действия и совершения его в незначительной степени, в любом случае действие оценивается как совершенное ниже «нормы глагольного действия».

Для префиксов ПОД- и ПРИ- (чаще в диалектных полипрефиксальных комплексах) характерна еще одна особенность, сближающая их: маркируя количественные характеристики действия, эти приставки (в противовес деминутивному значению) в некоторых контекстах могут выступать в сатуративном значении, указывая на совершение действия с **особой полнотой проявления, исчерпанностью и даже избыточностью** (*принакормить коней досыта, приналовить рыбы ведро, приразрушить все дома до последнего, совсем штукатурка прирастрескалась*): *Когда пришли бандиты, они все перевертели. Много людей прикрошили, притопили* (Словарь русских старожильческих говоров средней части бассейна р. Оби)¹. В таких глагольных единицах проявляется усилительная функция префикса ПРИ- или ПОД-, при которой их значение наслаивается на значение глагола или первичной приставки, что приводит к семантическому эффекту возрастания количества признака действия, его насыщенности. В этом случае разъединяющее, деструктивное значения глагола и накопительное значение первичных префиксов оказываются «удвоенными», а

¹ Словарь русских старожильческих говоров Средней части бассейна р. Оби: В 2 т. / Под ред. О.И. Блиновой, В.В. Палагиной: Дополнение. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1974–1975.

«исконная» деминутивность ПРИ- и ПОД- поглощается. Отметим, что это может наблюдаться в рамках одной глагольной единицы (*призагнуть слегка и призагнуть так сильно, что вещь сломалась, подвыпить слегка и подвыпить сверх меры*). Отмеченная исследователями¹ энантиoseмия префиксальных глаголов, на наш взгляд, отражает интерпретационный характер этих единиц, так как дополнительные оттенки значения, придаваемые префиксом глаголу, играют не только номинативную, но и характеризующую роль, отводя действию то или иное место на нормативной шкале по ту или иную сторону «нормы глагольного действия». Префикс в таких случаях выступает в качестве формального показателя низкой или высокой степени действия, а действие, обозначенное мотивирующим глаголом, будет соответствовать «норме глагольного действия». Характеристики «слегка», «немного» и им подобные относительно и субъективны, что позволяет номинатору действия передвигать их по соответствующей шкале в зависимости от преследуемых номинативных и коммуникативных целей.

Смягчительно-ограничительное значение отмечается и у префикса ПО-, не менее продуктивного в русском языке, чем уже охарактеризованные префиксы. Семантика ограниченности действия в глагольных единицах с данной приставкой может проявляться по-разному: за счёт ограничения длительности действия (*покрошить пару минут, поспать пару часов, поколоть дрова час-другой, повыждать немного*), за счёт ограничения количества объекта или локализации воздействия на объект (*позалатать рубашку, повыдавить пасты*), за счёт смягчения проявления действия, малой степени его интенсивности (*немного порасспросить, порассказать*). Данный префикс, внося общее значение неполноты, ограниченности действия, указывает на то, что оно совершенно не в той мере, в какой должно быть осуществлено в соответствии с «нормой глагольного действия» данного типа: *Он не унывал и брел, не торопясь, только иногда **поспрашивал**: – Далеко ли до Расеи?* (Солоухин); *Голод несколько **позаглушил** горе* (Леонов).

¹ *Авилова Н.С.* Вид глагола и семантика глагольного слова. М., 1976; *Соколов О.М.* О значении и функциях русских глагольных префиксов // Тр. Том. гос. ун-та. 1964. Т. 174. С. 8–19.

Таким образом, префикс ПО- так же, как и предыдущие префиксы ПРИ- и ПОД-, видоизменяет семантику глагола, уточняя её рамки на шкале интенсивности действия, характеризуя его как находящееся с «левой» стороны (со знаком «-») по отношению к «норме глагольного действия». В этом проявляется особый способ представления динамического мира в сознании носителя русского языка: действие, обозначенное глаголом с приставкой, представляется не в целом (*тормозить, лить, колоть*), а через определенные количественно-временные или количественно-результативные характеристики (*притормозить, подлить, поколоть*).

Ярким представителем глагольных префиксов, «располагающих» глагольное действие по «правую» сторону (со знаком "+") от нормы глагольного действия, являются префиксы НА- и ПЕРЕ-.

Префикс НА-, как и описанные выше префиксы, продуктивен в русском языке, кроме того, глаголы с этим префиксом активно представлены в чешском, польском, белорусском языках. Его продуктивность проявляется как в качестве первичного, так и в качестве вторичного префикса. Он соединяется с широким кругом глагольных основ, среди них встречаются глаголы физического воздействия, покрытия, давления, глаголы оперирования с предметами, с растениями, глаголы приготовления (заготовления) пищи, а также глаголы движения, перемещения (субъектные и объектные), отдельные глаголы ментально-психической, речевой, социальной сфер: *напилить, намотать, налепить, налететь, натереть, наскочить, натянуть, набросать, насобирать, навышивать, напокрывать, навыжимать, навывращивать, наполивать, наклеить, навыпекать, наехать, наприезжать, навывдумывать, напридумывать, нарасказывать* и др.

Основным значением префикса НА- считается «направление на поверхность предмета», «наличие чего-либо на поверхности», однако оценочный характер этого глагольного префикса проявляется в накопительном (кумулятивном) значении. Последнее является, по мнению исследователей, результатом развития исконного

значения приставки – «сверху», «сверх», «свыше», т.е. движение к верхнему пределу действия¹.

Глаголы с кумулятивной приставкой НА- обозначают несколько или много действий (и представляют их единой глагольной единицей), каждое из которых в качестве результата предполагает новый или просто изменённый объект, а всё действие в целом – суммарный объект, накопленный в результате действий, совершённых последовательно, одно за другим, в несколько приёмов или одновременно, сразу, иногда хаотично. Данные оттенки значения корректируются контекстом, такие глаголы обычно сочетаются со словами «масса», «множество», «уйма». Накопление результатов действия предполагает накопление, суммирование как большого числа объектов (*нарвать цветов, напечь пирогов, купить книг, навтыпывать журналов*), а также определённого количества, меры общего для ряда действий объекта (*насолить капусты, натопить печь, навыворачивать земли, нарасказывать всякого*), так и субъектов действия (*набежали, наприезжали, наприходили*): *На палубе **наворочены** колеса, станы, оси, кадки, дуги* (Серафимович); *А псевдонимов-то **наизобретала**, хоть литературный кружок создавай* (Кетлинская); ***Набежала** к ней прислуга и челядь дворовая* (Аксаков).

Внутренняя структура таких глаголов представлена несколькими однородными действиями: *накидали = кинули один раз + кинули второй раз + и т.д.* Аналогичную структуру имеют глаголы с приставками в дистрибутивном значении (ср.: *перемыть всю посуду, поприбивать все полки*). Таким образом, действие, обозначенное глаголом с приставкой НА-, совершается много раз, в большом объеме, а «в самом определителе «много» содержится оценочный момент количества объектов, оценка подразумевает точку отсчёта: «много» обозначает больше нормы, больше обычного»², больше «нормы глагольного действия», которая может

¹ Волохина Г.А., Попова З.Д. Русские глагольные приставки: семантическое устройство, системные отношения. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1993. С. 75.

² Королева Ю.В., Лебедева Н.Б. Русские глаголы с приставкой НА- кумулятивно-накопительного способа действия // Явление вариативности в языке: Материалы Всероссийской конференции (13–15 декабря 1994 г.). Кемерово, 1997. С. 178.

быть выражена сопоставимым глаголом с иным префиксом (ср.: *насолить капусты на всю зиму – посолить банку огурцов, напосылать два мешка писем – прислать телеграмму*).

Несмотря на близость дистрибутивного и кумулятивного значений глагольных префиксов, они принципиально различаются по направленности действия. В дистрибутивных глаголах акцент делается на достижении результата рядом постепенных, последовательных и/или разрозненных действий, направленных на многие (или все) объекты или совершённых многими (или всеми) субъектами (*передавать все ягоды, подружить всех детей, понастроить домов, повыбежать из всех квартир*): *Вот сейчас расчистим площадку. Понабьем* колышков. *Привяжем* к ним *растяжки* (Крутилин); *Сколько он перековеркает, сколько людей перекалечит* (Салтыков-Щедрин). Особенно ярко это проявляется в дуприставочных образованиях со вторичным префиксом ПО-, в которых взаимодействие семантики приставок приводит к обозначению «сложного» действия с несколькими акцентами. Более частные значения, выделяемые в рамках дистрибутивного, могут варьироваться, поддерживаясь и разграничиваясь контекстом: многосубъектность (многообъектность) или исчерпанность субъектов (объектов) действия – *повымыть гору посуды (всю посуду), поисписать много бумаги (все тетради)*; очерёдность субъектов (объектов) действия, последовательность действия – *повыгрузить бочки одна за одной, позасеять грядки* (очерёдность может отсутствовать при нерасчленённости объекта или хаотичности, деструктивности действия, что во многом зависит от первичной приставки и семантики самого глагола – *повытряхнуть все деньги из карманов, понабрать всякой мелочи, понамять травы, пораскидать вещи, поразбить всю посуду*). В этом случае для номинатора действия важно показать, что действие происходит не все сразу, а по определенным фрагментам, поэтому для этой цели вторичная дистрибутивная приставка ПО- является универсальным средством, так как сочетается в этом значении практически со всеми приставками, не вступая в противоречие с их семантикой, корректирует значение глагола так, что действие, названное им, «подаётся порциями». В данном случае мы имеем дело с особым случаем представления действия в сознании носителя языка: глагол может обозначать не одно действие, а разные, аналогичные, но не иден-

тичные действия, которые подаются как единое. Такая номинация, на наш взгляд, более сложна, чем у глаголов с деминутивным значением, так как при назывании действия глагольной единицей с дистрибутивным префиксом не просто корректируются количественные рамки действия, а меняется сам принцип «языковой подачи» действия, при котором разные фрагменты (с разными объектами/субъектами) динамического пространства реальной действительности воспринимаются в их целостности.

В отличие от глаголов с дистрибутивным значением, кумулятивные глаголы содержат в своей семантике акцент на последующем использовании результатов действия, оперировании ими, т. е. префикс НА- вносит в семантическую структуру глагола проспективную направленность, в отличие от дистрибутивных префиксов ПО-, ПЕРЕ-, ИЗ-. Таким образом, дистрибутивное и кумулятивное значения имеют общие компоненты – множественность объектов или субъектов, но при дистрибутивном значении акцент делается на последовательности, очерёдности выполнения действия (или действий), т. е. на его “нехаотичности”, расчленённости, а при кумулятивном значении – на его суммарности, возможности производства действия не последовательно, а сразу, массово (всеми субъектами или над всеми объектами), бессистемно. Ср.: *Митька уже решил в своем уме как-нибудь вскоре прийти сюда одному, без Саньки, **повыловить** из-под камней всех ершей* (Никандров); *До выезда ему хотелось **перегладить** гимнастерки, брюки и белье* (Алексеев); *Мостик хворостом крыт, доверху соломы **накидано*** (Гончаров); *Глядь – скатерть развернулася, откуда ни взялися две дюжие руки, ведро вина поставили, горой **наклали** хлебушка* (Некрасов).

Различия между двумя указанными типами префиксов проявляются и в их взаимодействии друг с другом в многоприставочных глагольных единицах. Несмотря на участие префикса НА- в качестве первичного в дистрибутивно-суммарном «комплексе» ПОНА-, в качестве вторичного данный префикс не взаимодействует с первичными приставками дистрибутивного значения (ср.: *понамыть* – **напомыть*, а также **наперемыть*). На наш взгляд, это происходит именно потому, что семантические компоненты «расчленённость» действия, «последовательность» его фрагментов, с одной стороны, и «суммарность» – с другой, в одном внут-

рисловном контексте могут противоречить друг другу. При равноправии дистрибутивного и кумулятивного значений на первое место выдвигается то, что оказывается важным в коммуникативных целях. Под первым местом в данном случае мы подразумеваем вторичный префикс как более автономный и независимый от глагольной основы. Таким образом, если в качестве вторичного выступает префикс с дистрибутивным значением (ПО-, ПЕРЕ- и т.д.), то акцент в семантике глагола делается на последовательности, расчленённости действия (или объектов и субъектов), общий суммарный результат, его оценка становятся актуальными лишь относительно того, что данный результат не единичный, а множественный, суммарный, хотя и «накоплен» рядом последовательных действий (*понамытть, понаписать, понамытть, понаиштть* и т.д.). Если в роли вторичного выступает префикс с накопительным значением, то при этом «снимается» возможность очередности действий, их организованной последовательности. При участии в многоприставочном комплексе первичной приставки с дистрибутивным значением и вторичной с кумулятивным значением происходит «затемнение» дистрибутивного значения, его подавление кумулятивным, при этом актуализируются иные оттенки значения первичного префикса: *наперемытть* (повторное, репродуктивное значение ПЕРЕ-), *нараскидать* (пространственное значение РАС-) и т.д. В таких случаях актуализируется либо семантика дистрибутивности, либо накопительности как одного из наиболее ярких «приставочных» значений вообще, способного поглощать другие значения.

Что касается глаголов с префиксами ПОНА-, такое приставочное сочетание продуктивно в результате взаимодействия кумулятивного префикса НА- именно с дистрибутивным префиксом ПО-, а не ПЕРЕ- или РАЗ-, так как приставка ПО-, в отличие от многих других глагольных префиксов, достигает степени абстрагированности, необходимой для участия в процессе полипрефиксации в качестве «универсального» вторичного префикса. Последний, внося вполне определенные дополнительные лексические оттенки, не подавляет, в том числе и благодаря «диффузности» своей семантики, значения первичного префикса.

Как уже отмечалось, среди глаголов с кумулятивной приставкой основными являются единицы, имеющие в своей семантиче-

ской структуре компонент проспективности: накопление обычно имеет цель; поэтому закономерно, что среди глагольных единиц с приставкой НА- большую часть занимают конструктивные глаголы. Однако указанная приставка сочетается и с деструктивными глаголами: как с собственно деструктивными (без положительного конструктивного начала), так и с глаголами, являющимися деструктивными только по способу действия, а по цели и результату – конструктивными (ср.: *наломать веток, наразбивать чашек, набросать вещей и нависекать огня, наскоблить полов, нарубить дров*).

В накопительном значении префикса НА-, помимо сем результативности, множественности, исчерпанности действия, выделяются такие семантические признаки, как пресыщение, удовлетворённость действием, его особая интенсивность и полнота, т. е. действие, обозначенное глаголом с приставкой в данном значении, оказывается не только названным, но и охарактеризованным производителем действия и/или его наблюдателем с точки зрения количества действия, его интенсивности, а следовательно, желательности-нежелательности такой интенсивности. В данном случае параметрическое оценивание количества действия, количества его результата сочетается с оценкой его нужности, рациональности. Отклонение от нормы глагольного действия может проявляться в глаголах по-разному – как желательное (*напечь много вкусного, навывращивать много овощей*) и как нежелательное (чаще всего с деструктивными глаголами, а также в зависимости от внеязыкового контекста) (*набросал вещей, наразбивали посуду; назакашивал столько капусты, что она прокисла* и т.д.): *Заходите, заходите, бабоньки... Про вас всего **напасено**...* (Успенский); *У Елены глазки **наплаканы**... Соседки судачат, жалеют* (Короленко).

Отметим, что префикс НА- в подобных глаголах вносит указание на отклонение от нормы глагольного действия, количественно оценивая его; модальные смыслы желательности-нежелательности такого количества действия определяются самой глагольной основой, а также контекстом событий, в который вписано действие, обозначенное глаголом с приставкой НА-. Эти единицы (а также глаголы с приставкой ПЕРЕ- в чрезмерно-нормативном значении – см. ниже) наиболее показательны в от-

ношении сочетания квантитативной (количественной) и утилитарной (целевой) оценки¹ действия. В семантическом компоненте «много» в структуре приставки НА- заключена оценка меры действия, количества созданного/разрушенного действием, названным глаголом с префиксом НА-, по отношению к стереотипной для носителя языка норме для подобного действия (количественная оценка): *Через две пятилетки мы уж тут заводов **настроим*** (Шолохов); *Мы там уток **настреляем** вдоволь* (Тургенев); *Ожирел, брюхо **нарастил**, – проворчал Богословский* (Герман). Кроме того, указанный семантический компонент «много», как и компонент «мало», оценивается человеком и с точки зрения его практичности, полезности в общей деятельности человека (утилитарная оценка). Так, много чего-либо конструктивного, нужного (как в двух первых примерах) – это хорошо, много чего-либо деструктивного, ненужного (как в третьем примере) – плохо, причем, как мы уже отмечали, данные оценки зависят от внеязыкового контекста (ср.: *навыращивать яблок – невыращивать сорняков, напisyлать поздравительных открыток – напisyлать анонимок*). Таким образом, глагольные префиксы являются безусловными выразителями количественной (параметрической) оценки действия, в то время как на утилитарную оценку они лишь могут указывать.

Среди глагольных приставок, проявляющих в современном русском языке наибольшую деривационную активность, на первом месте Е.А. Земская и другие исследователи разговорной речи называют префикс ПЕРЕ-². Приставка ПЕРЕ- активна не только в качестве первичной, но и в качестве вторичной. Данная приставка сочетается с широким кругом глагольных основ, среди которых выделяются глаголы разных ЛСГ: глаголы конкретного физического действия (*перечистить, перебрать, переварить, пермыть*) и глаголы интеллектуально-психической, социальной деятельно-

¹ Арутюнова Н.Д. Об объекте общей оценки // Вопросы языкознания. 1985. №3. С. 13–24; Вольф Е.М. Функциональная семантика оценки М., 1985; Он же. Субъективная модальность и семантика пропозиции // Прагматика и проблемы интенциональности. М., 1988. С. 124–143.

² Земская Е.А., Китайгородская М.В., Ширяев Е.Н. Русская разговорная речь: Общие вопросы. Словообразование. Синтаксис. М.: Наука, 1981; Земская Е.А. Словообразование как деятельность. М.: Наука, 1992.

сти (*пересказать, перечитать, перевоспитать, переоценить, переподготовить, перевоплотить(ся)*).

Данный префикс характеризует особая яркость семантики и многозначность, последняя является причиной совмещения и противоборства значений приставки (Ср.: *пересмотрел все книги – пересмотрел повторно*). Кроме того, для ПЕРЕ- в большей степени, чем для других префиксов, характерна прозрачная связь с пространственным прототипическим значением, которое определяется как «перемещение с места на место», «перемещение через пространство»¹. Обычное для человеческого сознания соотнесение мира физического и мира ментального делает возможным семантическое преобразование пространственных ориентиров, отраженных в исконном значении префикса, во временные, качественные и другие параметры, характеризующие не только физическое действие, но и действие интеллектуальной, социальной сферы деятельности человека.

Префикс ПЕРЕ- способен выражать параметрическую оценку номинированного действия в нескольких значениях. Во-первых, это дистрибутивное значение: многократное и поочередное действие, распространенное на все или многие объекты или совершенное всеми или многими субъектами (*перебрать все инструменты, перемыть всю посуду, перестричь всех овец, перезавяли все цветы, перезабыть все анекдоты* и т.д.). В зависимости от глагольной основы и контекста частные значения приставки в рамках дистрибутивного – многосубъектность, многообъектность, очередность, исчерпанность действия – варьируются: *За четыре дня он сумел **перехаживать** за всеми **самойловскими** девушками* (Солоухин); *Хуже харчевни сделал его: стены сургучом измазал, полы **перегноил*** (Мельников-Печерский). Те же семантические оттенки выделяются и у дистрибутивного префикса ПО-, однако, в отличие от ПО-, акцент при назывании действия глаголом с ПЕРЕ- делается, как правило, на очередности и исчерпанности действия, а не на множественности объектов и субъектов. Это объясняется, на наш взгляд, поддержкой со стороны исконного пространственного значения приставки ПЕРЕ- «перемещение через простран-

¹ Волохина Г.А., Попова З.Д. Русские глагольные приставки: семантическое устройство, системные отношения. С. 110.

во, через предмет в пространстве», в то время как пространственное значение ПО- предполагает линейное перемещение по горизонтальной поверхности. При аналогии с обычным движением префикс ПО- представляет простейшее беспрепятственное движение по прямой, не отягощенное подъемом и спуском, ПЕРЕ- отражает более сложное движение через объект, при этом ПО- «пропускает» объекты мимо себя, а ПЕРЕ- «отсчитывает» их, констатирует их очередность и исчерпанность (ср.: *появи(о) все цветы, много цветов – перевали цветы один за другим*). Однако преимущество в способности параметрической интерпретации действия с точки зрения превышения нормы глагольного действия, на наш взгляд, находится не на стороне префиксов ПО- и ПЕРЕ-, а на стороне кумулятивного префикса НА-.

Второе значение ПЕРЕ-, отражающее параметрическое оценивание действия, чрезмерно-нормативное: совершение действия с нежелательно большой длительностью и/или интенсивностью (*переварить кашу, перекипятить бульон, переполнить холодильник продуктами, переработать, переохладить(ся), переутомить(ся), перенаселить страну и т.д.*): *Приказчик предложил обедать, выражая опасение, чтобы не **переварилось** и не **пережарилось** приготовленное его женой угощение* (Толстой); *Кофе у ней **перекипел**, сливки подгорели, чашки валились из рук* (Гончаров). В этом значении данная приставка – яркий представитель префиксов, фиксирующих отклонения от нормы глагольного действия, при этом указание на наличие идеального варианта развития данного действия вносит именно префикс ПЕРЕ-, который «вписывает» реальное действие в идеальную рамку (= норму), показывая, что реальное действие не соответствует идеальному, так как по своему течению и/или результату оно интенсивнее идеального, запланированного и ожидаемого. В такую рамку может вставляться практически любое глагольное содержание, способное к квантификации: приготовление пищи и другие процессы с определенной технологией, состояние человека и т.п. В данном значении приставка активна и в роли вторичной (*перенапрячь мышцы, переостудить компот, перенаполнить ванну водой и т.д.*).

Сравнение реального действия с идеальным, маркированное префиксом ПЕРЕ-, как правило, предполагает и негативную оценку

реального действия: *переостудить компот* = остужать компот дольше обычного и получить более холодный, чем обычно, результат, а это плохо, вредно, расходится с желанием производителя действия. Такие отклонения в производстве и результате действия, как и в случае с кумулятивными глаголами, оцениваются номинатором не только в параметрическом, но и в целевом аспекте. Справедливо будет отметить, что и в этом случае для окончательного оформления целевой оценки недостаточно внутрисловного контекста, хотя указание на негативное восприятие действия, названного глаголом с чрезмерно-нормативным префиксом ПЕРЕ-, обязательно и не варьируется в сторону положительной оценки, в то время как действия, названные глаголами с кумулятивным префиксом НА-, дистрибутивными префиксами ПЕРЕ-, ПО-, могут расцениваться носителем языка по-разному. Так, префикс задает параметры действия, вносит в смысловое содержание глагола указание на оценку действия, а окончательная трактовка действия как желательного, нежелательного, совершенного для пользы или во вред человеку, принадлежит единицам более высокого уровня – глагольной единице, тексту, в которых происходит реализация языковой модели оценки.

Итак, изменяющаяся действительность, преломляясь сквозь призму сознания носителя языка, способна находить отражение в самых разнообразных языковых формах. Испытывая потребность номинировать действие, человек соотносит его с уже известным ему прототипом этого действия, хранящимся в его сознании, сравнивает результаты совершенного и стереотипного действий, **оценивает** рамки реального действия по отношению к «идеальному», его законченность/незаконченность, степень интенсивности, способ протекания и называет совершенное действие исходя из содержания, которое он желает вложить в глагол. Для выражения этого содержания в языке имеются определенные модели и средства, которыми, помимо самих глаголов, являются префиксы – их семантические распространители, позволяющие варьировать смысловое содержание, задавать параметры обозначаемому действию, что является существенно важным для номинации фрагментов динамического мира.

Глагольные приставки, приспособленные когда-то языком для указания пространственных отношений между фактами действи-

тельности, на данном этапе развития преобразовались в своеобразные аксиологические показатели действия. Их денотативное значение послужило основой для развития у глагольных префиксов оценочных смыслов. Так, движение, пределы которого ограничены лишь близостью к некоторой точке координат, интерпретируется как находящееся **до** нормативной отметки действия данного типа, не достигшее ее. А движение, заходящее за границы некоторой точки координат, нарушая целостность обозначенного предела, оценивается и представляется как находящееся **за** нормативной отметкой действия данного типа, перекрывшее ее. Сама точка отсчета представляется нормой того вида деятельности, о котором идет речь, образцом, с которым сопоставляется обозначаемое действие.

Такая трансформация денотативного содержания приставки, по всей видимости, отработанная языком модель формирования аксиологических смыслов в сфере глагола, которая указывает на устойчивую связь физических и аксиологических сущностей в сознании человека.

Часть II

Дискурсивная поливариантность
русской ценностной картины мира

Глава 1

Ценностная картина мира традиционного и современного фольклора

Одним из ярких признаков современной научной парадигмы является выявление новых аспектов исследования традиционных феноменов, в том числе феномена народной культуры. Дискурсивный анализ народной культуры позволяет по-новому представить ценностную модель мира, зафиксированную фольклором.

В целом использование фольклорного материала в качестве объекта филологического изучения имеет глубокие корни. Уже в XVIII в. формирование фольклорной методологии, определяющей отношение к исследуемому материалу, начинает проявляться в трудах В.Н. Татищева, В.К. Тредиаковского, М.В. Ломоносова, Н.В. Новикова, М.Д. Чулкова.

Продолжительное время фольклор анализировался в литературоведческом и этнографическом аспектах, использовался как иллюстрация некоторых языковых исторических процессов (В.Я. Пропп, Е.М. Мелетинский, Н.И. Савушкина, Г.М. Акимов, В.К. и Б.К. Соколовы, А.П. Скафтымов, Н.В. Новиков, Ю.Г. Круглов и др.).

К языку фольклора как самостоятельному объекту лингвистического исследования обратились лишь во второй половине XX в. Разработка этого направления лингвистики связана с именами таких ученых, как В. Ангелов, Е.Б. Артеменко, А.П. Евгеньева, Р.Ф. Кирчев, С.Е. Никитина, Т.С. Соколова, З.К. Тарланов, Н.И. Толстой, В.Я. Пропп, О.А. Черепанова и др.

В большинстве современных отечественных и зарубежных исследований фольклор понимается как совокупность текстов, которые в пространстве повседневного общения выполняют ряд важ-

нейших функций: когнитивных, социальных, идеологических. В меньшей степени фольклор интерпретируется как источник эстетического наслаждения, прагматическая функция признается доминирующей¹.

В данном исследовании фольклор рассматривается как особый тип дискурса. Понимая дискурс как «речь, погруженную в жизнь» (Н.Д. Арутюнова), отметим, что фольклор в связи с этим рассматривается как реально существующий феномен: с учетом информационных возможностей не только вербальной системы, но и акционального, цветового, музыкального и других кодов.

Изучение фольклора в дискурсивном аспекте предполагает учет разных параметров его определения. В наибольшей степени задачам данного исследования отвечает разноаспектная характеристика фольклора, представленная К.В. Чистовым. Позволим себе процитировать её полностью. «А) Фольклор – устно передаваемый простонародный опыт и знания. При этом имеются в виду все формы духовной культуры <...>. Вводится только социологическое ограничение (“простонародные”) и историко-культурный критерий – архаичные формы, господствующие или функционирующие в качестве пережитков. <...> Б) Фольклор – простонародное художественное творчество или, по более современному определению, “художественная коммуникация”. Эта концепция позволяет распространять употребление термина “фольклор” на сферу музыкального, хореографического, изобразительного и т.д. простонародного творчества. В) Фольклор – простонародная вербальная традиция. При этом из всех форм простонародной деятельности выделяются те, которые связаны со словом. Г) Фольклор – устная традиция. При этом устности придается первостепенное значение. Это позволяет выделять фольклор из других вербальных форм (прежде всего противопоставлять его литературе)»². В соответствии с таким определением границ фольклора

¹ См., например: *Адоньева С.А.* Прагматика фольклора. СПб.: Изд-во С.-Петербур. ун-та: Амфора, 2004. 312 с.; *Чистов К.В.* Устная речь и проблемы фольклора // История, культура, этнография и фольклор славянских народов: X Междунар. съезд славистов. М., 1988. С. 35; *Неклюдов С.Ю.* Несколько слов о постфольклоре. Режим доступа: www.ruthenia.ru/folklore, свободный. Загл. с экрана.

² *Чистов К.В.* Устная речь и проблемы фольклора. С. 37.

сложилось несколько традиций описания фольклора – исследование фольклора как текстовой структуры, выявление специфики его речевых составляющих, выявление функционально-коммуникативных особенностей его существования, дискурсивный анализ. Каждая из названных традиций позволяет сфокусировать внимание исследователя на разных аспектах происхождения и бытования фольклора.

Учитывая, что «термин «дискурс», в отличие от термина "текст", не применяется к древним и другим текстам, связи которых с живой жизнью не восстанавливаются непосредственно»¹, ограничим объект исследования только теми жанрами, при исследовании которых возможна фиксация социокультурного фона (не все жанры зафиксированы таким образом, что позволяют учитывать показатели не только вербального, но и других кодов народной культуры – соответствующих параметрам дискурсивного окружения). Так, не могут быть исследованы в дискурсивном аспекте такие жанры, как исторические песни, былины и др., поскольку их материал, как правило, представляет собой исключительно текстовые записи без дополнительных комментариев.

Рассматривая фольклор как особый тип дискурса, следует учитывать специфические особенности этого дискурса.

1. Текст воспроизводится исполнителем в особой коммуникативной ситуации (в зависимости от жанра). Этот параметр представляется важным в связи с тем, что в основе миромоделирующей системы фольклора, в том числе его ценностной системы, лежит функция социального регулирования. Актуализация каждого фольклорного текста, с одной стороны, детерминирована «идеологическими и ментальными установками, составляющими область пресуппозиции»², а с другой стороны, в самом фольклорном тексте заложены определенные условия, инструменты его актуализации, и это предопределяет исследование фольклора как особого типа дискурса.

2. Отличительной особенностью фольклорного дискурса является ориентированность на определенный этико-эстетический

¹ Арутюнова Н.Д. Дискурс // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. С. 136–137.

² Адоньева С.А. Прагматика фольклора. С. 11.

идеал. Традиционный фольклор принципиально фиксирует идеальную модель мира, отражая основные общечеловеческие ценности. Современный фольклор в этом отношении представляет собой более сложное образование: система фиксируемых ценностей не меняется по сравнению с традиционным фольклором, но ее этико-эстетическое воплощение трансформируется с учетом специфики современной действительности. Косвенным проявлением дискурсивной ориентированности фольклора на идеальную модель является общественная установка на апелляцию к фольклору как к фиксатору жизненного идеала («не зря люди говорят...» – о пословице, «не зря в песне поется...», «это как в анекдоте...» и т.д.).

3. Одной из важных характеристик фольклорного дискурса является ориентация на эстетическую составляющую фольклорной среды (рифма, мелодия, художественные способности исполнителя, сказителя и т.д.). «Эстетическая рамка» закрепляет, стабилизирует фольклорные категории (в частности, ценностные категории), придавая им особую значимость, обеспечивая автономность, эстетическую дистанцированность по отношению к действительности, реализуя тем самым коллективный взгляд на себя со стороны. Важнейшим параметром реализации эстетической составляющей фольклорного дискурса является система фольклорных жанров.

Представим подробнее особенности фольклорного дискурса, актуальные для исследования ценностной модели мира.

Указанные выше характеристики фольклорного дискурса позволяют рассматривать его как динамическое образование, отражающее изменения социальной среды. В настоящее время мы можем говорить, с одной стороны, о смене «фольклорной парадигмы»: появляются новые жанры (рукописные альбомы, фольклор яппи, интернет-фольклор), которые отличает не только способ передачи текстов (наряду с устными – письменные и аудиотехнические способы передачи информации), но и картина мира, кодовая система, представленная в них. С другой стороны, мы можем говорить о сосуществовании двух фольклорных систем. Одна из них «принадлежит среде с господствующим фольклорным сознанием и фольклорным способом сохранения и передачи культур-

ной традиции. Другая функционирует в среде, культура которой определяется письменной, «ученой» традицией»¹.

«Традиционный» фольклорный дискурс функционирует в гомогенной аудитории, где весь набор жанров (сказки, былины, любовные, солдатские песни и др.), конечно, предполагает определенную этнокультурную и социальную стратификацию, но, тем не менее, фольклор существует как совокупность текстов, актуальных для всего коллектива. «Современный» фольклорный дискурс – это тексты, рассчитанные на определенную аудиторию, дифференцированную по возрастному, половому, профессиональному и другими признакам. «Современный» фольклор представляет собой «коллаж», «монтаж образов, стереотипов, формул, пришедших из различных письменных, устных, визуальных источников информации»². В отличие от носителя традиционного фольклора, наш современник, выполняющий в течение жизни ряд социальных функций, может одновременно оказаться носителем различных фольклоров, которые им субъективируются, поэтому можно говорить о микрокоммуникативном (например, семейном, дружеском и др.), а также об индивидуальном, личностном фольклорном дискурсе. По сути, современное общество не имеет единого фольклора, современный фольклор представляет собой совокупность фольклоров разных социокультурных коллективов и выполняет функцию социальной идентификации исполнителей и слушателей (см. работы Б.М. Бернштейна, М.С. Кагана, А.С. Каргина, Н.А. Хренова). Фольклорный дискурс является одной из форм фиксации результатов познавательной деятельности человека. В нем в особой, эстетически значимой, форме отражаются ценностные представления фольклорного коллектива, реализующие, наряду с дескриптивным, аксиологический компонент модели мира.

Особенности реализации ценностной картины мира в фольклоре неоднократно привлекали внимание исследователей. Интерес к ценностному описанию указанного материала обусловлен, прежде

¹ Неклюдов С.Ю. Несколько слов о постфольклоре.

² Богданов К.А. Прецедентные тексты в современном фольклоре. Режим доступа: www.ruthenia.ru/folklore, свободный. Загл. с экрана.

всего, тем, что одним из важнейших свойств фольклорного дискурса является особый уровень аксиологической значимости. По утверждению А.Т. Хроленко, «народно-поэтическое слово не только строит фольклорный мир, но и оценивает его»¹.

Непосредственно проблемы фольклорной аксиологии касаются только отдельные исследования (см. работы А.Н. Веселовского, С.Е. Никитиной, А.Т. Хроленко). Так, в работах А.Н. Веселовского, посвященных исследованию специфики функционирования постоянного эпитета в фольклоре, выявляется статус данного средства как носителя оценки². В монографии С.Е. Никитиной отдельная глава посвящена анализу специфики функционирования языковой оценки в текстах народной поэзии: выявляются основные методологические установки описания аксиологической картины фольклорного дискурса, апробируется их использование на материале текстов духовного стиха³.

Соглашаясь с исследователями фольклорной аксиологии в том, что фольклорный дискурс обладает особой аксиологической перспективой, рассмотрим ценностную модель фольклорного мира в ее динамике и жанровом многообразии.

И «традиционные», и «современные» фольклорные тексты выполняют, с одной стороны, единую функцию социальной идентификации – предлагают алгоритм поведения в той или иной ситуации, основанный на ценностных представлениях фольклорного коллектива. С другой стороны, именно выполнение указанной функции определяет необходимость развития ценностной модели мира от традиционного фольклора к современному, приведения эстетических моделей фольклора в соответствие с социальными.

Природа традиционных и современных текстов, специфика их функционирования оказывает влияние на реализацию общефольклорных аксиологических моделей, обуславливая динамику фольклорной ценностной модели мира, основных элементов фольклорной оценочной структуры.

¹ *Хроленко А.Т.* Семантическая структура фольклорного слова // Русский фольклор: Вопросы теории фольклора. Вып. 19. Л., 1979. С. 153.

² *Веселовский А.Н.* Историческая поэтика. Л., 1940.

³ *Никитина С.Е.* Устная народная культура и языковое сознание. М., 1993.

Оценка в фольклоре осуществляется с позиции **коллективно-го субъекта**. Доминирование коллективного начала по отношению к личностному является одним из основополагающих принципов деятельности традиционного сознания¹, проецирующихся на традиционную культуру (фольклор). Современные исследователи народной культуры принципиально подчеркивают такую специфическую черту фольклора, как коллективное авторство: автором фольклорных произведений является «коллективная языковая личность, фольклорный социум, субъект, творящий свое мироздание, свою эстетику, свою аксиологию...»².

Фольклорная аксиология формирует специфическую фольклорную ценностную модель. Ее специфика определяется, прежде всего, «социальным значением», о котором говорит К.А. Богданов: «Социальное значение фольклора заключается <...> не столько в его содержательно-эвристическом, сколько именно в операциональном характере, в функции набора средств, позволяющих предвосхищать и контролировать коммуникативные реакции внутри коллектива, а тем самым предоставляющих индивиду и коллективу возможность определиться и "соориентироваться" в границах "своей" идеологической территории»³. Именно единство «идеологической территории» – фольклорный социум – определяет наличие того обстоятельства, что в основе фольклорной модели мира (в том числе ценностной модели) лежит только коллективная норма, коллективная система ценностей.

Согласившись с С.Б. Адоньевой в том, что «социальное пространство традиционного социума не гомогенно, различия позиций в нем в значительной степени определены тем набором стратегий поведения, в том числе и речевого, который отличает один *стиль жизни* (курсив наш. – И.Т., Ю.Э.) (габитус) от другого в пределах одного сообщества»⁴, отметим, что при общем единстве ценностной картины мира в фольклорной эстетической системе

¹ См. об этом, например: *Леви-Стросс К.* Структурная антропология. М., 1985. С. 95.

² *Никитина С.Е.* Устная народная культура и языковое сознание. С. 37.

³ *Богданов К.А.* Прецедентные тексты в современном фольклоре.

⁴ *Адоньева С.А.* Прагматика фольклора. С. 57.

фольклорная норма предстает в совокупности ее вариантов, позволяющих в конкретной прагматической ситуации выразить индивидуально-личностные особенности членов фольклорного социума, отразить разные «стили жизни» (см., например, поговорки, функционирующие в рамках одного фольклорного социума в один временной период: «*Стерпится – слюбится*» и «*Насильно мил не будешь*», «*Муж да жена – одна сатана*» и «*Муж-то мой, а ум-то свой*» и др.).

В связи с вышесказанным следует заметить, что дифференциация ценностных моделей коллективного субъекта фольклора и его исполнителя не входит в задачи данного исследования, направленного на описание ценностной модели, эстетически закрепленной в фольклорном дискурсе.

Природа субъектности в фольклоре варьируется в зависимости от ряда факторов.

Во-первых, современная реализация фольклорного дискурса представляет собой совокупность систем, функционирование которых ограничено набором социокультурных факторов. Следовательно, категория субъекта также проявляется как совокупность субъектов отдельных фольклорных систем. Поскольку современный человек может являться носителем нескольких фольклорных систем, коллективная норма для него во многом ситуативна.

Во-вторых, коллективное начало находится в зависимости от происхождения фольклорного жанра (ср.: *киноцитаты*, функционирующие по законам фольклорного текста как раз в силу максимального ослабления личностного начала при их употреблении и акцентирования тех механизмов, которые позволяют им выполнять прагматическую функцию (апелляции к коллективному опыту?), и *анекдот*, где коллективность авторства заложена изначально).

Таким образом, носителем ценностной модели мира (**субъектом** оценивания) в фольклоре является человек в его коллективном проявлении. **Объектом** оценивания человека становится весь окружающий его мир. Природа оценочной дифференциации мира, требующая создания оппозиционной ценностной модели, обусловила формирование системы бинарных ментальных противопоставлений. В частности, коллектив реализовал, таким образом,

возможность оценить себя как часть окружающего мира. Оценка состоялась благодаря разграничению **субъекта** и **объекта**, вылившемуся в формирование оппозиционной бинарной структуры, которая легла в основу ценностной фольклорной эстетики. Ведущее место в системе бинарных оппозиций занимает оппозиция «свой/чужой»¹. «Чужое» в фольклоре – это взгляд коллектива на себя со стороны. «Конструирование второго (чужого) мира имело сразу несколько важных следствий. Появилась внешняя точка зрения на происходящие в мире людей события. Именно с ней связано возникновение моральной и этической оценки этих событий. Появился партнер по диалогу о высших ценностях жизни. Источник жизни, движущая сила получила свое закрепление если не во времени, то в пространстве. В итоге мир приобрел более устойчивую структуру. Более определенным стало положение человека в этом мире»².

Оппозиция «свое/чужое» в фольклорном тексте является гипероппозицией, включающей в себя ряд других противопоставлений. В рамках такой антонимической парадигмы представление о норме соотносимо с полюсом «свое», т.е. с компонентами, имеющими семантику «близкий» (в оппозиции – «далекий»), «родной» («неродной»), «внутренний» («внешний»), «друг» («враг») и т.д. Менее отчетливо, но все-таки прослеживается аксиологическая сориентированность временной оппозиции, где «свое» – это происходящее «днем» (а не «ночью»), «утром» (а не «вечером») и т.д. Противопоставленный компонент, имеющий семантику чуждости, соотносим с аномальным. В целом можно сказать, что «свое» оценивается как положительное, «чужое» – как отрицательное.

Говоря о том, что объектом оценивания в фольклоре становится весь окружающий человека мир, следует отметить, что в область оценивания попадают предметы и явления, в большин-

¹ См. об этом: *Толстой Н.И.* Язык и народная культура: Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. М., 1995. С. 154; *Топоров В.Н.* Модель мира // Мифы народов мира. Т. 2. М., 1982; *Цивьян Т.В.* Лингвистические основы балканской модели мира. М.: Наука, 1990. 207 с.

² *Байбурун А.К.* Ритуал: свое и чужое [Электронный ресурс] // Фольклор и этнография: Проблемы реконструкции фактов традиционной культуры. Л., 1990. Режим доступа: www.cultinfo.ru, свободный. Загл. с экрана.

стве своем принадлежащие к внешнему по отношению к человеку миру, «ибо традиционное фольклорное видение мира обращено вовне»¹. Мир внутренний практически не оценивается. Среди элементов внешнего мира в сферу оценки вовлекаются лишь те, которые становятся объектами эстетического переосмысления в фольклоре. Это соответствует утверждению современных исследователей об оценочной природе фольклорного слова².

Ценностная модель фольклорного мира находит отражение в системе жанрово-специфических показателей – как формальных, так и содержательных. «Жанровая рамка» задает особенности актуализации содержания общефольклорной ценностной модели мира, определяет особый способ ее отражения, специфику эстетической реализации оценки.

Рассмотрим заявленную специфику на материале жанров традиционного (лирическая песня, частушка) и современного (анекдот, киноцитата, рекламный текст) фольклора.

Лирическая песня – жанр традиционного фольклора, в котором «выражено, главным образом, идейно-эмоциональное отношение к событиям»³, а повествовательное начало развито меньше, чем, например, в былинах. Рассмотрим только необрядовые лирические песни, т. е. свободные от акционального сопровождения, но тесно связанные с мелодической структурой.

Задача жанра – выразить «идейно-эмоциональное отношение к событиям» – определяет его принципиальную ориентированность на представление некоторой аксиологической модели фольклорного коллектива. При этом именно лирическая песня демонстрирует максимальное (по сравнению с другими жанрами традиционного фольклора) единство ценностной картины мира.

В основе ценностной картины мира лирической песни, как жанра традиционного, лежат представления о норме, свойствен-

¹ Никитина С.Е. Устная народная культура и языковое сознание. С. 39.

² См.: Хроленко А.Т. Семантическая структура фольклорного слова. С. 147–157 и др.

³ Литературный энциклопедический словарь. М.: Сов. энцикл., 1987. С. 277.

ные единому фольклорному коллективу (**субъект** оценки – фольклорный коллектив).

Лирическая песня отличается особым, достаточно обширным кругом затрагиваемых тем (любовная, семейная, военная, тюремная и др.) и **объектов** оценивания. Аксиологическую нагрузку получают все события, действующие лица и их поступки, элементы мизансцены уже самим фактом фиксации в рамках данного жанра. Жанр лирической песни отражает внутренние переживания героев через описание внешних событий, вследствие этого внутренний мир человека в традиционном фольклоре практически не оценивается.

Ценностная ориентация в лирической песне связана с эстетически зафиксированными представлениями о гармоничных (нормативных) и негармоничных состояниях мира. При этом традиционный фольклор фиксирует нормативный (гармоничный) и ненормативный (дисгармоничный) миры как полярные.

В структуре аксиологической модели фольклорного мира ядерными категориями, выполняющими функцию ценностной регламентации, становятся категории пространства и времени. В необрядовом фольклоре гармоничные состояния мира возможны только в «своем» пространстве, в качестве которого в жанре лирической песни выступает традиционный мир дома, семьи. Выход за пределы этого мира рассматривается как недобровольный, следовательно, приводит к нарушению гармонии (дисгармонично «чужое» пространство), причем это характерно для песен самого разного типа: любовных (*Ее милочек уехал. / Про ее совсем забыл. / На далекой на сторонке / Он другую полюбил*), солдатских (*За Уралом есть там место, / Где кипел кровавый бой*), тюремных/разбойных (*Вся моя песенка пропета, / И не дойдет она к тебе. / Она в Сибири будет спета / Среди бродяжеской толпы*) и др.

Пространственная структура фольклорной действительности в ценностном воплощении уточняется через систему подчиняющихся гипероппозиции «свое/чужое» гипооппозиций – «близкий/далекий», «родной/неродной», «внутренний/внешний», «город/деревня» и др.: *И скрылось солнце за горами, / Стоит казачка у ворот / И в дальний путь глядит с тоскою, / А слезы*

льются из очей // Вырастешь большая, / Отдам тебя замуж, / Не в город – в деревню, / В согласну семью.

Таким образом, семантика пространства в фольклоре в качестве аксиологически нагруженной категории проявляется через систему бинарных оппозиций, фокусирующих два оценочных полюса. Указанная категория, по мнению большинства исследователей¹, в фольклоре связана с категорией времени, ценностно поляризованной по той же модели. Так, в рамках суточного цикла *ночь* в символической системе темпоральных единиц связана с мотивом смерти (*Приворотник усмехнулся, / Твой уж сын давно убит, / Он расстрелян прошлой ночью / И в могиле крепко спит. // Она была очень красива, / И я не мог ее любить. / Она была очень красива, / Увы, в ту ночь ее убить*). Единицы, обозначающие переходное состояние в рамках суточного цикла, связаны с семантикой нарушения гармонии. Так, с мотивом расставания устойчивую связь демонстрирует семантика утра как перехода от ночи к световому дню – *заря/зорька, утро, солнце встает и др. (Только станет светать, / Зорька заниматься, / А со мной милый мой / Станет расставаться... / Милый мой, взгляни / В окно, горит заря. Пусти меня, / Как проснется мать моя / И станет спрашивать меня... // Ты вставай, / Милый мой, / Уже свет голубой. / Уже тихая заря, / Расставаться нам пора)*. Отметим, что утверждение о ценностной поляризации касается прежде всего актуализации циклического времени, время линейное проявляет аксиологические характеристики менее отчетливо. Вероятно, это связано с природой лирической песни как жанра традиционного фольклора, отражающего мир вне его динамики, стабильный, не ухудшающийся и не улучшающийся.

Пространственно-временная организация ценностной модели фольклорного мира в лирической песне иконична: выстраивается вокруг мира дома, семьи, где и сосредоточены ценностные приоритеты фольклорного человека. При этом такая аксиологическая организация свойственна всем жанрам необрядового фольклора –

¹ *Богатырев П.Г.* Вопросы теории народного искусства. М., 1971.; *Пропп В.Я.* Фольклор и действительность: Избранные статьи. М.: Наука, 1976 и др.

ценностный статус любой сферы человеческой деятельности определяется сквозь призму семейных ценностей.

Содержание ценностно окрашенной категории «семья» выражает позицию коллектива по отношению к социальному институту, который рассматривается в системе фольклорных ценностей как неотъемлемое свойство человеческого сообщества. Семья в песне – это микромир, обязательными представителями которого являются мать, отец, дочь/сын, муж/жена, родственники мужа и жены. Ценностные модели семьи, реализующиеся в лирических песнях разного типа, не тождественны. Прежде всего, это связано с дифференцированным воплощением ценностной модели мира, и семейной модели в частности, в мужском и женском фольклоре. При этом модель семьи (впрочем, как и другие составляющие аксиологической модели фольклорного мира) реализуется в контексте ценностно окрашенной оппозиции «своей»/«чужое». Так, в солдатских и тюремных песнях (мужской фольклор) «свой» (гармоничный – «семейный») мир выступает в оппозиции негармоничному миру войны (*Семья вся замертво лежит. / А завтра рано, чуть светочек, / Заплачет наша вся семья. / Заплачут сестры мои, братья, / Заплачут мать мой и отец. / Еще заплачет дорогая, / С которой шел я под венец*). Семейный мир населен кровными родственниками и представлен в первую очередь такими персонажами, как *мать* и *отец*, аксиологическая значимость которых стабильна (*Нас-то бреют – не жалеют, / Нас стригут – не берегут. / Повалились русы косы / По могучим по плечам, / По могучим по плечам, / По шелковым поясам. / Пропустите родну мать / Русы косы подбирать. // Ты не плачь, родная мать, / Может, скоро ворочусь*). Нестабильностью аксиологической значимости отличается *жена* (ср.: *Жена, жена ты милая, / Привет, привет меня. / Какой красивый был – / Теперь калека я! – и – Жена молодая / Закон развела. / От чужого мужа / Дитя родила*). Значимость семьи как ценностно окрашенной категории подтверждается использованием ее внутренней структуры в качестве вторичной модели «зеркального» отражения «чужого» мира – военного пространства (*Поженила его / Пуля быстрая, / Повенчала его / Сабля вострая*).

В любовных и семейных песнях (женский фольклор) ценностная модель семьи также неоднородна. Если в любовных песнях фиксируется мировосприятие незамужней девушки, то в семейных песнях выражена позиция замужней женщины. В девичьем фольклоре основными аксиологически значимыми персонажами являются *отец* и *мать* как носители традиционных патриархальных представлений. Ценностная модель родителей, отраженная в девичьем сознании, вступает в конфликт с ее собственной моделью, где родители не желают ей счастья, запрещают встречи с любимым, противятся замужеству по любви (*Покатилася головка / К отцу, матери родной, / Вот тогда отец поверил, / Что на свете есть любовь. // Заходит грозный наш отец. / – Ох, дети, дети, мои дети, / Зачем пролили кровь мою?*). Семейные песни представляют ценностную модель молодой женщины, где мир кровных родственников идеализируется и предстает как образец гармонии («свой» мир), а семья мужа противопоставляется ему как отрицательный аксиологический полюс. Наиболее аксиологически значимым персонажем в этом аспекте является *свекровь* (*Во большой семье / У нас была, куда хотела ходила, / У свекровки будешь, / Куда захочешь не пойдешь. / Родная мамка ранюсеньки не взбудит / И, вышедши на улицу, не обсудит. // Катюшу не любят, / Не любят ни свекор, ни свекровка, / Что ни деверь, ни золовка.*).

Жанровая специфика выражения ценностной модели лирической песни заключается, прежде всего, в том, что норма в рамках данного жанра выражается имплицитно, т.к. лирическая песня фиксирует, в большинстве, ситуации дисгармонии (то, что по законам фольклорного коллектива «не должно»). При этом жанр лирической песни отражает внутренние переживания героев через описание внешних событий: *Не шейте мне белое платье, / Носить я не буду его, / А шейте мне желтого цвета – / Я с милым в разлуке живу.*

В структуре рассматриваемого жанра можно отметить некоторые эксплицитные проявления коллективной нормы, как проявление «идеологической территории» традиционного сознания. При этом формально выражается именно антинорма (в отличие от частушки – см. ниже). Немногочисленность этих проявлений определяется спецификой лирической песни как жанра с доста-

точно развернутым сюжетом, с одной стороны, и с развитой системой символических средств – с другой. Наиболее последовательно это проявляется в тюремных/разбойничьих песнях, в которых для формализации нормы используются неопределенно-личные глаголы: *Пришли, Ланцовушку забрали / И увезли его в тюрьму, / На двадцать пять лет заковали. // Посадили на неделю, / Просидел я круглый год. / Выводили на крылечко, / Окружил меня народ.* В любовных и семейных песнях такие проявления встречаются редко и не отличаются однородностью: *Нельзя, нельзя черемушку / Неспелую рвать. / Нельзя, нельзя девчончку / Несватану брать. // Поглядите, добры люди, / Как жена мужа не любит...*

Поскольку фольклор, как уже отмечалось, оценочен по своей природе и вся его содержательная сторона представляется как отражение ценностной картины традиционного сознания, рассуждая об объекте оценки в фольклоре, и в лирической песне в частности, следует сосредоточить внимание на тематической структуре рассматриваемого жанра: любовные, семейные, солдатские, тюремные/разбойничьи и другие типы песни.

Тематическая структура жанра определяет круг ценностно окрашенных категорий и специфику их оценочного выражения. Кроме категории *семьи*, универсальной оценочной категорией для лирических песен практически любого типа можно назвать категорию *свободы*. Свобода в русском фольклоре (и в целом, по данному языкового отражения русского национального сознания¹) «предполагает как раз порядок, но порядок не столь жестко регламентированный <...> свобода связана с нормой, законностью, правопорядком...»². В фольклоре в содержание категории *свободы* включается система социально регламентированных ролей традиционного общества, воспринимаемая традиционным сознанием как нормативная. На этих представлениях и основаны ценностные ориентации, выраженные в лирической песне. Несмотря на общность ценностных представлений о свободе в фольклоре, в лирических песнях разного типа рассматриваемая

¹ Шмелев А.Д. «Широта русской души» // Логический анализ языка. Языки пространств. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 357–367.

² Там же. С. 364.

категория предстает в особом ценностном наполнении. Так, в солдатских песнях свобода, к которой стремится лирический герой, есть возвращение в традиционный мир нормы, порядка и к семейным отношениям как его проявлению. Таким образом, семья в солдатской песне рассматривается как воплощение свободы – в противовес дисгармоничному миру войны: *Как один солдат / Богу молится, / Богу молится, / Домой просится: / «Командир-майор, / Отпусти домой. / Отпусти домой / До жены родной. / До жены родной / К малым детушкам. // Там вдали, за синим морем / Оставил Родину свою, / Оставил мать свою старушку, / Оставил жёнку молодую.* В семейных песнях, отражающих преимущественно женское мировидение, замужество (переход в семью мужа) рассматривается, наоборот, как утрата свободы и получает негативную ценностную окраску: *У родимой мамочки / Дочь была одна. / Не собравшись с разумом, / Замуж отдана, <...> Не моя ли доченька / Слезы горькие льет? / На чуждой сторонуйке / Бедно там живет. // Мать совета не дала / Ехать мне с матросом, / Матрос замуж не возьмет, / Надсмеется, бросит. / Не послушала я, мать, / Твоего совета, / Я с матросом молодым / Еду вокруг света. / Год прошел, другой настал, / Дочь идет уныло, / На руках она несет / Матросенка-сына. / Прими дорогая, прими дорогая...*

Таким образом, объектом оценивания лирической песни является область этики. При этом в системе рассматриваемого жанра даже внешние оценки окружающего мира находятся в жесткой эстетической зависимости от этических характеристик его элементов. Так, внешность положительной героини/героя всегда соответствует идеалу красоты, причем этот идеал является для данного жанра (а во многом – и для фольклора в целом) стабильным: *Своею русою косою / Трепетала по волнам, / Голубою своей лентой / Украшала берега. // Только скрылся парень за туманом / И забыл про голубы глаза, / И забыл про голубы глаза. // Ой, да сказал, милая, / Моя чернобровая, да, / Я, да я не мыслю по тебе... // Хороши глаза у чернобровой, / Да мне по ним не стыдно покусать...*

В лирической песне как жанре традиционного фольклора отражаются ценности стабильные, независимые от времени. Это определяется тем, что традиционный необрядовый фольклор

представляет мир как лишенный динамики, онтологический мир идеальной нормы. Онтологический характер идеального мира определяет наличие единого, не рефлексирующего субъекта оценивания.

Ценностная ориентация в лирической песне связана с эстетически зафиксированными представлениями о гармоничных (нормативных) и негармоничных состояниях мира.

Частушка генетически связана с лирической песней, но в то же время в плане решения эстетических задач существенно от нее отличается, в том числе и по способу представления ценностной модели мира. Частушка – жанр позднетрадиционного фольклора, основное назначение которого – выразить экспрессивно окрашенный отклик на реальную бытовую ситуацию, обычно в молодежной среде. Набор характерных для данной среды ситуаций определяет круг затрагиваемых в частушке тем – определение собственного общественного статуса, взаимоотношения полов и др. Конкретно-ситуативная зависимость обуславливает подробную прописанность бытового фона частушки, выраженного в активном использовании единиц, называющих бытовые реалии (предметы одежды, посуда, предметы быта, домашних животных и др.).

Уже сама жанровая форма частушки задает особый способ отражения общефольклорной ценностной модели. «Жанровая рамка» определяет специфику эстетической реализации оценки. Так, если пословица, как жанр оценочный по своей сути, представляет собой непосредственно фиксацию нормативного мира коллектива, то сама частушечная форма предполагает «перевертывание» нормы. То, что с позиции коллективного субъекта оценивается отрицательно, в частушке формально может быть выражено как соответствующее норме, то есть положительное. Безусловно, общефольклорная норма «незримо» или «зримо» присутствует обязательно в рассматриваемом жанре, но появляется и своя, «частушечная», которая строится по принципу «перевертывания». Формально это выглядит как проявление индивидуального начала: *У меня миленка три. / Три и полагается. / Пока я с одним целуюсь, / Два других ругаются.* Традиционное сознание рассматривает описанную ситуацию как ненормативную, частушка же принципиально переворачивает общефольклорную норму, выстраивая «антинорму» и тем самым подтверждая общефольклорную норму.

С одной стороны, реализация нормы (вернее, ее «зеркального» проявления) в частушке обусловлена принадлежностью рассматриваемого жанра к традиционным, где в основе ценностной картины мира лежат представления о норме, свойственные единому фольклорному коллективу. С другой стороны, жанр частушки отличается от прочих жанров традиционного фольклора рядом показателей, которые мотивируют превращение нормы в «антинорму». Во-первых, среди традиционных жанров частушка считается наиболее поздним, она отражает формирование индивидуального начала в народной эстетике. При этом карнавальное начало частушки определяет особое восприятие ее содержания членами коллектива, как будто снимая с исполнителя ответственность за это содержание. Во-вторых, частушка, как уже отмечалось, является по своей природе жанром молодежным, следовательно, принципиальное отталкивание от нормы определяется и возрастным фактором.

Итак, несмотря на наличие в частушке формального проявления субъективной оценочности, личностного начала, **субъект** оценки в частушке остается коллективным. При этом отношение к коллективной норме находит в структуре рассматриваемого жанра, как и в структуре жанра лирической песни, определенное формальное выражение через систему лексико-грамматических текстовых показателей. Так, типичными частушечными элементами являются неопределенно-личные формы глагола, употребляемые в обобщенно-личном значении. В рамках данного жанра они, с одной стороны, могут способствовать дистанцированию коллективного субъекта от «анормальных» для него действий, исходящих из внешней, «чужой» по отношению к нему среды и, соответственно, оцениваемой отрицательно: *У матани двери сняли, / По реке отправили. / У меня штаны украли, / Без штанов оставили. // В магазине объявление / Всех нас огорошило: / На один талон дают / Целых три горошины.* С другой стороны, указанные формы (прежде всего это касается глагола «говорят» – весьма характерного жанрового показателя) могут маркировать оценку ситуации с позиции общефольклорной нормы, в соответствии с жанром «переворачиваемой» в частушке. В этом случае противопоставление коллективной и частушечной нормы (реже – только их соотнесение) получает структурную поддержку, кото-

рая проявляется в смысловом противопоставлении первой строки последующим: *Говорят, любовь не вредна! / Ох, какая вредная – / Посмотрите на меня, / Какая стала бледная! // Говорят, я боевая, / Я не отпираюсь. / Семерых с ума свела, / Восьмого собираюсь. // Говорят, я боевая. / Боевая – не позор. / Боевую-то и любят / За веселый разговор.*

Маркерами экспликации коллективной нормы в частушке оказывается и местоимение «вы», демонстрирующее актуализацию частушечной «псевдоличности»: *Не судите вы меня, / Я вам не судимая. / У меня на это есть / Маменька родимая. // Извините вы меня, / Что с припева сбилася! / Я на курсах не была, / На это не училася! // Вы, цыгане, вы, цыгане, / Вы зачем приехали? / Завлекли мое сердечко, / Сели да уехали.*

Реже выражение коллективной нормы, апелляция к коллективному субъекту оценки реализуется с помощью местоимения «все»: *Все пришли, все пришли, / Все по парам сели, / А моего дорогого / Тараканы съели.*

Таким образом, отличительным свойством частушки является своеобразный «диалог с нормой».

Отметим, что для большинства из рассматриваемых случаев описание нормы и ее нарушения сопровождается их структурным противопоставлением (см. последний пример, где 1-я часть – описание нормы, а 2-я часть – фиксация ее нарушения).

Вышеперечисленные частушечные формы способствуют решению жанровой задачи «раздвоения» субъекта оценивания, констатирующего норму и одновременно ее «переворачивающего».

Принципиальная оценочность содержательной стороны фольклора, как уже отмечалось, определяет необходимость учета тематической структуры жанра, и в частности жанра частушки, при рассуждении об объекте оценки.

Тематика частушки, с одной стороны, не ограничена, так как изначально она есть проявление «живого отклика», непосредственной реакции на явления действительности. Но реально в кругу рассматриваемых тем проявляются определенные тематические приоритеты: значительная часть частушек – любовные, причем чаще всего в них рассматривается ситуация измены. Это обусловлено особенностями природы частушки как жанра молодежного, призванного выразить взгляды, чувства, эмоции этой возрастной

группы. Меньшее количество частушек фиксирует социальную проблематику разного уровня: от взаимоотношений внутри фольклорного коллектива (например, отношение к сплетням и др.) до особенностей политического устройства государства (перестройка как социально и политически важное событие, проблемы социального неравенства и др.). Таким образом, объектом ценностного окрашивания в частушке становятся прежде всего отношения между лирическими героями (парень/девушка) и между персонажами, эти отношения нарушающими, а также оцениванию подвергаются социально-бытовые отношения в коллективе и – реже – политические отношения.

Тематическая структура жанра определяет круг ценностно окрашенных категорий и специфику их оценочного выражения.

Рассмотрим специфику реализации фольклорной ценностной картины мира на материале частушек, отражающих любовную тематику.

Категория «любовь» обладает ярко выраженной ценностной окрашенностью не только в структуре фольклора, но и в любой культурологически нагруженной структуре. При этом с указанной категорией связаны также оценочные категории «измена», «разлука», «замужество», «дом», «семья» и др.

Отметим, что любовь в жанре частушки (в отличие, например, от лирической песни) лежит в области взаимоотношений молодых членов коллектива, не вступивших в брак. Ситуация замужества при этом рассматривается как ситуация нарушения гармонии, перехода в чужой мир, что соответствует общепопулярной системе ценностей: *Меня сватали сваты / На седой кобыле. / Все придано увезли, / А меня забыли. // Мать моя лохматая! / Зачем меня про сватала? / Все подруженьки запели, / Я одна заплакала.*

Любовь рассматривается в данном жанре как ситуация, нормативная для молодежи, что соответствует условиям гармоничного мироустройства. В структуре ценностной картины мира, воплощающей категорию «любовь», в частушке нормативным оказывается состояние «в паре» (см.: *Все пришли, все пришли, / Все по парам сели, / А моего дорогого / Тараканы съели* и под.). Но, как уже отмечалось, специфика лирических жанров традиционного фольклора (лирической песни, частушки и др.) заключается в основном в отражении нормы через описание ситуации нарушения

гармонии. Подавляющее большинство частушек изображает ситуацию нарушения нормы, нарушения гармонии: *Я любила милого, / Любила не нарочно, / А теперь, дорогой, / Расставаться тошно. // У меня в окошечке / Ленточка алеет. / У меня, у молодой, / Миленка не имеется.*

Явление «перевертывания» нормы в частушке определяет отличие от других жанров содержание ряда ценностно окрашенных категорий. Так, категория «дом», которая в других жанрах традиционного фольклора является носителем семантики гармонии, защиты и однозначно маркирует отношение к своему миру, в частушке становится носителем ограничительной функции, источником нарушения нормы/любви/пары: *Не ругайте меня дома, / Меня нечего ругать: / Моё дело молодое, / Мне охота погулять. // Меня дома бьют, ругают, / Велят милого забыть. / Выйду в сенечки, поплачу, / Но по-ихнему не быть.*

Ценностные ориентиры в карнавальной структуре любовной частушки распределяются с помощью устойчивой системы персонажей.

Для абсолютного большинства частушек лирической героиней является молодая девушка, выступающая как носитель положительного начала, связанного с категориальной семантикой молодости, мобильности, свободы. При этом самооценка героини представлена достаточно редуцированно: при совпадении коллективного субъекта и коллективного объекта последний априорно связывается с положительными ценностными ориентирами. Проявление самооценки героини в частушке осуществляется по двум параметрам: внешность (*Говорят, я некрасива. / Да, я не красавица. / Но не все красивых любят – / Кто кому понравится. // Говорят, что некрасива. / Некрасива – не беда. / Буду весело я жить – / Будут мальчики любить. // Ой, топни, нога, / Топни, правенькая, / Пойду плясать, / Хоть и маленькая!*) и социальная активность (*Говорят, я боевая. / В девках не остануся. / Ну и горе тому будет, / Кому я достануся! // Говорят, я боевая. / Боевая – не позор. / Боевую-то и любят / За веселый разговор. // Говорят, я боевая, / Я не отпираюся. / Семерых с ума свела, / Восьмого собираюся. // Говорила мене мама, / Что я бойкою расту. / А мою тихую подружку / Вчера побили на мосту.*). В связи с этим отметим, что если в лирической песне внешность героини всегда соответствует

идеалу и оценка внешности становится формой существования этической оценки, то в частушке, при сохранении ценностных приоритетов этического над эстетическим, происходит вербально выраженное расчленение этих двух значимых оценочных параметров. Последнее, в частности, характеризует частушку как *поздний* жанр традиционного фольклора, где символический компонент ослабевает и в зону фольклорного переосмысления попадают практические ценности. Этому процессу соответствует и второй параметр оценки героини – в классическом традиционном фольклоре ценности, связанные с девичьим началом, практически исключают возможность какой-либо активности.

Как отмечалось, внутренний мир в традиционном фольклоре оцениванию практически не подвергается, поэтому ценностное содержание всех оценочных категорий проявляется прежде всего через описание соответствующих «плохих» или «хороших» событий.

Так, пляска и пение – значимые события частушечного сюжета, в которых участвует положительная героиня. Они выступают как имплицитные особенности частушечной гармонии, определяемой молодежной природой жанра и основанной на необходимом ощущении свободы, озорства и мобильности: *Пошла **плясать** / Моя дорогая. / У ней русая коса, / Ленга голубая. // Пошла **плясать**, / Только пол **кряхтит**. / Мое дело молодое, / Меня Бог **простит**. // Чтобы печка **разгорелась**, / Надо жару **поддавать**. / Чтоб **частушка** лучше **пелась**, / Надо **пляской** **помогать!** // Я, бывало, **запевала** / За себя и за людей. / А теперь – что такое – / Изменил меня злодей.* Замужество как ситуация нарушения гармонии, перехода в чужой мир характеризуется в частушке утратой способности петь и плясать: ***Попляшите-ка, ботиночки**, / вам больше **не плясать**. / Выйду замуж, стану бабой – / Вам на полочке **лежать**. // Мать моя **лохматая!** / Зачем меня **просватала?** / Все подруженьки **запели**, / Я одна **заплакала**.*

Схожим образом мотив музыки воплощается в образе *гармониста*. Гармонист и гармонь являются собственно частушечными образами, и в них во всей полноте реализуется жанровое представление об идеальном мироустройстве: идеальный мир частушки – это прежде всего мир веселья (*Полюбила **гармониста**, / Заругала меня **мать**. / Не ругай меня, **мамаши**, / Развеселый **будет***

зять. // *Мой миленок гармонист, / А я песельница. / Он играет, я пою – / У нас весело в краю!*), а гармонист в этом идеальном мире – образ идеального партнера, к соединению с которым стремится героиня частушки (*Гармониста любить – / Надо чисто ходить, / А растрепою такой / Не полюбит никакой.*). В то же время законы карнавального отражения мира в рамках рассматриваемого жанра даже идеального героя – гармониста – представляют с выраженным оттенком иронии. Частушка, как поздний жанр, уже не содержит полярных положительных оценок, и если ценности, доставшиеся этому жанру от классических традиционных жанров («любовь», «семья» и т.д.), воплощаются по принципу «зеркального отражения», то символический комплекс, связанный с единицей гармонист, представляется как более сложный, неоднозначный – «живой»: *Гармониста я любила, / Не попала за него! / Не хватило капитала / У папаши моего! // Гармонист пошел на низ, / Мы ему поклонялись. / Наши низкие поклоны / Ему не понравились.*

Мать и отец, как жители дома, в частушке становятся разрушителями гармонии: *Я иду, иду домой, / А мать качает головой: / «Ненагульна моя доченька / Является домой!» // Меня мама била – ой! – / Об скамейку головой. / Она била, говорила: / «Приходи раньше домой!».* Безотносительно категории «дом» мать остается носителем гармонии, положительной оценочности: *Ой, спасибо тебе, мама, / Что веселу родила. / Хоть и горе – не беда, / Я веселая всегда!*

С образами милого и соперницы в частушке связано оценочное выражение категории «измена», обладающей ярко выраженной ценностной окраской в рамках любой культуры. Но частушечное «перевертывание» этических ценностей предписывает героине проявлять такую реакцию на измену, которая неизвестна другим жанрам традиционного фольклора, – героиня отвечает «активными действиями», развивающимися по законам карнавализации: *Меня милый изменил, / На козе уехал в Крым, / А я маху не дала – / На корове догнала. // Меня милый изменил, / А я не опешила: / В коридоре догнала / И пинков навешала. // Мил измену заявляет, / Я измены не боюсь. / Я не с первеньким гуляю, / Не с последним расстаюсь.* Подобную реакцию этическая норма частушки предписывает и в отношении соперницы: *Ты, соперница моя, / Не ходи*

навстречу: / Глаза тебе повыдери, / Навеки изувечу! // Я свою соперницу / Увезу на мельницу, / Измелю ее в муку / И лепешек напеку! // Дрыгай, дрыгай, потолок, / Дрыгай, потолочина! / Уходи, соперница, / Пока не поколочена! // Я надену кофту рябу, / Рябую-прерябую, / А кто с мылым сядет рядом – / Морду покорябаю!
Фольклорный принцип взаимообусловленности эстетических и этических ценностей определяет особый акцент на описании внешности соперницы в частушке: *У моей соперницы / Тоненькие ножки, / Голова как у совы, / Голос как у кошки! // У моей соперы Веры / Вот такие волоса. / Ты сиди, соперя Вера, / Не выпучивай глаза!*

Особую специфику приобретает в частушке ценностно окрашенная категория времени. Если в лирической песне линейное время оценочно не ориентировано, то в частушке, как жанре внешне принципиально дистанцирующемся от традиционного, бинарная оппозиция «раньше/теперь» получает значительную аксиологическую нагруженность: *Ой, какие были косы / У моей у милочки! / А теперь-то на затылке / Только фигочки. // Вы, цветочки-огонечки, / В сентябре повянете. / Чернобровые мальчишки, / После нас помянете. // Я, бывало, выйду-выйду – / У меня миленок есть. / А теперь я выйду-выйду – / Не с кем времечко провести.* Указанная внешняя дистанцированность частушки и в рассматриваемом случае не выражает внутреннее изменение ценностей, на что указывает то обстоятельство, что полюс положительной оценки находится в прошлом.

Подводя итоги анализа ценностной модели частушки, отметим, что в частушке, с одной стороны, как и в лирической песне, представлен мир стабильных ценностей. С другой стороны, в частушке появляются новые объекты оценивания, связанные с миром бытовым.

Субъект оценки в частушке, как и в лирической песне, остается единым, коллективным, но данный жанр, демонстрируя зачатки формирования индивидуального начала в народной эстетике, фиксирует формальные проявления субъективности оценивания. При этом на самом деле отступление от традиционной нормы называется мнимым и строится по принципу «антинормы».

Кроме того, частушка демонстрирует принципиальное отталкивание от нормы еще и потому, что является по своей природе жанром молодежным.

Реализация ценностной картины **современного фольклора** отличается от традиционной. Если традиционная культура характеризуется социокультурным единством, то отличительным свойством современной среды бытования фольклора является ее внутренняя гетерогенность. Как уже отмечалось, современный фольклорный дискурс представляет собой конструктивное образование, состоящее из множества дискурсивных сфер, заданных системой современных коммуникативных областей. Каждая коммуникативная сфера демонстрирует свои ценностные приоритеты и нюансы их реализации, вариативно проявляющие, однако же, систему общечеловеческих ценностей. Таким образом, ценностная картина мира в современном фольклоре отличается структурной неоднородностью. Внешняя неоднородность определяет внутреннее содержание ценностной системы.

Рассмотрим специфику представления ценностной модели мира в жанре **анекдота**.

Современный анекдот – это один из жанров городского фольклора, «создаваемый и функционирующий в среде *демократической городской интеллигенции*. Эта его социокультурная функция определяет и содержание анекдота, и его жанровое разнообразие, и его национальное своеобразие, и характер специфически-анекдотического юмора»¹.

Анекдот получил наиболее полное развитие в период становления советского тоталитарного строя, частично компенсируя потребность соответствующих социальных слоев населения в обсуждении фактов окружающей действительности. Анекдот является прерогативой наиболее склонного к рефлексии социального слоя – интеллигенции, и именно с этой позиции формируется ценностная картина мира, реализуемая в рамках данного жанра (коллективный **субъект** оценки – интеллигенция). При этом карнавальное начало анекдота определяет его как жанр, фиксирующий мир, оппозиционный официальной доктрине (официальной

¹ Каган М.С. Анекдот как феномен культуры: Вступительный доклад. Режим доступа: www.antropology.ru, свободный. Загл. с экрана.

норме), и это возводит анекдот к средневековому карнавалу, который, по утверждению М.М. Бахтина, «означал как бы временное освобождение от господствующей правды и существующего строя, временную отмену всех иерархических отношений, привилегий, норм и запретов. Это был подлинный праздник времени, праздник становления, смен и обновлений. Он был враждебен всякому увековечению, завершению и концу»¹. Ориентированность на смеховое, карнавальное начало проявляет значительное сходство анекдота с частушкой, но, в отличие от анекдота, основной сферой функционирования частушки является молодежная среда.

Восприятие мира с позиции интеллигенции, формирующее, по утверждению М.С. Кагана², жанровую специфику анекдота, определяет, в том числе, и особенности формирования ценностной модели мира, фиксируемой в рамках рассматриваемого жанра. Рефлектирующее современное сознание не просто «присоединяется» к коллективной оценке с позиции коллективной нормы, но и осмысленно вычлняет из многообразия представленных в анекдотах позиций ту, которая в наибольшей степени соответствует его собственной, тем самым индивидуализируя оценивание. При этом, в отличие от частушки, призванной реализовывать экспрессивно окрашенный отклик на реальную бытовую ситуацию, анекдот может воспроизводиться как в связи с конкретной ситуацией (ср.: «про это есть такой анекдот...»), так и в сугубо развлекательных целях (потому что «свежий», или «любимый», или «понравился»), и в последнем случае его ценностное содержание остается прагматически нереализованным.

Структура **объекта** оценки в рамках рассматриваемого жанра неоднородна – оцениваемый современный мир распадается на отдельные миры, в рамках каждого из которых действуют свои законы «идеального бытия» и, соответственно, выстраивается своя система ценностей. Это отличает анекдот от жанров традиционного фольклора, где объектом оценивания становятся единый

¹ *Бахтин М.М.* Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1965. Режим доступа: <http://bahtin-mm.viv.ru>, свободный. Загл. с экрана.

² *Каган М.С.* Анекдот как феномен культуры.

фольклорный мир. Так, и в семейных, и в солдатских лирических песнях, и в пословицах, и в сказках и т.д. воплощением идеального мира является наиболее ценностно значимая категории «семья», представленная во всех жанрах традиционного фольклора в разных аспектах, в анекдоте же каждая сфера обсуждаемой действительности связана с разными ценностно значимыми категориями (в студенческих анекдотах оцениваются в первую очередь интеллектуальные способности, в анекдотах, связанных с определенной профессиональной сферой, – профессиональные навыки и т.д.).

Кроме того, в современном фольклоре, и в анекдоте в частности, ценностную окрашенность приобретают категории, связанные не только с внешним по отношению к человеку миром, – внутренний мир также становится объектом оценивания: злость (*Встречаются две приятельницы: / Я слышала, ты позировала известному художнику. / – Да, картина называется "Ева и змея". / – А с кого же он рисовал Еву?*), глупость (*Девушка говорит парню: / – Вань, ты такой умный, находчивый! Ты так много историй знаешь, / с тобой так интересно всегда! / – Маш... я нормальный, просто ты дура!*), хитрость (*Играют в карты медведь, волк и лиса. / Медведь говорит: / – А кто будет мухлевать, того будем бить по морде... Да-да-да, по наглой рыжей морде!*) и т.д.

Рассуждая о жанровых признаках анекдота, исследователи отмечают особую специфику его формы и содержания. Жанровые особенности формы анекдота рассматриваются многими исследователями: «...анекдот понятен слушателям потому, что им знакомы языковые и внешние характеристики персонажей и клишированные модели построения анекдота»¹. Среди формально-языковых признаков анекдота выделяют также особые «видовременные формы глаголов-предикатов. Как правило, это формы актуального настоящего времени или прошедшего времени совершенного вида в результативном значении, причем с обычной

¹ Шмелева Е.Я., Шмелев А.Д. Клишированные формулы в современном русском анекдоте. Режим доступа: www.ruthenia.ru/folklore, свободный. Загл. с экрана.

препозицией предиката в предложении»¹. Особенности содержания, эстетически закреплённые в его форме, заключаются в «открытии в нормальном человеке сумасшедшего»² и «обусловлены логикой жанра, а не мировоззрением его носителей»³.

Специфика анекдота как жанра современного фольклора заключается в усложнении (по сравнению с традиционным фольклором) структуры нормативного основания ценностной модели мира, что опять же связано с особенностями субъекта оценки – рефлектирующим сознанием интеллигенции. Если в традиционном фольклоре указанная структура двоична («норма/антинорма»), то в анекдоте она приобретает троичность: «норма/стереотип/антинорма». В соответствии с этим в основе ценностной модели носителей современного фольклора представление о жизненной норме, во многом совпадающее с традиционным («наличие милёнка для героини обязательно», «измена – это плохо» и т.д.), соседствует с определенной системой стереотипов, фиксирующих бытовое представление о положении вещей в мире (см. об этом в работе Е.Я. Шмелевой: «...культурные стереотипы, бытующие в обществе, включают в себя и знание стереотипного поведения героев анекдотов, и наоборот, представления о поведении, манере речи и «менталитете» персонажей анекдотов складываются под влиянием бытующих в обществе представлений о поведении той или иной этнической или социальной группы»⁴). При этом стереотипное содержание совсем не обязательно совпадает с реальным положением вещей («все жены и мужья изменяют друг другу», «все преподаватели мечтают завалить студента на экзамене»).

С некоторым допущением можно сказать, что система стереотипов в традиционном фольклоре не выходит за пределы нормы,

¹ Химик В.В. Анекдот как феномен культуры: Материалы круглого стола 16 ноября 2002 г. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2002. С. 22.

² Белоусов А.Ф. Современный анекдот // Современный городской фольклор. М., 2003. С. 583.

³ Там же.

⁴ Шмелева Е.Я. Семейный миропорядок сквозь призму русского анекдота // Логический анализ языка: Космос и хаос: Концептуальные поля порядка и беспорядка. М., 2003. С. 191.

лежащей в основе представления ценностной модели. Объектом обсуждения там становится непосредственно «антинорма» как система нарушения нормы (=стереотипов). В анекдоте стереотипы формируются на основании «антинормы», поэтому непосредственно «антинорма» в анекдоте обсуждению не подвергается. Так, в среде бытования анекдота традиционное представление о семейных ценностях, о нормах существования семьи сохраняется, но одновременно в силу специфики социальных условий стереотипным становится нарушение этих норм. Обратимся к примеру: *Муж застаёт свою благоверную в постели с любовником: / – Что он делает в нашей постели?! / Жена (блаженно): / – Чудеса...* Ситуация, когда жена изменяет мужу, представляется в рассматриваемом случае как стереотип. Социальная оценка нарушения семейных нормативов имеет формальное выражение (сохраняется двучленная система «муж–жена», в единицах «он» / «наша» реализуется оппозиции «свой / чужой»), но это не является целью обсуждения, оставаясь в пресуппозиции оценочного акта. А те качества мужа, которые высмеиваются в данном анекдоте, как раз и проявляются как ценностно значимые. Как нормативные положения частушки, так и стереотипы анекдота обсуждению в аксиологическом аспекте практически не подвергаются, оставаясь в пресуппозиции оценочного акта.

В анекдоте, как аналитическом жанре, обсуждению, наоборот, может подвергаться нормативное в общечеловеческом смысле (а следовательно, и в традиционном фольклоре) положение. Среди немногочисленных примеров – анекдот, где норма – то, что «мужчина должен быть женат» (стереотип «все жены изменяют мужьям» остается в пресуппозиции оценочного акта): – *Вась, вчера прихожу домой, открываю дверь – а там голый мужик! / – Да-а-а, Коля, все жёны изменяют мужьям! / – Причем здесь это, Вася, – я же холостяк!!!*

Анекдот как жанр современного фольклора призван отражать ценностную картину мира, соответствующую реальному времени жизни социума. Это отличает его от системы традиционного фольклорного мировидения, устойчиво ориентированного на традицию, на традиционные объекты оценивания, воспринимающего норму как неизменную, постоянную величину (при этом даже частушка, как наиболее мобильный, поздний жанр традиционного

фольклора, выстраивает свое нормативное содержание на основе традиционной нормы). В связи с этим, несмотря на стабильную тематическую структуру анекдотов¹, каждый период жизни социума определяет востребованность конкретных тематических пластов. Так, в период застоя наиболее популярными оказываются анекдоты политические, с участием советских политических лидеров. Более того, в самой «жанровой рамке» анекдота заложено свойство отражать действительность как величину непостоянную, а значит, принципиально подверженную критике.

В связи с вышесказанным особую роль в организации ценностной модели анекдота играет категория времени. Уже в самой «жанровой рамке» анекдота названная категория получает имплицитное выражение, маркируя объекты обсуждения как не соответствующие норме в данный временной период – преходящие ценности. Так, в традиционном фольклоре оценка внешности выступает лишь в качестве механизма реализации этической оценки (положительные герои обязательно красивы), в анекдоте же внешние качества находятся вне зависимости от этической стороны жизни и приобретают самостоятельный аксиологический статус: – *Почему женщина не идёт на митинг: по убеждениям или из осторожности?* / – *Ошибаетесь! Ей просто не в чем!!* // – *Ты знаешь Сидорову?* / – *А кто это?* / – *О! Это страшная любительница джаза! Настолько страшная, что, увидев её на концерте, джазмены тут же убегают со сцены!* В целом ряде анекдотов ценностно значимая категория времени приобретает эксплицитное выражение через представление темпорально окрашенных реалий: новые русские, мерседес/запорожец, зеленый/деревянный, рэкетир/предприниматель и т.д.: *Врезался запорожец в мерседес. Из «мерса» выходят крутые братки и говорят дедушке – водителю запорожца: // – *Ну, мужик, ты попал! Плати тысячу баксов!* // *Открывает дедок багажник, а он набит крупными купюрами в пачках.* // *Братки (в ужасе): – Дед, ты кто?!!* // – *Да я пчелок развожу...* // – *Я тут весь район развожу – таких бабок не имею!!!* Текстовое выражение категории времени в приведенном анекдоте проявляется в целом ряде оппозиционных пар: запорожец/мерседес, крутые братки/дедушка, бак-*

¹ Каган М.С. Анекдот как феномен культуры.

сы/пчелки; при этом ярко выраженный отрицательнооценочный вектор, связанный с миром «новых русских», не свидетельствует о положительной оценке их «темпоральных оппонентов». Современный анекдот, таким образом, как, собственно, и все фольклорные жанры, выстраивает ценностную модель, в рамках которой в область приоритетов попадают «вечные» ценности – семья, терпение, доброта и т.д., а любые темпорально окрашенные детали, в силу специфики жанра, маркируются как негатив.

Реагируя на каждую конкретную общественную ситуацию, современный анекдот фиксирует минимальные с точки зрения истории человечества изменения ценностных приоритетов современного общества: *Вовочка на уроке математики говорит училке: / – Марьяна Сигизмундовна, математика не верна. / – Это почему, Сидоров? / – Ну вот у вас на столе лежат три яблока, а у меня в кармане всего один лимон, – и достаёт из кармана здоровенную пачку баксов. – Вот, а если бы математика была верна, у вас бы не было такой желтой кислой рожки.* Оцениванию подвергаются не столько интеллектуальные и профессиональные качества школьного учителя, сколько его неадаптированность к современным социальным условиям.

Вышеприведенные примеры демонстрирует и еще одно специфическое свойство ценностной ориентации современного фольклора – в его среде происходит социализация ценностей, в отличие от традиционной культуры, где действует единая для всех этика.

В целом в современном фольклоре, в силу «критичности» природы и специфики бытования, категория времени получает особое ценностное оформление, но при этом, в отличие, например, от частушки, где ценностные приоритеты всегда направлены в прошлое, в современном фольклоре полюс оценочности может меняться. Это опять же определяется особым аналитическим отношением к жизни, свойственным современному фольклорному субъекту оценивания, и позволяет выявлять положительные моменты как в прошлом, так и в настоящем.

В основе ценностной системы анекдота лежат как категории традиционного фольклора – «дом», «семья», «работа» и др., так и категории, порожденные современной действительностью (в основном это категории, связанные с технократизацией жизни). Из-

менение ценностных ориентиров проявляется в разрушении традиционных категорий, причем разрушение одной из них приводит к перестройке всей категориальной системы. Так, в анекдоте *Звонит любовник любовнице*: / – *Давай встретимся.* / – *Давай.* / – *А где?* / – *Давай у меня дома.* / – *А муж?* / – *А его сейчас нет, он в Интернете.* – наблюдается разрушение наиболее ценностно нагруженной для фольклора категории «семья»: пара «муж/жена» подменяется парой «любовник/любовница», и это один из стереотипов современного сознания; номинация муж используется по отношению к некоему третьему, «чужеродному», персонажу, нарушающему гармонию. При этом, как следствие, перестраивается и категория «дом», вступая, с одной стороны, в оппозицию с категорией «Интернет» (по аналогии: «свое/чужое»), с другой стороны, границы «дома» разрушаются, формируя новое ценностно значимое пространство. Кроме того, Интернет в данном случае выступает как важный для современного сознания фактор техногенной среды, нарушающий нормативное содержание категорий, наследуемых из традиционной культуры.

Приведем пример, где актуализация общефольклорных семейных ценностей в пресуппозиции оценочного акта выполняет функцию художественной персонификации коллективного субъекта оценки:

Берлога медведей. Папа-медведь читает газету, мама-медведь готовит ужин, сынишка-медвежонок играет. Тут он подходит к Папе и говорит: / – Пап, а пап покажи мне кукольный театр. / – Ты че, сынок, не видишь – я занят! / – Ну, пап, пожалуйста, покажи! / – Ладно... / Папа-медведь идет к кровати и из-под нее достает два человеческих черепа, надевает их на лапы и говорит разными голосами: / – Петрович, а здесь водятся медведи? / – Да какие тут, на фиг, медведи?! Наделение медведей антропоморфными нормативными свойствами (наличие семьи) переносит ценностные приоритеты из мира людей в мир животных, тем самым фиксируя отрицательные качества людей.

Итак, анекдот как жанр современного фольклора демонстрирует определенные особенности реализации ценностной модели мира. Оцениваемый мир лишен единства, мозаичен, в рамках каждого его фрагмента выстраивается своя система ценностей. Не толь-

ко внешний (как в традиционном фольклоре), но и внутренний мир становится объектом оценивания.

В отличие от традиционного фольклора, представляющего мир стабильный, анекдот фиксирует ценности, локализованные во времени. Негомогенен и субъект оценки в современном фольклоре. В частности, коллективный **субъект** оценки в анекдоте – интеллигенция. Ее рефлексивное сознание предполагает индивидуализацию оценивания, что выражается в осмысленном вычленении одной из многообразия представленных в анекдотах позиций.

Информационное пространство современности, активно участвующее в формировании общего знания, расширяет границы фольклорной действительности. В данном разделе рассматриваются ценностные модели специфического корпуса текстов современного фольклора, функционирующих, как показатели **явления прецедентности, в фольклоре.**

Задача фольклорного текста, в том числе и современного, – адаптировать информацию, сделать ее общим знанием: сформировать представление о мироустройстве, о пространственно-временных моделях, о «хорошем» и «плохом» и др. В настоящее время в формировании и выражении этого знания принимает участие не только фольклор в классическом понимании, но и кино, телевидение, массовая литература, мода, реклама¹. Возникают новые типы текстов, которые функционируют по законам фольклорных: киноцитаты (*Не виноватая я! Он сам пришел!* – кинофильм «Бриллиантовая рука»), цитаты из популярных телепередач (*У нас нет секса!* – российско-американский телемост, 1988 г.), фразы из популярных песен (*Мой адрес не дом и не улица*), растиражированные в СМИ фрагменты политических текстов (*Хотели как лучше, а получилось как всегда!* – приписывают В. Черномырдину), рекламные цитаты (*Скажите точно, скока вешать граммов!* – реклама нового тарифного плана Билайн) и т.д.

¹ Современный городской фольклор. М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 2003. 736 с.; *Богданов К.А.* Прецедентные тексты в современном фольклоре. Режим доступа: www.ruthenia.ru/folklore, свободный. Загл. с экрана.

«Такие высказывания, с одной стороны, отличаются от классического фольклорного материала наличием авторства, а с другой стороны, принципиальное равнодушие членов корпоративной группы к их авторству, специфика их функционирования в соответствующей коммуникативной сфере позволяет рассматривать такой материал как фольклорный: "фольклорно" то, что "всем известно", что не предполагает каких-то специальных объяснений внутри данной социальной группы (но предполагает такие объяснения для представителя иной группы)»¹. Рассматриваемые тексты при всех различиях имеют общее: в момент актуализации в естественном речевом акте говорящий осознает наличие для каждого такого текста определенного первоисточника и рассчитывает на то, что слушающий с этим источником знаком также. При этом участники коммуникации могут «забыть» или ошибочно идентифицировать происхождение произносимого текста, но его принадлежность к некоторому сложившемуся в рамках данного коллектива «культурному слою» массовой культуры остается для них бесспорной. Таким образом, описываемый материал объединяет такое свойство, как прецедентность. Прецедентность их поддерживается регулярной цитируемостью, что является показателем их высокой значимости для определенной общественной группы: семьи, студенческого коллектива и др. Соответственно, одна из причин выбора текста, воспроизводимого в дальнейшем как прецедентный, – выразить «идеологию» группы, актуализировать ее ценностные модели. Среди других причин «фольклоризации» текста исследователи называют следующие: адресация фильма широкой зрительской аудитории, «актерская индивидуальность и характер создаваемого образа»², прагматическое значение цитаты в структуре фильма³ и др.

Отметим, что полная содержательная картина рассматриваемых текстов (как текстов фольклорных) проявляется только в рамках типической конституации их реализации. Так, для киноцитаты – *Приезжайте к нам на Колыму... / Спасибо, лучше вы к*

¹ Богданов К.А. Указ. соч.

² Кожевников А.Ю. Киноцитаты в разговорной речи // Современный городской фольклор. С. 667.

³ Там же. С. 665–702.

нам! (кинофильм «Бриллиантовая рука») – возможны разные варианты прочтения ее аксиологической модели. 1. В ситуации, предполагающей ответ на нежелательное приглашение к поездке на большое расстояние, ценностно окрашенный топоним Колыма реализует оценочную семантику «объект, расположенный дальше допустимой нормы». 2. В ситуации диалога с собеседником, вступающим в «сложные» отношения с законом, названный топоним актуализирует национально-культурно окрашенную оценочную семантику «место ссылки». Отметим, что, в отличие от киноцитат, рекламные цитаты выполняют функции фольклорного текста только ограниченный период времени – до тех пор, пока общество помнит рекламу-источник и поэтому способно ее интерпретировать.

Современное рефлексизирующее сознание (**субъект** оценки), воспринимающее действительность не как данность, а как предмет обсуждения, разрушает сакральное отношение к тексту, свойственное традиционному сознанию. В связи с этим возникает возможность употребления фольклорных текстовых форм, утрачивающих свойство ценностной стратификации, только в целях формально-речевого разнообразия (ср.: *Бабуля, ты туды не ходи, ты сюды ходи! Снег башка попадет – совсем мертвый будешь!* – кинофильм «Джентльмены удачи»). Таким образом, не все случаи актуализации рассматриваемого явления становятся предметом описания данного исследования, а только те, функционирование которых имеет те же аксиологические цели, что и традиционный фольклор (*Кто догадался повесить пиджак в шкаф?!!* – реклама сока «Моя семья» – функционально приближается к пословице, употребляющейся в ситуации обнаружения потерянной вещи на привычном месте).

В связи с тем, что фольклор оценочен по своей природе, рассматриваемые тексты уже самим фактом попадания в систему современного фольклора предполагают апелляцию к коллективной норме, зафиксированной в их источниках (кинофильмах, рекламах и т.д.).

Объектом оценки становятся как темпорально зависимые (ссылка, воровство, вредные привычки – курение и др.), так и «вневременные» реалии (семья, любовь и т.д.). В результате вы-

страивается ценностная модель, включающая как традиционные, так и преходящие ценности.

Ценностное моделирование по-разному осуществляется в текстах разной природы. В основе модели, выраженной во всех видах текстов, как и в любых формах фольклорного существования, лежат вечные ценности. При этом **в киноцитатах** традиционные ценности «наследуются» из эстетической системы кинофильма, заданной и отрефлексированной его авторами. Оценочное содержание в основном выстраивается по аналогии с заданным, новых рефлексий конситуация употребления киноцитаты не предполагает. Возведение к норме осуществляется за счет того, что в тексте, функционирующем по законам фольклорного, единицы приобретают свойство выражать общее через конкретное: *А я еще и **вышивать** могу, и на машинке...* (мультфильм «Каникулы в Простоквашино») – отмеченные единицы обозначают любые умения человека, их перечисление передает множественность таких умений, что соответствует норме; *Раньше **сядешь** – раньше **выйдешь*** (кинофильм «За прекрасных дам») – отмеченные единицы обозначают начало и конец любого регулируемого человеком процесса, его своевременное осуществление соответствует норме.

В процессе «фольклоризации» статус киноцитаты приобретают тексты, в которых в фильме-источнике обсуждаются не сами аксиологически значимые объекты, а нюансы их существования. Так, не подвергая сомнению ценностную значимость категории «любовь», в киноцитате *Хочешь **большой** и **чистой** любви? Тогда приходи, как **стемнеет**, на **сеновал**...* (кинофильм «Формула любви») обсуждается столкновение общественных представлений о любви духовной и телесной, что проявляется в формально-структурном и содержательном противопоставлении единиц *большой и чистой* и *стемнеет, сеновал*. В рамках акта цитации новые рефлексии отсутствуют, наследуются заданные аксиологические модели.

Специфику ценностной модели **рекламной цитаты** определяет природа рекламного текста, направленного на привлечение внимания покупателей товаров и услуг и, соответственно, апеллирующего к «вечным» ценностям: семья, любовь, дружба и т.д. Но в конситуации цитирования рекламного текста рефлексующее мировосприятие подвергает эти ценности анализу и актуализиру-

ет тем самым нюансы их существования. Так, рекламная цитата «Тэфаль», *ты всегда думаешь о нас* (реклама бытовой техники фирмы «Тэфаль»), приведенная, например, в ситуации повышенного внимания, переходящего в бестактность, фокусирует внимание на ценностно значимой категории «забота», но, подвергая ее переосмыслению, обсуждает ненормативные проявления этой общечеловеческой категории. При этом акцентируется ненормативность, заложенная в самой рекламе-источнике: гуманитаризованная категория «забота» приписывается технике «Тэфаль». Рекламный текст *Нежней, Марина, еще нежней...* (реклама шоколада) фокусирует внимание на ценностно значимой категории «терпимость» и обсуждает ее внешние, поведенческие нюансы – умение сдерживать эмоции в соответствии с социальными требованиями.

Ценностный мир рекламных цитат отличается внутренней неоднородностью в связи с жесткой ориентированностью на адресата: создатели рекламного текста апеллируют к тем ценностям, которые представляются наиболее значимыми для определенной социальной группы потребителей. При функционировании указанных текстов в качестве фольклорных социально зависимые ценностные установки сохраняются, хотя адресная зависимость разрушается. Так, рекламные цитаты *Шок – это по-нашему!* и *Не тормози! Сникерсни!* (реклама шоколадных батончиков – товара из наиболее востребованных молодежью) апеллируют к ценностям, значимым для молодежной аудитории. Использование текстов рассматриваемого типа представителями других поколений происходит в ситуации, где указанные «молодежные» характеристики становятся востребованными («*Не тормози! Сникерсни!*» – в ситуации, требующей немедленного разрешения).

В связи с тем, что в исследуемых текстах современного фольклора обсуждению подвергаются не столько сами аксиологически значимые объекты, сколько их функциональные нюансы, содержательная специфика наиболее значимых ценностных категорий остается непроявленной (пребывая в области априорного знания). «Вечные» ценности рассматриваются в особых бытовых ситуациях, актуализирующих нюансы современного человеческого существования. В результате аксиологическому маркированию подвер-

гается живой бытовой мир, сориентированный, как и в анекдоте, на перспективу, а не на традицию.

Подведем итоги. Культуре каждого этноса присущ свой, уникальный, набор ценностей, отраженных в различных формах ее существования. Фольклор, являясь одной из таких форм, представляет ценностную модель мира в ее эстетическом воплощении, с одной стороны, аксиологически ориентируя наиболее значимые факты человеческого существования, а с другой – принципиально дистанцируясь от реальной действительности, фиксируя идеализированную модель бытования традиционного фольклорного социума, сквозь призму которой и воспринимается реальный мир. Сопоставление ценностных моделей традиционного и современного фольклора выявляет определенную динамику мировосприятия от онтологического к рефлексизирующему.

Объектом оценивания в традиционном фольклоре становится внешний по отношению к человеку мир. При этом эстетическое моделирование внешнего мира косвенно фиксирует аксиологически сориентированные внутренние переживания «фольклорного человека».

Механизм ценностного моделирования традиционного фольклора представляется как процесс сопоставления стабильных ситуаций и состояний мира с определенным этико-эстетическим идеалом. Специфическим свойством ценностной ориентации современного фольклора является происходящая в его среде социализация ценностей (в отличие от традиционной культуры, где действует единая для всех этика). Современный фольклор, фиксируя результаты разрушения цельного традиционного сознания, моделирует мир в процессе коллективных и индивидуальных ценностных рефлексий, в результате чего содержание ценностно окрашенных категорий теряет единство и стабильность, варьируясь в рамках социальных групп, жанров (статус которых также социально зависим) и даже отдельных произведений. Субъект оценки в современном фольклоре негомогенен. Рефлексизирующий характер современного фольклорного субъекта оценивания приводит также к тому, что в современном фольклоре в структуру ценностного моделирования включается и мир внутренний.

Центральное место в ценностной модели мира традиционного фольклора занимают такие аксиологически окрашенные катего-

рии, как семья, любовь, дом. Их содержание в фольклорной эстетике всегда ценностно поляризовано (чаще – на полюсе положительной оценки).

В основе ценностной системы современного фольклора лежат как категории традиционного фольклора, так и категории, порожденные современной действительностью (в основном это категории, связанные с технократизацией жизни). Темпорально окрашенные объекты в большинстве маркируются как негативные.

Важнейшим параметром реализации эстетической составляющей фольклорного дискурса является система фольклорных жанров.

Если в лирической песне как жанре традиционного фольклора реализуются ценности стабильные, независимые от времени, то в частушке, с одной стороны, представлен мир стабильных ценностей, с другой стороны, в силу карнавальной специфики жанра появляются новые объекты оценивания, связанные с миром бытовым. Субъект оценки в частушке, как и в лирической песне, остается единым, коллективным, но данный жанр, демонстрируя зачатки формирования индивидуального начала в народной эстетике, фиксирует формальные проявления субъективности оценивания. При этом на самом деле отступление от традиционной нормы оказывается мнимым и строится по принципу «антинормы».

Оцениваемый мир в анекдоте, как жанре современного фольклора, лишен единства, мозаичен, в рамках каждого его фрагмента выстраивается своя система ценностей, отличающаяся прежде всего локализованностью ценностей во времени. Рефлексирующий характер коллективного субъекта оценки определяет также специфику ценностного моделирования, осуществляемого в рамках явления прецедентности современного фольклорного дискурса.

В основе его аксиологической модели, как и в любых формах фольклорного существования, лежат вечные ценности; в процессе «фольклоризации» статус фольклорной цитаты приобретают тексты, в которых в источнике обсуждаются как сами аксиологически значимые объекты, так и нюансы их существования. При этом механизм представления ценностей зависит от источника прецедентности. Так, конситуация употребления киноцитаты не предполагает аксиологических рефлексий – ценности «наследуются»

из эстетической системы кинофильма-источника, заданной и от-
рефлексирующей его авторами, в конституции цитирования рек-
ламного текста рефлексирующее мировосприятие подвергает
ценности анализу, актуализируя нюансы их существования.

Глава 2. Ценностные картины мира современной чат-коммуникации ¹

Анализ чат-коммуникации дает основания говорить о двух уровнях аксиологической ментально-речевой деятельности, характер проявления которых определяется спецификой этого типа общения. Оба уровня коррелируют между собой, их анализ дает возможность выявить актуально значимые фрагменты русской картины мира, реализуемой в варианте молодежного сетевого общения.

Первый тип выраженных аксиологических рефлексий может быть определен как имплицитный. Современная интернет-коммуникация, задающая возможность принципиально многоканального общения, различающегося по темам, социальным группам коммуникантов, их профессиональному, образовательному уровню, культурным и прочим предпочтениям, дает реальную возможность осуществления выбора коммуникативного пространства. Хотелось бы подчеркнуть аксиологическую значимость выбора чаттерами моделируемых миров разных чатов и моделируемых образов собственной личности, представляемой в нике.

¹ Поддержка данного проекта была осуществлена АНО ИНОЦентром в рамках программы «Межрегиональные исследования в общественных науках» совместно с Министерством образования Российской Федерации, Институтом перспективных российских исследований им. Кеннана (США) при участии Корпорации Карнеги в Нью-Йорке (США), Фондом Джона Д. и Кэтрин Т. МакАртуров (США). Точка зрения, отраженная в данном документе, может не совпадать с точкой зрения вышеперечисленных благотворительных организаций.

Аксиологическая рефлексия осуществляется через манипуляции различными языковыми образами, задаваемыми именами: именами сайтов, чатов, форумов. Этот тип ценностной рефлексии может быть определен как скрытая, имплицитная аксиология, выявляемая в процессах выбора имен. По нашему мнению, первый уровень аксиологически направленных рефлексий коммуникантов в виртуальной реальности связан с осмыслением пространственно-временной локализации избранного типа сетевого общения. Ценностные ориентации в виртуальном дискурсе начинают проявляться уже на самом первом этапе вхождения – человек, входящий в виртуальную реальность (например, коммуникативное пространство Интернет), свободен в выборе вариантов коммуникативной среды, так как пространство Интернет, по сути, представляет собой совокупность социальных подпространств – сайтов, форумов, чатов – пространств, созданных для коммуникации.

Чаты могут быть классифицированы по нескольким основаниям: во-первых, можно выделить чаты, организуемые для официального и неофициального общения. К первым мы относим научные и научно-образовательные чаты. Чаты неофициального общения тоже неоднородны. Анализ показывает, что можно говорить о существовании публичных, открытых чатов, организованных на сайтах, и чатов «элитарных», организованных по интересам, как, например, чаты ролевиков.

Сам выбор такого подпространства есть, с одной стороны, акт самоидентификации, потому что, как мы полагаем, название чата моделирует на самом обобщенном уровне определенный социально ориентированный коммуникативный дискурс, задает коммуникативные рамки – тематику, стиль, манеру речевого поведения коммуникантов, с другой стороны, осуществляемый выбор коммуникативного пространства может быть проинтерпретирован как аксиологический шаг: выбор значимого для личности определенного типа коммуникации. Пользователь выбирает коммуникативное пространство, социальные параметры которого уже определены метафорическим именем: *общага, тусовка, сисоп, грамота, легенда, тихое место, чат хабаровской ттс, в замке у геральта,*

фрегат, музпорт и др.¹ Коммуникация – всегда выход к «другому», поиск коммуникантов – поиск «другого», тождественного «я» относительно коммуникативных потребностей. Например, один и тот же человек, регулярно входя в одни чаты и «проходя» мимо других, обнаруживает систему собственных коммуникативных приоритетов и в то же время их «неуникальность», общность с коммуникативными интересами других постоянных посетителей того или иного чата. Так, входя в чат *ciscon*, чаттер актуализирует ценность для него профессионального общения, в чате *общага* реализует потребность в дружеском общении в среде близких по социально-возрастному параметру коммуникантов.

Чат-коммуникация – дискурс личностный, субъект актуализирует в коммуникации прежде всего свои индивидуальные качества. Своеобразие же личностного проявления определяется возможностью моделирования говорящим своего образа в процессе коммуникации, более того, возможностью множественного моделирования. Вместе с тем чат-коммуникация – сфера общения, проявляющая в яркой форме степень несвободы личностного начала от разного уровня включений в социально значимые измерения. Широко обсуждаемые в современных гуманитарных науках процессы самоидентификации, проявленные в чат-коммуникации, могут быть проинтерпретированы в аспекте самооценки. Коммуникант, входя в чат, самым способом своего включения в общение может обнаружить определенным образом то, как он оценивает себя, какие стороны его личности являются для него наиболее важными. Самоидентификация понимается как отождествление себя с определенной социальной группой, образом, архетипом и т. д., например: *я – инженер; я – отец; я – мужчина* и т. д. Структура самоидентификации личности может быть представлена как кластерная модель, включающая семь уровней: социально-профессиональный, семейно-клановый, национально-территориальный, религиозно-идеологический, эволюционно-видовой, половой и духовный. Наиболее глубокий уровень в структуре личности – духовный, он, по мнению М.А. Щербакова, и является

¹ В работе использованы материалы чатов «Общага», «Тихое место», «Легедна». Авторы статьи выражают благодарность участникам чатов «Тихое место» и «Легенда» за предоставленные материалы.

ядерным. Социальные же слои самоидентификации являются поверхностными и выявляются наиболее легко, т.к. отражены в вербальной деятельности индивида. Иерархия уровней проявляется в снижении их непосредственной вербализуемости¹. Выбор ника, призванного не только идентифицировать коммуниканта, но и сообщить о нем определенного рода набор коммуникативно значимой информации, может быть проинтерпретирован и как акт скрытой самооценки, реализованный через номинацию субъективно актуальных, значимых параметров собственной личности. Аспект, через который чаттер идентифицирует себя в имени, интерпретируется как выделенный в его ценностной картине мира. Например, ник *Багира* или *Киска* обозначает, что говорящий в именовании предидирует себе такие качества, как повышенная экспрессивность в сочетании с агрессивностью и сексуальностью, что свидетельствует о значимости в ценностной картине мира гендерного аспекта проявления личности, в данном случае – женского начала. Использование ника *Камаз* через актуализацию мужского начала, понимаемого этим чаттером, в первую очередь как большая физическая сила и негибкость, свидетельствует о том же².

Второй тип аксиологии может быть определен как эксплицитный, выраженный в совокупности оценочных, эмотивно-оценочных речевых жанров чат-коммуникации.

Остановимся прежде всего на аспектах выражения ценностной картины мира, проявленной в совокупности оценочных РЖ в пространстве чат-коммуникации.

Как представляется, особенности языкового воплощения чат-коммуникации определяются комбинацией доминирующих функций этого вида компьютерного общения. В чат-коммуникацию выходят, чтобы *поболтать* – установить *вербальный контакт* с партнером, который также входит в пространство интернет-коммуникации с той же целью. По определению чаттеров, чат – это своеобразный клуб общения, где, с одной стороны, возможен выбор темы разговора, с другой – пространство общения открыто

¹ *Щербаков М.А.* Модель уровней самоидентификации личности.

² См. об этом далее, с. 316.

и доступно в любой для коммуниканта момент (конечно, при условии, что у него есть выход в Интернет).

Коммуникация в чате является средством самовыражения говорящего, содержательной доминантой этого типа общения является *выражение отношения говорящего к миру*, который центрирован самым определенным образом – относительно самого говорящего. Эффективность установления и поддержания вербального контакта зависит от открытости говорящего к *партнеру по коммуникации*, предполагает наличие непосредственно выраженного эмоционального и эмоционально-волевого отношения к адресату. Таким образом, можно говорить о том, что доминирующими в чат-коммуникации являются *контактоустанавливающая, экспрессивная, волевая* функции. Подобная связка функций предопределяют высокий эмоционально-оценочный тон чат-коммуникации.

В других типах коммуникации с подобной функциональной направленностью, протекающих в условиях непосредственного аудио-визуального контакта, такое отношение может быть передано посредством привлечения единиц других семиотических систем: мимики, жестикуляции, положения в пространстве, невербального мимического звучания, в интернет-коммуникации вырабатывается свой набор средств выражения открытой эмотивной и волевой направленности общения.

В целом анализируемый тип дискурса характеризуется принципиальным подчинением референтной, информативной функции связке фатической, эмотивной и волевой функций, ее более низким функциональным статусом. Чаттеры выходят в коммуникацию для общения на темы, им интересные, ищут партнеров с такой же коммуникативной референтной устремленностью, но при этом тема общения остается средством самовыражения для коммуникантов. Тема интересна им постольку, поскольку они могут найти в ней личностное отражение, иначе говоря, в коммуникативном фокусе находится не диктум, но модус. Об этом свидетельствует выбор темы, подчас довольно парадоксальный, например, наряду с такими темами (топиками), как: *Топик канала: <http://mesto.gfns.net/people.html> наконец-то работает! Замечания принимаются, внимательно выслушиваются и все.-) // Каналы молчат целыми днями... С этим надо что-то делать, вам не*

kaa?, можно встретить и следующие: [22:07] *** Topic is 'Сменилось начальство, дрозды прилетели... расцвела капуста... // [00:12] *** Topic is ' http: // mecto.gfns.net/ | Кто осторожнее в своих обещаниях, тот точнее в их исполнении. Ж. Руссо¹.

Подобные примеры позволяют говорить о том, что смысл такой коммуникации не в изложении фактов, но в выражении отношения к ним, факт интересен постольку, поскольку он позволяет коммуникантам самовыразиться. И более того, тема коммуникации – это лишь повод для установления контакта, т.к. зачастую, если контакт между коммуникантами уже установлен, является фактом пресуппозиции, топик оказывается совершенно незадействованным: [00:12] *** Topic is ' http: // mecto.gfns.net/ | Кто осторожнее в своих обещаниях, тот точнее в их исполнении. Ж. Руссо □' // [00:13] * Kot[Tambur`mode] снамки, всем Тёплой Ноци:) // [00:13] *** Joins: Kaa (eggdrop@x-1416.ru) // [00:13]*** Quits: Kot[Tambur`mode] (wherecat@x-1813.p7.col.ru□) (Quit: Leaving□) // [00:15] <Masha> Керзма, ты проснулся или нет?:-) // [00:15] <Kergma> ждите...

Параметр доминирования/подчинения референтной функции может быть рассмотрен как противопоставляющий чат-коммуникацию телеконференции, форумам, в которых тема общения является доминирующим коммуникативным скрепляющим механизмом. Хотя и в этом случае возможен отход от темы общения, точно так же, как и в реальной коммуникации. «Выдерживание» темы наблюдается в случаях ее сугубой прагматичности, направленности на информативный поиск: [12:05 28/02] **У меня не режится аська?** [3 – Krueger] Анонимно // [12:04 28/02] **Проблемка при записи CD-R** [3 – Finder] Finder // [12:03 28/02] **Нужен прайс Велкома примерно январь 2001 г....плз!!!** [1 – Сергей] Сергей // [12:02 28/02] **Срочно нужен фончик с тетрадными клетками, помогите найти плз.** [21 – Helena] OleLukoe.

¹ // – знак метатекстовый, используемый авторами раздела в соответствии со сложившейся традицией описания русской разговорной речи и служащий показателем границ реплик в полилоге; квадратные и угловые скобки – метатекстовые знаки, принятые в чат-коммуникации, в квадратных скобках фиксируется время выхода коммуниканта в пространство чата, в угловых – обозначается ник-нейм участника коммуникации.

Но в том случае, если тема форума ориентирована на самовыражение, коммуникацию как таковую, участники легко отступают от нее. Например, тема «*Мне хотелось бы ангелом стать, грудь твою от врагов охранять...*», заданная одним из коммуникантов, получает такое развитие: [27.11.2003 (17:11)] <Емеля -> Л-Чебурашка Ну да... "Как жаль, что Вы контужены не мной..."))) // [27.11.2003 (17:13)]< Л-Чебурашка -> Емеля [27.11.2003 (17:07)] // И ты думаешь, что она сама к тебе прилетит // [27.11.2003 (17:14)] <Л-Чебурашка-> Емеля 27.11.2003 (17:11) // А мне всегда казалось трудным использовать тему уже кем-то гениально описанную, а у тебя получается) // [27.11.2003 (17:26)]<Л-Чебурашка -> // А файл я победила, между прочим) Так что "Живи спокойно, страна"))))))))))) // А еще я думала, что сегодня пятница... и хорошо, что не пятница – я к ней не готова морально)) // [27.11.2003 (17:49)], Емеля -> Л-Чебурашка [27.11.2003 (17:13)] /Так небо же... И если не сейчас, то позже она со мной соединится... Хотя... не все на небо попадают...)).

Рассмотрим ситуации вовлечения референтной функции коммуникации в чат-общении в порядке убывания значимости объективной информации для самого общения.

1. Случаи доминирования референтной функции, направленности коммуникативных интересов чаттеров на получение объективной информации конечно же наблюдаются в чат-коммуникации. Топик канала: <http://mesto.gfns.net/people.html> наконец-то работает! Замечания принимаются, внимательно выслушиваются и все.:-) | Каналы молчат целыми днями... С этим надо что-то делать, вам не каа? // [12:29] <Radahnar_Awaking> мыки // [12:30] <Miky> я:) // [12:30] <Miky> приветик:) // [12:30] <Miky> каналы точно молчат:) // [12:30] <Miky> это я и пришла проверить:) // [12:33] <Radahnar_Awaking> Мики – ты "Последнего Единорога таки скачала? // [12:37] <Miky> рад... муж стер мои закачки. не смогла я его скачать. // [12:37] <Miky> давно хотела сказать... но стыдно. мне. // [12:38] <Miky> удаляй наверное уже ссылку... // [12:46] <Radahnar_Awaking> мля. // [12:46] <Radahnar_Awaking> тормоза вы все. // [12:46] <Radahnar_Awaking> и что "стыдно". // [12:46] <Radahnar_Awaking> Стыдно вовремя не сообщить – это да, стыдно. // [12:47] <Radahnar_Awaking> сколько скачано?

// [12:48] <Miky> и скачано мало. скорость оказывается, совсем у меня маленькая. не ругайся. я была самонадеянна, попросив у тебя ссылку... больше просить ня буду. // [12:48] <Miky> сорри. // [12:49] <Radahnar_Awaking> Я же говорю – чтыдно не то, что скорость маленькая (у меня Огонь Воду и медные трубы один человек качал два месяца) // [12:49] <Miky> я бы качала полгода, как теперь понимаю // [12:49] <Radahnar_Awaking> стыдно – вовремя не отмахнуть (в какую угодно сторону) // [12:51] <Miky> не заставляй меня извиняться снова // [12:52] <Miky> одного раза вполне достаточно. осознала, поняла, извинилась.

Как видим, и данный полилог, в рамках которого цель общения коммуникантов преимущественно информативная, перемежается оценочными и этикетными речевыми жанрами.

2. Чаще всего в качестве темы коммуникации избираются прежде всего те факты, события, положения дел в мире, к которым выработано эмоционально-оценочное отношение говорящего. Полилог бывает успешным, развернутым в том случае, если коммуникант затрагивает тему, которая столь же значительно вовлечена в сферу эмоционально-оценочного отношения посетителей данного чата. Так, в следующем полилоге развиваются две взаимосвязанные темы, находящиеся в сфере активного оценивания говорящими: современная литература и отношение к ней «звезд». Полилог насыщен оценочными предикатами (*смешно, забавен, выдавать себя за продвинутых..., модно любить* и др.), в том числе фразеологическими (*просто с дивана падаю, не наступай на большую мозоль*), предикативными оценочными именами (*халтурищик, таланты*), междометиями (... *Ууу..., а-а-а, ага. Куча. Фиг!!!, эх, ну*). Эмоциональные оценки отражаются также в актуализированном использовании знаков препинания (так, эмоция недоумения выражается повтором вопросительного знака: *таланты????? Слу, где они??????*, многочисленные многоточия призваны усилить выраженные в предикатах оценки). Тема, таким образом, развертывается в обрамлении разнообразных оценочных речевых жанров. Жанровое разнообразие формируется оценочными жанрами с различными речевыми интенциями, среди которых преобладает интенция выражения эмоционального состояния, формирующая речевой акт с направленностью на выражение собственно эмоции и вуалирование рационально-оценочных смы-

слов. Так, наряду с выражением эмотивной оценки (*Халтурущика... Акунина; Пелевин забавен; мало осталось хорошего!!!*) в полилоге выражается эмотивное отношение к предмету речи: *смешно когда говорят по телеку...; я просто с дивана падаю; звёзды; таланты????*.

Отметим насыщенность полилога косвенными речевыми жанрами, в которых оценочность прочитывается под внешней формой информативных речевых актов: *звезды* (→ “псевдозвезды»), *кто им ответы пишет, интересно* (→ “эти псевдозвезды сами не способны ответить на вопросы”); *не знаю, где таланты...* (→ “это не настоящие таланты”); *Павича не смогла читать* (→ “Павич настолько плох, что его невозможно читать”), а также вопросительных: *таланты????* (→ “это не таланты”): [15:45] <ni_ser`ezen> *смешно когда говорят по телеку в интервью... – ну вот читаю – что? – Пелевин вот неплохо // 15:45* <vinni> *слу, где они?????? // [15:45]* <ni_ser`ezen> *я просто с дивана падаю // [15:45]* <miyu> *Платонов... Ууу... Не наступай на больную мозоль.... // [15:45]* <ni_ser`ezen> *звёзды // [15:45]* <vinni> *таланты????? // [15:45]* <ni_ser`ezen> *мля // [15:45]* <miyu> *не знаю где таланты... // [15:45]* <ni_ser`ezen> *кто им ответы пишет.. Интересно // [15:45]* <vinni> *ага, Пелевин забавен // [15:45]* <miyu> *забавен... Не более того // [15:46]* <ni_ser`ezen> *популярно любить Пелевина но уже старо как бы но продолжают выдавать себя за продвинутых... // [15:46]* <miyu> *еще бы Илью Стогова вспомнили // [15:46]* <vinni> *не, надо почитать // [15:46]* <miyu> *или этого... Халтурущика... Акунина... // [15:46]* <vinni> *не читала Стогова // [15:46]* <miyu> *кого почитать? // [15:46]* <miyu> *ой, винни... // [15:46]* <miyu> *тебе не понравится. // [15:47]* <vinni> *надеюсь:)))))) // [15:47]* <ni_ser`ezen> *читай то что в пыли найдешь дома.. Или в библиотеке // [15:47]* <miyu> *там иллюстрация того – у Стогова – как именно мужчины 100 раз в полчаса думают о сексе. // [15:47]* <vinni> *щас модно любить Павича..... // [15:47]* <miyu> *Павича не смогла читать:) // [15:47]* <miyu> *наверное, и не смогу:) // [15:47]* <vinni> *а-а-а, видела в книжном // [15:48]* <vinni> *наплюнь, есть куча всего другого:) // [15:48]* <miyu> *ага. Куча. Фиг!!! // [15:48]* <miyu> *мало осталось хорошего!!! // [15:48]* <miyu> *)))) // [15:48]* <vinni> *не, на западе есть... // [15:48]* <vinni> *просто мы не видим.... // [15:48]*

<vinni> эх... // [15:48] <miky> ну... Возможно... // [15:49] <miky>:) // [15:49] <vinni> мне бы на запад..... к источникам:))) //

Основанием развития темы коммуникантами может быть и презумпция вежливости, установка на развитие устойчивых эмоционально положительных отношений постоянных посетителей чатов. Одно из условий таких отношений – выражение интереса к партнеру по коммуникации, наличие коммуникативной реакции прежде всего на выраженные **эмоциональные оценки** актуального состояния коммуниканта. Тема в полилоге развивается от выражения чаттером своего эмоционального состояния – к оценке ситуации, это эмоциональное состояние вызвавшей, и далее к ее описанию. Достаточно часто коммуникант заявляет о важности своего эмоционального состояния вхождением в чат с присвоением особого актуального ника, отражающего его эмоциональное состояние (подобные ситуации характерны прежде всего для устойчивых чатов). Такое своеобразное «говорящее» имя может выполнять *роль реплики, ситуативной характеристики*, если использовать литературоведческую терминологию. Коммуникант, выступающий в дискурсе под некоторым постоянным ником, представляющим его в этой коммуникации, может взять ник, характеризующий его ситуативное эмоциональное, психологическое, социальное состояние. Так, в приведенном далее фрагменте темой общения является именно эмоциональное переживание чаттера, который вошел в коммуникацию, присвоив имя *ni_v_transe*. Партнер по коммуникации непосредственно реагирует на тему, косвенно заданную при вхождении в чат актуальным ником. Явная эмоционально аспектированная реакция обнаруживается непосредственно в лексических обозначениях отношения (*ни, не пугай меня; дык это ж здорово!!!!*), графическими обозначениями – смайликами, умножением вопросительных и восклицательных знаков (*почему в трансе????*), графической имитацией эмфатического растягивания гласных как знака повышенной эмоциональности речи (*мики-и-и-ии-и*): [21:49] <ni_v_transe> усем вечер добрый // [21:49] <valkyrie> вечер // 22:15] <miky> почему в трансе???? // [22:16] <miky> как дела?:))) // [22:16] <ni_v_transe> мики-и-и-ии-и // [22:16] <miky> что такое???? // [22:16] <miky> ни, не пугай меня // [22:16] <ni_v_transe> я сдал последний экзамен! // [22:16] <miky> дык это ж здорово!!!! //

[22:16] <miky>:))) // [22:17] <miky> на что сдал?:))) // [22:17] <ni_v_transe> я не знаю что делать... // [22:17] <ni_v_transe> на 4 // [22:17] <miky> в смысле? // [22:17] <miky> ну 4 – это как говорится – хорошо:))) // [22:17] <ni_v_transe> у меня с преподавательницей конфликт // [22:17] <ni_v_transe> был //

Введение подобного актуального ника функционально эквивалентно оценочному речевому жанру, направленному на выражение эмоционального состояния, речевому жанру самооценки с интенцией выражения эмоционального состояния. Актуальность жанровой квалификации вхождений в чат-коммуникацию с актуальным ником подтверждается тем, что подобный ник позволяет смоделировать ситуацию устного дискурса, когда коммуникант желает обратить внимание на свое состояние и моделирует его в мимике и поведении, задавая этим тему разговора. Возможность предложенной жанровой квалификации присвоения актуального ника с данным типом содержания подтверждается и фактами активного манипулирования сменой ника в процессе развития диалога, коммуникант по ходу развития темы общения оценивает смену собственного эмоционального состояния и выражает его в сменах ников (например, *ni v aute – ni v polnom aute* и под.).

Стоит, по нашему мнению, обратить внимание на тот факт, что в обычной устной коммуникации смена состояния коммуниканта и, следовательно, смена коммуникативной ситуации часто оказывается не маркированной. Коммуникант может не демонстрировать вербально изменение психо-эмоционального состояния, отношения и т.п., т.к. проявляет его в знаках других семиотических систем либо оставляет непроявленными. В случае компьютерной коммуникации смена имени не только маркирует изменение внутренней структуры коммуникации, но показывает степень отрефлексированности этой смены: *****kergrma is now known as loki** // *****masha is now known as maat** // [17:09] <che{i}{ha9i> а мне кергрма нравится // [17:09] <che{i}{ha9i> что-то в нём постоянное есть // [17:09] *loki аж подавился // [17:10] <maat> кубичность? // [17:10] <loki> нудность? // [17:11] <maat> кергрматичность! // <maat> все, я ушла мыться. // [04:18] <faust> буль-буль // [04:18] <xvostataya> maat идите уже мыться:) // *****maat is now known as masha_v_bane** // *masha_v_bane, вся такая чистая, вернулась:-) // [04:33] <xvostataya> с легким паром:) // [04:34] <masha_v_bane>

*спасибо, мама. Ты – душка! // *** Masha_v_bane is now known as masha // [04:34] <kergrma> мама, с легкой парой:)) // ***radahnar is now known as radahnar_go_too_bad // *** radahnar_go_to_bed is now known as radahnar_sleeping // ***radahnar_sleeping is now known as radahnar_go_from_bed // *** radahnar_awaking is now known as radahnar_merznet // [21:00] <von_darkmoor> леша тебя горячим чаем отпнуит // *** radahnar_merznet is now known as pro_zaeck // *** pro_zaeck is now known as radahnar_3мер3*

3. Факт, ставший темой общения, в чат-коммуникации зачастую уходит на второй план, давая старт для ассоциативного развития диалога. Следующий фрагмент демонстрирует типический пример ассоциативного развития полилога чат-коммуникации, в которой отправная тема диалога уходит, оказывается нерелевантной для его развития, полилог развивается на основе ассоциативной языковой игры. В переключении темы оказываются значимыми ассоциации на основе формальных признаков элементов текста, буквенно-звуковые ассоциации (*усе лишнее → усы и хвост, гусары → гусяры*), формально-семантические ассоциации (*ср. гусяры → гуси + лярвы; политика →поли – тик → задан ритм; собака отвратная →врата какие →собака привратная*), в качестве ассоциатов, задающих развитие (отклонение от) темы, часто выступают различного типа прецедентные тексты (*гуси →ножки Путина*), прецедентные тексты могут быть представлены как типовая конструкция (в приведенном полилоге – такая конструкция кольцевым образом обрамляет фрагмент (*гусяров → > собаку в студию! В студию!*):

21:54] <kergrma> **усе** лишнее долой // [21:55] <is_bjorn> **усы** и хвост по вкусу // [21:56] <kergrma> а если **усы** и хвост при отсутствии третьего, ибо третий лишний? // [21:56] <is_bjorn> **гусары – молчать!** // [21:56] <is_bjorn> я конечно предположу... // [21:57] <kergrma> **гусяры -- играть!** // [21:57] <is_bjorn> это можно *снисходительно* // [21:57] <is_bjorn> **гусяров в студию!** // [21:57] <kergrma> не влазят // [21:57] <is_bjorn> а вы по частям // [21:58] <is_bjorn> поэлементная гипер-транспортировка // [21:58] <kergrma> тогда это **гуси** // [21:58] <kergrma> **ножки путина** // [21:58] <is_bjorn> **лярв** можно оставить // [21:58] <kergrma> **лярв?** // [21:58] <is_bjorn> при чем здесь **политика??** Политику – отставить! // [21:59] <kergrma> а **пол-литика?** // [21:59] <is_bjorn>

лярв??? Ну нет. Я не согласен переводить любую тему в данное русло => давайте лучше о погоде. => // [21:59] <kerɡma> поздно // [21:59] <is_bjorn> нет. Слово **политика** происходит от "**поли**" и "**тик**" // [22:00] <is_bjorn> **поли=много** // [22:00] <is_bjorn> **тик...** // [22:00] <is_bjorn> это ясно // [22:00] <kerɡma> лярвы в студии!! // [22:00] <kerɡma> **поли-тик** // [22:00] <kerɡma> **задан ритм** // [22:01] <is_bjorn> **лярвов** надо чем-то занять... // [22:01] <is_bjorn> хм // [22:01] <kerɡma> кем-то? // [22:01] <is_bjorn> заставим их заняться **политикой!** // [22:01] <is_bjorn> а **гуси** пусть **играют** // [22:02] <kerɡma> гуси? А **под чью дудку?** // [22:02] <kerɡma> **лярв**, что ли? // [22:02] <is_bjorn> естественно, под лярвовскую... // [22:02] <is_bjorn> =>) // [22:02] <is_bjorn> "**рукой голосовать, ногой маршировать**"... // [22:02] <miku> гуси... Лярвы... Политика... Погода... Кышмар:))) // [22:02] <is_bjorn> это наша родина, сынок (с) // [22:03] <miku> а мики-то – с собакой, вот:))) // [22:03] <kerɡma> ну какая погода при лярвах?! // [22:03] <is_bjorn> где собачка? *ласково* // [22:03] <miku> **отвратная** – какая еще???:))) // [22:03] <kerɡma> а **врата** какие??? // [22:04] <kerɡma> и почему собака **от врат?** // [22:04] <miku> собачка – несъедобная, хи-хи-хи:))) // [22:04] <is_bjorn> каких **врат??** *воя* // [22:04] <kerɡma> она охранять должна!!!! // [22:04] <miku> а **врата** – мифическая блин:))) // [22:04] <is_bjorn> **ворота** все давно **пофиксены**. У нас только теплотатчики. // [22:04] <is_bjorn> в стенах. // [22:04] <kerɡma> лярвы же разыгрались, и **гуси** опять же пляшут // [22:05] <kerɡma> не, без собаки никак // [22:05] <is_bjorn> **собаку в студию!** // [22:05] <kerɡma> привратная она //

Как и в ранее приведенном фрагменте текста чат-коммуникации, тема данного полилога также развивается в сочетании информативных и императивных речевых жанров, оценочные речевые акты вплетаются в игровую структуру полилога прежде всего с интенциональной направленностью на выражение оценки течения, хода коммуникации: "... // [22:02] <miku> гуси... Лярвы... Политика... Погода... **Кышмар:)))** // [22:02] [22:01] <miku> **нашли блин тему:)))**; <miku> **просто уши вянут:**)

4. Некий факт создаваться в самой коммуникации, моделироваться как тема общения, позволяющая реализоваться в наиболее типическом виде болтовни – разговоре ради общения. Так, в приведенном далее фрагменте моделируется игровая ситуация: 22:16/

* *kergma* диффузирует // [22:16] <is_bjorn> и во что? // [22:16] <is_bjorn> мики =))) // [22:16] <kergma> в мики // [22:17] <is_bjorn> ооох // // [22:18] <kergma> мики, не перегрейся // [22:18] <miky> что777777 // [22:19] <kergma> а то не выберешь // [22:19] <is_bjorn> хехе // [22:19] <miky> мики обалдела от ваших разговоров блин:) // [22:19] <kergma> мои уважаемые атомы имели неосторожность смешаться с вашими // [22:20] <kergma> бьорн, у вас есть ионообменник? // [22:20] <miky> попрошу выйти вон всем лишним не моим атомам!!!:))) // [22:21] <is_bjorn> кергма, к превеликому сожалению я упустил его в чан со смолой =(// [22:21] <miky> и уронил в ледовитый океан // [22:21] <is_bjorn> а он мне необходим? // [22:22] <is_bjorn> ледовитый океан нам нипочем... а вот горящая смола =(//

Такого рода моделируемые игровые речевые ситуации развертываются обычно в полилоги, насыщенные императивными и оценочными речевыми жанрами. При этом в фокусе оценивания оказывается прежде всего эмоциональное состояние коммуникантов, формирующееся как реакция на развертывание темы: *kergma* диффузирует → <is_bjorn> ооох → <kergma> мики, не перегрейся, а то не выберешь → <is_bjorn> хехе

5. Коммуникация может проходить «в отсутствие» факта как темы общения, наблюдается эффект своеобразного «ускользания» референта общения – развивается ассоциативный ход коммуникации, в которой каждая предшествующая реплика может дать старт ассоциативному механизму. При этом ассоциации рождаются как по линии содержания, так и на основе актуализации формы знака. Чат-коммуникация – поле проявления языковых игр, активного привлечения прецедентных текстов, вводимых на основе ассоциативных связей. Так, в следующем фрагменте полилога наблюдается ассоциативное развитие темы общения на основе металингвистических ассоциаций: семантика словосочетания *говорить правду* вызывает у партнера ассоциативную «лингвистическую» реакцию – фразеологизм с синонимичным значением «*правду-матку резать*». Идиома с метафорическим значением создает условия для продолжения языковой игры через актуализацию номинативных значений входящих в него слов, к чему незамедлительно обращаются коммуниканты, играя с исходными значениями слова *резать*, что вызывает возможность не только обращения к номи-

нативному значению основы *матка*, но и актуализации одного из ее конкретизированных значений – «свиноматка». Таким образом, участники общения полностью уходят от первоначальной темы общения, погружаясь в словесные ассоциативные связи: [23:16] <kergma> шет, а где еще говорит правду?!:) // [23:16] <prol> кто должен правду матку резать:)) // [23:16] <kergma> зачем резать???? // [23:16] <boroh> хм. Заведем свинарню.. // [23:16] <kergma> кого резать???? // [23:17] <boroh> там желающие будут маток резать // [23:17] <kergma> а свиньи кто?? // [23:17] <dimuch> правдорезню // [23:17] <boroh> резать //

Письменная форма осуществления виртуального дискурса стимулирует повышенную рефлексивность, проявляющуюся в виде регулярно эксплицитно выражаемой, в том числе и с помощью специальных семиотических средств, саморефлексии, а также собственно языковой рефлексии, получающей выражение в языковой игре. Хотелось бы обратить внимание на особое восприятие семиотики естественного языка в процессе компьютерной коммуникации. Письменная, графическая форма ее протекания задает особые параметры языковой рефлексии. Нужно отметить, что языковая рефлексия как таковая вообще появляется только с возникновением письменного текста, так как становится возможной фиксация речи. Зафиксированная речь «опредмечивается» и оказывается подверженной осмыслению, возникает проблема структурирования языка, проблема правильности воспроизведения и употребления языкового знака. В виртуальном дискурсе вопрос правильности употребления языковых элементов является достаточно актуальным и часто обсуждается в чатах любых типов, но при этом следует отметить, что в самом дискурсе правила орфографии и пунктуации не выдерживаются строго, только до такой степени, чтобы коммуникация была эффективна. Ошибки и опечатки замечаются только тогда, когда служат поводом для языковой игры – коммуниканты мало обращают внимания на нарушение языковых норм в процессе информационного обмена, но обязательно актуализируют аспект правильности при реализации игровой функции. Сказанное является справедливым и по отношению к речевым неправильностям: *masha*> у есенина "шестерых всех поклат в мешок" – и ничего, все в школе учили, правда? // [22:53] <shet> а что плохого в шестерых?//[22:53]

<shet>;)//[22:53] <masha> поклат! // [22:53] <miky>:) // [22:53] <shet> дык в мешок // [22:53] <shet> в мешок как раз "ложат", простите:)) // [22:53] <masha> шет, ты – чуда-юда!:-) //

Языковая игра имеет место и в современной устной речи, но в компьютерной коммуникации она присутствует в гораздо больших масштабах в силу специфики виртуального общения, формирующейся, во-первых, именно вследствие письменной формы этого вида общения – графическая форма дает возможность проследить развитие ассоциативной цепочки, во-вторых, за счет установки на дружеское неофициальное общение.

Тему подобной игровой речевой ситуации может задать и оценочный РЖ, так, например, в последующем полилоге РЖ отрицательной самооценки намеренно используется говорящим, чтобы создать условия языковой игры: *[15:32] <ВОРОН> да я вообще негодяй:) // [15:33] <Miky> о?::)) // [15:33] <Miky> и в чем это выражается?::)) // [15:33] <ВОРОН> кто здесь может сказать что он годяй? // [15:33] <Miky> хм:) // [15:33] <Miky> это интересный вопрооос:) // [15:33] <ВОРОН> дыкть // [15:34] <ВОРОН> не первый год исчу годяев // [15:34] <Miky> ну я вот не могу с одной стороны сказать что я негодяйка... // [15:34] <Miky>:))) // [15:34] <Miky> но и годяйка как то наверное, тоже не я:))) // [15:34] <ВОРОН> я еще и мирзавец // [15:34] <Miky> огласите полный список пожалуйста:))) // [15:34] <ВОРОН> Потомок дедушки Мирзы/*

Подобного типа коммуникативное положение темы в чат-коммуникации предопределяет и специфику проявления информативных речевых жанров, и характер их взаимодействия с эмоциональными и императивными РЖ, активное использование в развертывании речи косвенных речевых жанров.

Полилоги чат-коммуникации обнаруживают широкое использование приемов игровой ты-оценки, используемой как старт для начала языковой игры, ср., например, *[15:03] <Ill letjaga> ну вот... // [15:03] <Ill letjaga> загрузили опять:(Kergma> вас много, а я один!!!!!!!!!!!! // [13:38] <Kergma>,)))))))) // [13:38] <Miky> маньяк:))) // [13:39] <venera> пользуясь традицион средсвами типа лести..... // [13:39] <Kergma>:)))))) // [13:39] <venera> он не маньяк, он душка..... душить не передушить.... // [13:39] <Kergma> меня душить?! // 16:05] <venera> скажи это*

работладельцу этому // [16:05] <Kergma>:)))) // [16:06] <Міку>:) // [16:06] <Міку> оно само все знает:) // [16:07] <venera> п.мл.:) // [16:08] <Kergma> так меня еще не обзывали:))))))

Полилоги чат-коммуникации насыщены оценочными высказываниями с различной адресацией оценки: это и самооценки ([15:32] <ВОРОН> **да я вообще негодяй**:); * **kergma несерьезен** // [22:42] <kergma>:) // [22:43] <dimych> издеваца и мы можем.. // [22:43] <i_found_founder> угу // [22:43] * **kergma сам по себе** // [22:45] <i_found_founder> кергма – индивидуалист // [22:46] * **kergma задумчиво** // [22:46] <kergma> **может, старый козел?** // [22:46] <kergma>:)))) // [22:46] <i_found_founder> это уж как тебе приятнее), и «ты-оценки»(21:18] <shet> Грей, что-то ты сегодня вообще:))))), и собственно оценки – оценочные высказывание относительно «третьего» члена коммуникативного акта. 22:55] <i_found_founder> привет Маша // [22:55] <i_found_founder> добро пожаловать в наш так сказать уголок // [22:56] <miku> чудная умная Маша: // [22:56] <dimych> гы // [22:56] <miku> заочно знаю и люблю ее:)

Из коммуникативного своеобразия «болтовни» вытекает и содержательная специфика оценочных РЖ: в фокусе оценочной речевой деятельности коммуникантов находятся прежде всего адресант и адресат, а также ход развертывающейся коммуникации. [22:56] <i_found_founder> **рекомендации от души:**) // [22:56] <miku> да...:)) // [22:56] <i_found_founder> ой.. От мыши:) // [22:56] <kergma> я машу тоже....**уважаю:**)))))) // [22:56] <miku> **почти одинаково звучит:**)) // [22:57] <dimych> мда // [22:57] <dimych> **дурев** // [22:57] <dimych> **какое-то** // [22:57] <kergma> **димыч:**)))) // [22:57] <miku> **димыч в своем репертуаре:**)))).

Актуальные ты-оценки – прежде всего оценки собеседника в аспекте умения вести разговор, оценки психоэмоционального состояния собеседника, проявленного в общении, соседствуют с самооценками, выражениями собственного эмоционального состояния, его изменения как реакции на развитие коммуникации, ее темы и выраженных модусов: так, например, на реплику в диалоге [23:58] <Kot'and'Pipe> **все мы тут в известной степени – в канаве:**) партнер отвечает введением ремарки – информативного

жанра, содержанием которого становится информация об изменении эмоционального состояния, далее следует эмоционально-оценочный РЖ, выражающий эмоциональное состояние говорящего [23:58] * *Miku* *пряма аж смутилась:*) ну кеергмы... что такое...

Реакцией на содержание речи может быть оценочный РЖ, оценивающий коммуниканта в аспекте его речевого поведения: 21:18] <shet> *Грей, что-то ты сегодня вообще:)))* [21:18] <shet> *не кикнуть ли тебя за приставание к девушке?:))))))):* оцениваются разные аспекты течения акта коммуникации: а) внезапное выбывание из сети [13:08] <Maeg> *Ай!.. ушла!.. какая жалость!.. а я только окошко проверить открыла:((((// ; отсутствие значимых партнеров по коммуникации: <shet> плохо без Птица[15:03] <shet> vom[15:03] <Ill_letjaga> ну... // [15:03] <Miku> ужасно плохо // ; коммуникативная неактивность чаттеров: [09:32] <Volk> *да не розговорчивый народ пошел!!!:0*) // [09:34] <Volk> *не так не прикольно:0*);[09:37] (ср. следование РЖ просьбы - * *Volk* *Поговорите со мной плиззз*); аспекты речевого проявления партнеров: [16:11] <Maeg> *а... не, просто надо идти, жалюзи поднимать... // [16:11] <ВОРОН-RM> хых;*[16:11] <Miku> *ясно:))) // [16:11] <Miku> Ворон только хыхал:))*) // [16:11] <Maeg> *хыхун.**

Содержательное доминирование актуально-ситуативных оценок, среди которых доминируют оценки речевого поведения, объясняется скрытостью тех аспектов личности, которые остаются «за кадром» общения. Содержательное доминирование среди самооценок эмоциональных реакций определяется общей коммуникативной стратегией коммуникантов в чате, доминантной функциональной специализацией чат-коммуникации.

Типичный путь формирования виртуальной, моделируемой темы коммуникации – **обыгрывание виртуальных имен коммуникантов**. В условиях физического неприсутствия коммуникантов в общении чаттеры проявляют повышенный интерес к никам. Как отмечалось, через выбор псевдонима – ника – осуществляется моделирование личностных параметров говорящего, что может быть рассмотрено как реализация процесса самоидентификации, безусловно включающей оценочный компонент. С другой стороны, чужие и собственный ники находятся в фокусе оценок, являясь одним из

важных объектов метаязыковой рефлексии. Оцениваются различные стороны знаковой сущности ника, разные аспекты его функционирования.

Так, ник имеет общую с паспортным именем функцию отождествления личности. Важность этой функции усиливается в условиях физического отсутствия коммуникантов в чате. Чаттеры активно обсуждают проблемы омонимии и паронимии ников как коммуникативных помех: [16:12] <ni_ser`ezen> а ещё меня действительно путают... Фирнвен вот три дня назад спрашивала – ты который? [16:12] <akira> видимо это **неправильный голлум был...** За хамство вестимо:) [был исключен из чата] // [16:12] <miyu> а. // [16:12] <ni_ser`ezen> и голлум – нуку два месяца... // [16:12] <miyu> бросай ты этот ник:(// [16:12] <miyu> **он порченный:**(как оказалось:(// [16:38] <kerqma> очень прошу кого-либо переименоваться // [16:38] <vinny> хоть так, хоть за деньги:) // [16:39] <kerqma> или будете без меня развлекаться. **неудобно** , понимаете? // [16:39] *** vinni is now known as vinnea // [16:40] <vinny> kerqma: а что делать, если у людей похожие нуки? Расстреливать?:) // [16:40] <kerqma> винни, можешь венерой стать? // [16:40] *** vinnea is now known as nera_ve // [16:40] <nera_ve> я все могу // [16:41] <kerqma> спасибо:) // [16:41] <nera_ve> так? // [16:41] <kerqma> теперь все в порядке:)

С другой стороны, многочисленные примеры дискурсивной тактики в чат-коммуникации обнаруживают опору на образ, формируемый в имени-нике, при этом выявляется прежде всего коммуникативная значимость гендерной принадлежности коммуникантов. Неинформативность имени в этом аспекте зачастую также оценивается чаттерами как коммуникативная помеха, что является одним из свидетельств значимости учета гендерного фактора в русской речевой культуре. Можно предположить, что параметр, который дан в «реале» естественным образом (прежде всего визуально) и вследствие этого не рефлексивируется, будучи непроясненным в виртуальном дискурсе, обнаруживает свою кардинальную значимость для процесса взаимодействия между людьми.

В открытых чатах внимание к гендерной определенности коммуникантов, обозначенной в нике, проявляется особенно отчетливо. Например, выбор нейтрального ника *natrik*, использованного в

одном из чатов, осознавался партнерами по коммуникации как гендерно индифферентный, что обусловило появление прямых вопросов, направленных на снятие такой неопределенности как коммуникативной помехи: *Alexman: natrik, ты кто*?* Аналогичная ситуация складывается с метафорическими никами, в которых манифестируется, например, биологическое начало: *Умненькая_ : кусок_плоти, ты для начала разберись кто ты, с неопределенным полом я не разговариваю.*

С другой стороны, можно отметить различия в функционировании «гендерно неидентифицируемых» ников в чатах разных типов. В закрытых чатах их использование возможно в случае, когда человек сознательно не желает, чтобы его воспринимали через призму социальных или гендерных стереотипов. В таких случаях он репрезентирует себя как некоторую «вещь в себе», раскрываясь уже в процессе коммуникации. Как правило, в таком случае оказывается возможной первичная гендерная квалификация дискурса, которая необходима для коммуникации. Впоследствии коммуникант сообщает те сведения о себе, которые представляются ему значимыми: социальный статус, место жительства и др.

Именно функциональная нацеленность ника на создание образа в чат-коммуникации отличает его функцию от функций паспортного имени в реальном общении и сближает с псевдонимом в художественной практике. Мы отмечаем, по крайней мере, два основания такого сближения: чаттер, как и художник, писатель, сам создает свое имя (ник, псевдоним), а не получает его при рождении (если чаттер избирает в качестве ника свое паспортное имя – это тоже проявление свободы его выбора), во-вторых, ник и псевдоним избираются как средство создания определенного образа, как основание некоего ассоциативного шлейфа, который и хотел бы получить их создатель (использование паспортного имени также информативно в этом аспекте – по крайней мере, можно судить о нежелании коммуниканта создавать некий образ, «играть» в чате на основе образа своего имени).

Одна из тактик при этом – создание метафорического ника, который выполняет функцию ключевой метафоры в дискурсе данного коммуниканта, является способом экспликации одной из его субличностей и в целом оказывает определенное направляющее

воздействие на содержание и направленность коммуникации в целом, например: *love, камаз, вжик, холод, светскийльвёнок, наг-глый, tohuk, _сладкоежка_, гетера, алигаторша, багира, органза, осень*. Создание и функционирование метафорического имени в виртуальном дискурсе носит мифологический характер: имя призвано отражать суть именуемого и репрезентировать его свойства в дискурсе.

Обыгрывание, игровая актуализация смыслов, вводимых никнеймом, – одна из типичных тем болтовни чат-коммуникации. Анализ ассоциативного шлейфа многих имен в чат-коммуникации приводит к выявлению набора прецедентных текстов, коммуникативно актуальных в современном молодежном общении. В сферу ассоциирования вовлекаются классический и современный фольклор, мировая литература, фрагменты современной рекламы, политических текстов и т.д.

Второе направление ассоциирования – смысловые сферы, вовлекаемые в ассоциативную зону по принципу фреймового единства и межфреймовых связей, задаваемых формальными ассоциациями имени. Так, например, развитие диалога определяется игрой с именем: [16:14] <tascho> *и вы таки девушка?* // [16:14] <notcraft> *винни – медвежонок, наверное..* // [16:14] <vinni> *о!* // [16:14] <vinni> *точно!* // [16:15] <vinni> *вспомнила, кто я!* // [16:15] <miky>:))))))))) // [16:15] <vinni> *я медведь..... Или тучка....* // [16:15] <notcraft>:) // [16:16] <elin> *вини, ну ты опередилась, а?* // [16:16] <notcraft> *медведь-оборотень:*) // [16:16] <vinni> *я ваш покорный слуга, выбирайте! Мне глубоко все равно, кого вы меня усыно-удочерите* // [16:20] <vinni> *плюшево-злой волко-медведь* // [16:20] <boroh> *медвежуть:*) // [16:21] <elin> *вини, плюшевый – чтоб тебя плюшками кормить?* //

Анализ оценочных РЖ явно обнаруживает своеобразную транслирующую функцию ника к создаваемому образу, в сфере оценки в игровых речевых ситуациях вытупают аспекты вводимого именем образа, ср. в приведенном выше фрагменте оценочные РЖ: [16:20] <vinni> *плюшево-злой волко-медведь*; [16:20] <boroh> *медвежуть:*); ср. также: [22:02] <Miky> *кот:*) // [22:02] <Akira> *Мьяв!!* // [22:02] <Akira> *Мышиииии:*) // [22:03] <Miky> *я!:*)) // [22:03] <Akira> *как хвостики мышовые?* // [22:03] <Miky> *торчком естественно:))*) // [22:03] <shet> *хорошу:*) // [22:04] <shet>

ГдеКом:) // [22:04] <Miky>:))) // [22:04] <shet> типа стратегический запас?:)) // [22:04] <shet> не дадим съесть нашу Мышь // [22:04] <shet> она у нас одна // [22:04] <shet> элитная // [22:04] <Miky> даааа:)))))))))) // [22:04] <shet>:) // [22:04] <Kergma> гм // [22:04] <Akira> ня, мыша – это мало // [22:04] <shet> ер... элитная // [22:04] <Akira> вот эльфы – самое оно // [22:04] <Kergma> лазерная мышь..... // [22:04] <Miky> а кто эльф тут?:))) // [22:04] <Miky> почему лазерная?:))) // [22:05] <Kergma> а есть такие // [22:05] * Miky нравится быть элитной мышью:))) // [22:05] <Kergma> вместо коврика типа металлопокрытие // [22:05] <Akira>:) // [22:05] <Miky> неет:))) // [22:05] <Miky> мне такие коврики не нравятся:))) // [22:06] <Kergma> будешь тогда глючной:) // [22:06] <Miky> ниет:))) // [22:07] <Kergma> вот, уже глючишь // [22:07] <Kergma>:) // [22:07] <Miky>:)))))))))) // [22:07] <Miky> Ком!!!:) //

Как отмечалось, чаттеры осознают и достаточно часто обсуждают отдельные аспекты полифункциональности ника. Принципиальной для чат-коммуникации является своеобразное сдвоение функций паспортного имени и псевдонима, или референтной и отчасти характеризующей функции, с одной стороны, и образной – с другой. Реализация первых функций – это отсылка к коммуниканту в реальном мире, вторая – в мире виртуальном, формируемом вербальными средствами в процессе чат-коммуникации. Это принципиальная особенность чат-коммуникации – осознание чаттерами двойственности своего существования: существования в реальном мире и в формируемом мире виртуальной коммуникации – одна из отличительных черт этого типа общения. Игра никами – одно из проявлений этой двойственности, игра, заключающаяся в том, коммуниканты обращаются то к реальному человеку, то к формируемому образу.

В сфере дескрипции и оценки находятся ситуации виртуальной и «реальной реальности», референтно совмещенные единством коммуникантов. В чатах ролевиков при этом возможно тройное совмещение пространств: 1) пространства виртуальной реальности, смоделированной в данной коммуникации; 2) виртуальной реальности, формируемой в структуре игр; 3) «реальной реальности».

В следующем фрагменте одна из участниц читает фрагмент произведения, знакомого другим участникам чата, прочитанное вызывает бурную эмоциональную реакцию, эта реакция обсуждается как проявленная коммуникантом (*Maeg*) в «реальной реальности» (*народ посмотреть хочет, над чем это я ржу*), так и как обнаруживаемая героиней в соответствии с ее ролью в чате (*Maeg* – дракон): [14:14] <maeg>:)))))) охохо!!!! Не могу!!!! // [14:17] <tiку> кричишь на весь мирк:))) (1. Пространство виртуальной реальности) // [14:17] <maeg> ыгыыыыы!!!! // [14:17] <maeg> я ещё и ржу на всю комнату!!!! (2 пространство «реальной реальности») // [14:17] <tiку> кошмар, кошмар:))) // [14:18] <kerгma> ржущий дракон.....:))))))))) (3 пространство виртуальной реальности ролевых игр) // [14:18] <maeg> народ посмотреть хочет, над чем я это ржу:))) (- 2) // [14:18] <kerгma> это страшно:)))))) (- 3) // [14:18] <tiку> ни в сказке сказать... // [14:18] <tiку> ни пером описать... // [14:18] <tiку> картинка.. // [14:18] <tiку>:)))) // [14:18] <maeg> кергма, ну не думало же ты, что драконы блеют? (- 3) // [14:19] <tiку> мэг, а что, разве не блеют?:)))) // [14:20] <maeg> нет! Гавкают!!!!!!!!!!!! // [14:20] <tiку> даааа?????????????????:)))) // [14:20] <kerгma> новое слово в драконологии // [14:20] <maeg> да! Ppppppгав! // [14:21] <veпera> мэг, драконы еще и огнедышат //

Сложное совмещение моделируемых пространств отражается и в своеобразном сочетании оценочных РЖ в данном фрагменте текста: РЖ самооценки с интенциональной направленностью на выражение эмоционального состояния коммуниканта, возникшего в РР ([14:14] <maeg>:)))))) охохо!!!! Не могу!!!!) вызывает оценочную реакцию партнеров по сетевому общению, формируется РЖ ты-оценки, оцениванию подвергается способ речевого проявления в сети [14:17] <tiку> кричишь на весь мирк:))), далее информация первого коммуниканта о способе проявления его эмоциональной реакции в реальной реальности [14:17] <maeg> я ещё и ржу на всю комнату!!!!) в игровом ключе переносится в пространство сети и оценивается с точки зрения соответствия речевого поведения принятому нику: [14:17] <tiку> кошмар, кошмар:))) [14:18] <kerгma> ржущий дракон..... kerгma> это страшно:))))); [14:18] <tiку> ни в сказке сказать...; [14:18] <tiку> ни пером описать...; [14:18] <tiку> картинка //

Итак, чат-коммуникация может быть отнесена по параметру доминирующей частной коммуникативной функции к эмотивным дискурсам. Объединяет чат-коммуникацию с другими видами эмотивных и эмотивно-оценочных дискурсов, наряду с функциональной общностью, высокая концентрация эмотивной лексики и фразеологии, эмотивных синтаксических конструкций, то есть общий набор собственно языковых знаков эмоциональности, реализующей широкий спектр авторских коммуникативных интенций¹.

При этом повышено эмоциональный тон коммуникации, характерный для дружеского непринужденного общения, предопределяет множественность средств выражения системы эмоционально-оценочных смыслов. При этом письменная форма общения предопределяет особую конфигурацию средств, особую и для разговорной речи (РР), и для кодифицированного литературного языка (КЛЯ).

Книжная письменная и обыденная разговорная речь могут быть интерпретированы как полярно противопоставленные формы речевой реализации функционального потенциала естественного языка. Назовем важнейшие параметры противопоставления условий протекания коммуникации: конситуативность/внеситуативность, диалогизм/монологизм, сиюминутность, спонтанность/временная дистантность, единичный, определенный/неопределенный, множественный адресат, аудиальный/визуальный каналы восприятия информации, различный набор семиотических средств, во взаимодействии с которыми функционирует язык.

Парадигматическое противопоставление письменной и устной коммуникации выявило принципиальную значимость характера и степени распределенности передаваемой информации между разного типа семиотическими системами при коммуникации.

Психолингвисты отмечают важность следующих параметров, определяющих специфику разговорной речи:

¹ О конституирующих дискурсивных признаках эмотивной коммуникации см.: *Трипольская Т.А.* Эмотивно-оценочный дискурс: когнитивный и прагматический аспекты. Новосибирск, 1999; *Шаховский В.И.* Категоризация эмоций в лексико-семантической системе языка. Воронеж, 1987.

- мотив высказывания формируется в процессе коммуникации под влиянием высказываний адресата;
- коммуникантов объединяет общность знания ситуации общения;
- в разговорной речи возникает возможность распределить смыслы между семиотическими ресурсами: собственно вербальные дополняются мелодико-интонационной организацией речевого сообщения, а также системой семиотических ресурсов паралингвистических средств, прежде всего мимики и жеста. Важным оказывается визуальное восприятие облика коммуникантов, квалификация их места в социальной, гендерной, национально-культурной системах.

Эти особенности обуславливают формирование существенных отличий речевой письменной и устной системности, специфику текстовой реализации языковых единиц: длину и грамматическую полноту предложения, выбор синтаксических конструкций, частотность использования элементов разных лексико-морфологических классов (ср., например, высокую степень частотности местоимений в разговорной речи и др.)¹.

Особо следует сказать о семиотической природе собственно звуковой фактуры устной речи: звуковая речь образуется единой структурой «звучания и пауз», которая «сочетается с динамической структурой», т.е. с усилением и ослаблением громкости, или звучности», которые, в свою очередь, выделяют такт, синтагму, высказывание, с интонационно-тембровой структурой речи, что создает фонетическую цельность речи, подкрепляемую темпом².

Подчеркнем, во-первых, принципиальную значимость своеобразной мультимедийности разговорной речи: информация передается по разным каналам одновременно (слуховой, визуальный, обонятельный, тактильный), каналы взаимодействуют, рождая семиотический синкретизм в передаче сложных ментальных комплексов; во-вторых, наличие функционального распределения единиц взаимодействующих семиотических систем – паралин-

¹ Лурия А.Р. Язык и сознание. Ростов н/Д: Феникс, 1998. С. 261–262; выделено во фрагменте нами. – З.Р., Н.М.

² Рождественский Ю.В. Лекции по общему языкознанию. М.: Высш. шк., 1990. С. 301–302.

гвистические средства и просодия – направлены прежде всего на выражение эмоций, вербальная семиотика языка преимущественно служит выражению понятийно-логической информации, не исключая эмоциональной. О сложности передаваемого в устной коммуникации с помощью мелодических средств комплекса эмоциональной информации и его коммуникативной значимости свидетельствуют результаты широко известного эксперимента, проведенного К. Станиславским и воспроизведенного Р. Якобсоном, в котором актер интонационно противопоставлял от 40 до 50 разных эмоциональных ситуаций, произнося словосочетание «*сегодня вечером*» и интонационными средствами меняя его экспрессивную окраску¹. Отметим еще одну весьма важную семиотическую функцию интонационно-тембровой окраски речи – функцию авторской индивидуализации, ярким проявлением которой служит феномен мгновенного узнавания в телефонном разговоре известного ранее собеседника после восприятия одного-двух слов.

Если рассматривать семиотическую графическую систему как вторичную по отношению к звуковому языку, то в наименьшей степени оказывается обозначенной именно просодия, которая, в свою очередь, семиотически связана прежде всего с эмоциональной содержательной сферой речи, аспектом ее индивидуализирующего своеобразия. Следует констатировать неполную переводимость информации при переходе от одной семиотической системы к другой. То, что в устной речи выражается в средствах паралингвистики и просодии, в письменном тексте передается либо с помощью системы знаков препинания, пробелов, изменений шрифта, либо через описательные конструкции, будучи переведенным на понятийно-логический уровень. Классический пример такой трансформации – ремарки в тексте пьесы, сценария, описывающие систему невербальной коммуникативной семиотики – жесты, позы, мимика, выражение глаз, типы интонации, тембра, темпа произношения фраз.

¹ Якобсон Р. Лингвистика и поэтика // Структурализм: «за» и «против». М., 1975. С. 199. Р. Якобсон подчеркивал семиотическую значимость просодии: «...Различие между [big] (англ. “большой”) и [bi:g] с эмфатически растянутым гласным является условным кодовым языковым признаком, точно так же как различие между кратким и долгим гласным в чешском языке [vi] “вы” и [vi:] “знает”».

Таким образом, с одной стороны, можно говорить о линиях сближения семиотики письменного и устного текста, в том числе и по линии передачи ритмико-интонационных структур звучащей речи: паузам соответствуют пробелы; знаки препинания «характеризуют пробелы с семантической стороны, с точки зрения модальности предложения, логического или поэтического деления речи на психологические суждения, организации частей суждения и т.п.», «...шрифты как бы имитируют динамические характеристики речи»¹.

С другой стороны, одно содержание, одна речевая интенция при письменной и звуковой форме развертывания коммуникации выражаются в совместном действии языка с разными типами семиотических систем, через различную группировку собственных языковых ресурсов.

Новые системы коммуникации, появившиеся в XX в., характеризуются специфичными комбинациями данных параметров, что во многом обуславливает своеобразие речевых структур, порождаемых в их пределах.

Невозможность опереться на семиотический потенциал ритмико-интонационной организации устной речи делает неизбежным поиск компенсирующих семиотических средств именно в силу исключительной важности эмоциональной информации в ситуациях общения в чатах. В современной чат-коммуникации мы наблюдаем сложившуюся систему маркеров разговорного стиля речи, знаковых соответствий приемам подчеркнутой разговорности, открытой эмоциональности, выработанных в ситуациях непосредственного дружеского устного общения: создаются специальные знаки-заменители мимики и жестов и принципиально более активно используются манипуляции со шрифтами в целях передачи просодии естественной устной речи.

Интонационные и эмоционально-интонационные характеристики передаются в компьютерной коммуникации средствами, характерными для традиционного письменного текста. Отличие содержится в значительно большей концентрации привычных средств, а именно: тексты компьютерной коммуникации характеризуются большим количеством восклицательных, вопроситель-

¹ Рождественский Ю.В. Указ. соч. С. 309.

ных знаков, многоточий, заглавных букв, буквенных повторов, призванных выразить повышенную эмоциональность устного дружеского общения – «болтовни»: [01:00] <edger> давайге кергму в фаундеры? // [01:01] <kergma> меня?????? // [01:01] <kergma> нафига???? // [02:13] <kergma> о!!!! // [02:47] * masha щас кааааак ляпнем! // [11:47] <ill letjaga> ах... **Ррромантика:**) // [04:04] <kergma> таааааккк // 13:07] <edger> минут через 5 посмотрел на часы и вскочил с кровати как ошпаренный:))) 8.45!!!!!! // [16:59] <edger> понял????????????!! // [16:59] <Kergma>:))))))))) // <shet> долгосрочный прогноз для Питера – теплее, чем -20 не будет до 10-го.... потом будет -10-15..... ааааааа =(((((((// [09:04] <vinni> кааапочемунетакдиконевезет.

Знаковую функцию несет и намеренное нарушение орфографических норм (см. последнюю реплику в приведенном выше фрагменте), воспроизведение произношения, характерного для норм русской разговорной литературной речи, просторечия, диалектов: [14:49] <vinni> он в нашем обществе просто..... // [21:21] <shet> ах так! А где мой unix мануаль?:)) // [21:21] <shet> черт опередил:)) // [21:21] <leaf23> я думаю похуже будет =) // [21:22] <leaf23> я его таки отконфигурил сёни =) // ... // [21:23] <shet> скока ж качал?:)) // [21:23] <shet> месяц небось?:)) // [21:23] <leaf23> ты шутишь ? =) // [21:23] <shet> канешна:))

Как правило, чаттеры обнаруживают осознание литературной речи в кодифицированной фонетической, графической и орфографической норме в качестве нейтрального фона общения. Любое сознательное смещение норм выступает как сигнал смены эмоционального регистра, средства создания шутливой тональности общения. Знаками шутливости выступают и лексические смещения, вкрапления варваризмов, просторечной лексики, жаргонизмов и арготизмов, с одной стороны, и высокой и устаревшей лексики – с другой, а также намеренная графическая имитация произношения с акцентом: [22:01] <tranduilych> о чем речь, димыч, ворон? // [22:01] <boroh_stroit_site> транд, а фотках // [22:01] <dimyuch> да фотки ворон режет. // [22:01] <tranduilych> ах зо // [22:01] <dimyuch> по моему совету // [22:02] <dimyuch> а то зело крупныя // [22:02] <tranduilych> прально //

[22:02] <tranduilych> у мене трафик вообще платный // [23:16] <legrey> если не давать интеллекту нечто за его пределами, он будет молоть сам себя // [23:16] <shet> сорри, отползал // [23:17] <legrey> ок //[14:34] <miky> он гуляет:) // [14:34] <isida> сикер, да номка практицики только что оттуда => // [14:34] <seeker> isida – слющий, атстан да? ... <shet> а где же мики? =(// [22:32] <boroh> ннету чтото // [22:32] <boroh> была днем // [22:32] <boroh> як ушла пыво пить так и нету //

Конечно же, наиболее яркой чертой чат-коммуникации в рассматриваемом аспекте является наличие особых графических знаков, служащих для передачи эмоций, которые в собственно устной разговорной речи прежде всего передаются с помощью интонации, мимики и жеста. Эти графические знаки принято называть смайликами. Спектр смайликов коррелирует со спектром эмоциональных состояний и выражающей их семиотикой мимики и жестов: [02:50] <masha> не успела.:-(// [02:50] <isida> => // [02:50] <kergma>:)))) // [11:45] <ill_letjaga> а эта песенка из автомата с фотографированием;) // 01:17] <kergma>:))))))))) // [22:16] <ni> хотя некогда всё стало уже ((((((// [17:15] <masterbo> kergma да я что, я ничего. Ж // [17:20] <edger> и мне мужским голосом отвечают -- "што надо?" %) // [22:55] <edger> на меня моя учительница по литературе, сколь грозна она не была и сколь нежно меня не любила, не рычала:p // [16:13] <edger> а я часа четыре как встал:e //

Можно отметить, что из всего спектра смайликов доминирует знак «улыбка», являясь ведущим средством выражения положительного отношения к коммуникантам, что предопределяется установкой на дружеское общение и важностью поддержания положительного эмоционального контакта. Смайлик практически всегда сопровождает приветствия, вхождение в чат: [23:28] <miky> привет, ном:)) // [23:28] <nomster> грейсла:) // [23:28] <nomster> мики:) // [23:28] <nomster> кергма:).

Заместительная семиотическая позиция смайлика ярко проявляется в ситуации его функционирования для смягчения «коммуникативно опасной» реплики: [21:18] <shet> грей, что-то ты сегодня вообще:)) // [21:18] <shet> не кикнуть ли тебя за приставание к девушке?:)))))) // [21:19] <leaf23> гы, да я ж прикалываюсь, а вы ведётесь =) //

Смайлики сопровождают речь коммуникантов, включаясь в любой фрагмент речи, на котором говорящий стремится зафиксировать свое эмоциональное отношение. [21:25] <shet> а я сегодня spiderman смотрел:))) офигенный фильм про вселенцев:)))) // 13:08] <taeg> ай!.. Ушла!.. Какая жалость!... А я только окошко проверить открыла:(((.

Хотя нельзя не отметить, что в общем чаттеры требуют информативности от общения в виртуальной среде и чрезмерное использование смайликов не приветствуется. Существует даже такой термин – «флуд», и тех, кто много флудит, могут не допустить к общению.

Одной из значительных черт компьютерной коммуникации выступает своеобразная «сценарность» этого дискурса: то, что в непосредственно актуальной ситуации разговорной речи передается жестом, мимикой, интонационно-тембровой организацией речи, присутствует как визуально воспринимаемая ситуация, сцена, в виртуальном дискурсе передается чаще всего в виде реплик, описывается лексическими средствами литературного языка: [22:37] <kergma> без обид? // [22:38] <boroh> да пожалуйста // [22:38] * boroh пожал плечами // [22:39] <kergma>:) // [22:39] * kergma долго трясет руку ворону, улыбаясь в телекамеры // [17:29] * edger покосился на кергму и замолк: // [17:29] * masha смеется // [00:52] <kergma> эджер, ты попал // [00:52] <edger>?:))) // [00:53] <edger> вы что!!! Зачем вилами, да??? Это был новый пиджак!!! Аааа!!! В глаз-то зачем!!!:)))) // * miyu обиженно вытягивает свой хвост из лап кергмы:) // [22:43] <kergma> вполне пупырчатый // [22:43] <miyu> нет:) // [22:43] <miyu> ни фига:) // [22:43] <kergma> под мехом не видно // [22:43] <miyu> прротестую:) // [22:43] <miyu> не видно не потому что мех. А потому что не пупырчатый!:) // [22:44] * kergma цукает, эээ, хвост мику // [22:44] * miyu нервничает:) // [22:44] <miyu> оставьте в покое мой хвост:) // [22:44] <miyu> а то кисточку оторвете:) // [22:44] <shet> бэк // [22:44] <kergma> ээээ // [22:44] <miyu> пришивтаь придецца!:) // .Как отмечалось, роль реплики, ситуативной характеристики в таком тексте может выполнять своеобразное «говорящее» имя: <ni_ser`ezen>, <ni_v_transe> и под.

Подчеркнутая эмоциональность коммуникации – средство не только выражения эмоций, но и эмоционального воздействия на партнера по коммуникации, о чем свидетельствуют многочисленные примеры эмоционального преобразования ников, обращений: <ill letjaga> **шетище;**) // [13:51] <miky> **шетиш!!:)))** // [13:51] <shet> **привет-привет** // [13:52] <miky>:)))))) // [13:52] <miky> **какие лююююду:)))** // <miky> **ой, нооомстер:))** // [14:58] <miky> **привееем:)))** // [14:58] <sg> □[nomster]□ **in di ofrika is di kokoso** // [14:58] <nomster> **re** // [14:58] <nomster> **мр:)** // [14:58] <nomster> **мику;)** // [14:59] <nomster> **мяки:)** // [14:59] <miky> **мяу:))) тебе:)))**.

В заключение хотелось бы отметить, что анализ чат-коммуникации в заявленном аспекте позволяет говорить о проявленности в данном типе компьютерного общения варианта русской ценностной картины мира, обнаруживающей как проявления общности этнической аксиологической картины мира, так и ее определенную аспектацию и ситуативно обусловленную акцентуацию.

В чат-коммуникации в наиболее яркой форме проявляется неоднократно отмечаемая исследователями такая специфика русского коммуникативного поведения, как личностная направленность общения, постоянное стремление к выходу за пределы институциональности в общении, прорыв к личностному в человеке.

Дискурсивно обусловленной является и яркая актуализация еще одной черты, выделяющей русское этническое речевое общение, – стремление к постоянному оцениванию внешнего мира, его «примеривание» к стандартам, идеалам, архетипам, а также повышенная эмоциональность речи, стремление к яркому эмоциональному насыщению оценочно-рефлексивного отражения мира.

Чат-коммуникация – это мир рефлексивного мышления/общения, при этом в фокусе постоянной рефлексии находится сам говорящий, прежде всего его эмоциональное и интеллектуальное состояние, а также соответствующие проявления партнеров в коммуникации и различные аспекты хода коммуникации, в том числе его формальная и эстетическая стороны. Эстетическая ориентированность общения в чат-коммуникации проявляется в ее насыщенности различными видами игровых манипуляций с языковыми, смысловыми и формальными категориями.

Литература

Абаев В.И. Историко-этимологический словарь осетинского языка. – Т. 1–4. – М.; Л., 1958–1989.

Авилова Н.С. Вид глагола и семантика глагольного слова. – М., 1976.

Адамец А. К вопросу о референциальной определенности в чешском и русском языках // Новое в зарубежной лингвистике. – Вып. 15: Современная зарубежная русистика. – М., 1985.

Адоньева С.А. Прагматика фольклора. – СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та: Амфора, 2004. 312 с.

Аникин А.Е. Этимология и балто-славянское лексическое сравнение в праславянской лексикографии: Материалы для балто-славянского словаря. – Вып. 1: (*a- – *go-). – Новосибирск: Сибирский хронограф, 1998.

Апресян Ю.Д. Дейксис в лексике и грамматике и наивная модель мира // Семиотика и информатика. – М., 1986. – Вып. 28.

Апресян Ю.Д. Избранные труды. Т. 2: Интегральное описание языка и системная лексикография. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1995.

Апресян Ю.Д. Лексическая семантика: Синонимические средства языка. – М., 1974.

Апресян Ю.Д. Прагматическая информация для толкового словаря // Прагматика и проблемы интенциональности. – М., 1988.

Арутюнова Н.Д. Аксиология в механизмах жизни и языка // Проблемы структурной лингвистики. 1982. – М.: Наука, 1984. – С. 5–23.

Арутюнова Н.Д. Дискурс // Лингвистический энциклопедический словарь. – М., 1990. – С. 136–137.

Арутюнова Н.Д. К проблеме функциональных типов лексического значения // Аспекты семантических исследований. – М., 1980. – С. 156–249.

Арутюнова Н.Д. Об объекте общей оценки // Вопросы языкознания. – 1985. – №3. – С. 13–24.

Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. – М.: Наука, 1988. – 338 с.

Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. – М., 1999.

Арциховский А.В., Борковский В.И. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1956–1957 гг.). – М., 1963.

Аспекты семантических исследований /АН СССР, Ин-т языкознания; Отв. ред. Н.Д. Арутюнова, А.А. Уфимцева. – М.: Наука, 1980. – 356 с.

Байбурун А.К. Ритуал: свое и чужое. [Электронный ресурс] // Фольклор и этнография: Проблемы реконструкции фактов традиционной культуры. – Л., 1990. – Режим доступа: www.cultinfo.ru, свободный. Загл. с экрана.

Байкоў М., Некрашэвіч С. Беларуска-расійскі слоўнік. – Менск, 1925.

Балалыкина Э.А. Развитие противоположных семантических оттенков в пределах одного слова в истории русского языка // Семантика русского языка в диахронии: Сб. науч. тр. / Калинингр. ун-т. – Калининград, 1994. – С. 3–10.

Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса [Электронный ресурс]. – М., 1965. – Режим доступа: <http://bahtin-mm.viv.ru>, свободный. – Загл. с экрана.

Белорусско-русский словарь / Под ред. К.К. Крапивы. – М., 1962.

Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов. Пер. с фр. / Общ. ред. и вступ. ст. Ю.С. Степанова. – М.: Прогресс-Универс. 1995. – 456 с.

Берестнев Г.И. Иконичность добра и зла // ВЯ. – 1999. – № 4. – С. 99–113.

Богатырев П.Г. Вопросы теории народного искусства. – М., 1971.

Булыгина Т.В., Шмелев А.Д. Концепт долга в поле долженствования // Логический анализ языка. Культурные концепты. – М., 1991. – С. 14–21.

Бычков В.В. Русская средневековая эстетика XI–XVII вв. 2-е изд. – М., 1995.

Вараксин Л.А. Семантический аспект русской глагольной префиксации. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1996.

Варбот Ж.Ж. Хорохориться и хороший // Русская речь. – 1980. – №1. – С. 138–141.

Василенко В.А. Ценность и оценка: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Киев, 1964.

Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. – М., 1996.

Вендина Т.И. Средневековый человек в зеркале старославянского языка. – М.: Индрик, 2002.

Вертгеймер М. Гештальт-теория [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.metaphor.nsu.ru>, свободный. – Загл. с экрана.

Вертгеймер М. Законы организации в перцептуальных формах. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.metaphor.nsu.ru>, свободный. – Загл. с экрана.

Веселовский А.Н. Историческая поэтика. – Л., 1940.

Виноградова В.Н. Стилистический аспект русского словообразования. – М., 1984.

Волохина Г.А., Попова З.Д. Русские глагольные приставки: семантическое устройство, системные отношения. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1993.

Вольф Е.М. Грамматика и семантика прилагательного (на материале иберо-романских языков). – М.: Наука, 1978.

Вольф Е.М. О соотношении квалификативной и дескриптивной структур в семантике слова и высказывания // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. – 1981. – Т. 40, № 4. – С. 391–397.

Вольф Е.М. Метафора и оценка // Метафора в языке и тексте. – М.: Наука, 1988. – С. 52–65.

Вольф Е.М. Субъективная модальность и семантика пропозиции // Прагматика и проблемы интенциональности. – М., 1988. – С. 124–143.

Вольф Е.М. Функциональная семантика оценки. – М., 1985.

Вольф Е.М. Функциональная семантика оценки. 2-е изд., доп. – М.: Едиториал УРСС, 2002. – 280 с.

Вольф Е.М. Эмоциональные состояния и их представления в языке // Логический анализ языка: Проблемы интенциональных и прагматических контекстов. – М., 1989.

Воронин С.В. Основы фоносемантики. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1982. – 244 с.

Восточно-славянские изоглоссы. 1995. – М.: Наука, 1995.

Вригт Г.Х. фон. Логико-философские исследования: Пер. с англ. – М., 1986.

Гістарычны слоўнік беларускай мовы / Рэд. А.М. Булыка. – Мн.: Навука і тэхніка, 1983. – Вып. 2.

Гак В.Г. Номинация действия // Логический анализ языка. Модели действия. – М., 1992. – С. 77–84.

Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы: В 2 т. Тбилиси, 1984.

Геродот. История в девяти книгах / Пер. и примеч. Г.А. Стратановского; Под общ. ред. С.Л. Утченко. – Л.: Наука, 1972. – 600 с.

Гловинская М.Я. Семантика глаголов речи с точки зрения теории речевых актов // Русский язык в его функционировании: Коммуникативно-прагматический аспект. – М., 1993.

Горбачевич К.С., Хабло Е.П. Словарь эпитетов русского литературного языка. – Л.: Наука, 1979. – 567 с.

Горелов И.Н. Синестезия и мотивированные знаки подъязыков искусствоведения // Проблемы мотивированности языкового знака. – Калининград, 1976. – С. 74–82.

Гринченко – Словарь украинского языка, собранный редакцией ж. «Кіевская старина». Редактировал, с добавлением собственных материалов Б.Д. Гринченко. Київ, 1907–1909.

Гурт А. Словарь русско-галицкий: В 2 т. – Вена, 1896.

Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. – 3-е изд., испр. и доп. / Под ред. И.А. Бодуэна де Куртенэ. – СПб.; М., 1903–1909 (1994).

Дворецкий И.Х. Древнегреческо-русский словарь. – М., 1958. – Т. 1.

Дронова Л.П. Из истории слов общей оценки в славянских языках // III Славистические чтения памяти П.А. Дмитриева,

Г.И. Сафронова: Материалы международной научной конференции. – СПб., 2002. – С. 41–43.

ЕСУМ – Етимологічний словник української мови. Т. 1–3. – Київ, 1982–1989.

Ефанова Л.Г. Норма как разновидность предельности глагольного действия: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Томск, 1995.

Журавлев А.Ф. Заметки на полях «Этимологического словаря славянских языков» // Этимология. 1988–1990. – М.: Наука, 1992. – С. 77–88.

Зализняк А.А. О характере языкового контакта между славянскими и скифо-сарматскими племенами: Славянское языкознание / Краткие сообщения ин-та славяноведения. – М., 1963. – № 38. – С. 1–22.

Зализняк А.А. Проблемы славяно-иранских языковых отношений древнейшего периода // Вопросы славянского языкознания. Вып. 6. – М., 1962. – С. 28–45.

Зеленин Д. Табу слов у народов Восточной Европы и Северной Азии. – Л., 1930. – Ч. 2.

Земская Е.А. Словообразование как деятельность / Ин-т рус. яз. РАН. – М.: Наука, 1992.

Земская Е.А., Китайгородская М.В., Ширяев Е.Н. Русская разговорная речь: Общие вопросы. Словообразование. Синтаксис. – М.: Наука, 1981.

Иваницький С., Шумлянський Ф. Російсько-український словник. Т. 1–2. – Вінниця, 1918.

Иванов Вяч. Вс. Славяно-арийские (индоиранские) лексические контакты // Славянская языковая и этноязыковая системы в контакте с неславянским окружением. – М., 2002. – С. 17–51.

Ивин А.А. Основания логики оценок. – М.: Изд-во МГУ, 1970.

Ильенко В.В. Диалектная лексика в языке общерусских летописных сводов XV–XVII в.в. – Л., 1961.

Иордан. О происхождении и деяниях гетов. «Getica» / Вступ. ст., пер., коммент. Е.Ч. Скржинской. – М.: Изд-во вост. лит., 1960.

Каган М.С. Анекдот как феномен культуры: Вступительный доклад. Режим доступа: www.antropology.ru, свободный. – Загл. с экрана.

Калиткина Г.В. Формы субъективной оценки в аспекте теории мотивации (на диалектном материале): Дис. канд. ... филол. наук. – Томск, 1989.

Кацнельсон С.Д. Типология языка и речевое мышление. – М.; Л.: Наука, 1972.

Кларк Т.Г., Карлсон Т.Б. Слушающий и речевой акт // Новое в зарубежной лингвистике. – Вып. 17. Теория речевых актов. – М., 1996.

Клышка М.К. Слоўнік сінонімаў і блізказначных слоў. – Мінск: Вышэйшая школа, 1976.

Ковалев Н.С. Древнерусский литературный текст: проблемы исследования смысловой структуры и эволюции в аспекте оценки. – Волгоград, 1997.

Кожевникова Л.П. О структурно-семантическом сходстве метафоры и метонимии // Проблемы функциональной семантики. – Калининград, 1993. – С. 104–111.

Копорский С.А. Из истории лексики русского литературного языка. XVIII–XIX вв. (изменение значений славянизмов) // Русский язык в школе. – 1955. – №3. – С. 17–23.

Королева Ю.В., Лебедева Н.Б. Русские глаголы с приставкой НА- кумулятивно-накопительного способа действия // Явление вариативности в языке: Материалы Всероссийской конференции (13–15 декабря 1994 г.) – Кемерово: Кузбассвуиздат, 1997. – С. 178–182.

Корш Ф. Замѣтка о словѣ «хорошо» // Московские университетские известия. – 1867. – № 12. – С. 1250–1251.

Кочергина В.А. Санскритско-русский словарь / Под ред. В.И. Кальянова. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Филология, 1996.

Красильникова Е.В. Имя существительное в русской разговорной речи: функциональный аспект. – М., 1990.

Кронгауз М.А. Исследования в области глагольной префиксации: современное положение дел и перспективы // Глагольная префиксация в русском языке. – М.: Русские словари, 1997. – С. 4–28.

Кронгауз М.А. Приставки и глаголы в русском языке: семантическая грамматика. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1998.

Кубрякова Е.С. Части речи в ономаσιологическом освещении. – М.: Наука, 1978. – 115 с.

Куканова Н.Н. Семантические изменения качественных прилагательных в русском литературном языке XVIII в., связанные с различными основаниями оценки // Очерки по исторической лексикологии русского языка: Памяти Ю.С. Сорокина. – СПб.: Наука, 1999. – С. 89–107.

Кулигина Т.И. Категория оценки и средства ее выражения в современном немецком языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Л., 1985.

Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем // Теория метафоры – М.: Прогресс, 1990. – С. 387–415.

Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. – М.: Едиториал УРСС, 2004.

Лангакер Р. Когнитивная грамматика // Скребцова Т.Г. Американская школа когнитивной лингвистики / Послесл. Н.Л. Сухачева. – СПб., 2000. – С. 130.

Ларин Б.А. Русско-английский словарь-дневник Ричарда Джемса (1618–1619 гг.). – Л., 1959.

Лачинс Э., Лачинс Эд. Изоморфизм в гештальт-теории: сравнение концепций Вертгеймера и Келера. – Режим доступа: <http://www.metaphor.nsu.ru>, свободный. – Загл. с экрана.

Леви-Стросс К. Структурная антропология. – М., 1985.

Левонтина И.Б. ДОБРО 1, БЛАГО 1 // Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Вып. 1. – 2-е изд., испр. / Ю.Д. Апресян, О.Ю. Богуславская, И.Б. Левонтина и др.; Под общ. рук. Ю.Д. Апресяна. – М., 1999. – С. 79–82.

Лисенко П.С. Словник поліських говорів. – Київ, 1974.

Литературный энциклопедический словарь. – М.: Сов. энцикл., 1987.

Лифшиц Г.М. Виды многозначности в современном русском языке: На материале оценочных имен прилагательных. – М.: МАКС Пресс, 2001.

Лукьянова М.А. О соотношении понятий «экспрессивность», «эмоциональность», «оценочность» // Актуальные проблемы лексикологии и словообразования. – Новосибирск, 1976. – Вып. 5. – С. 3–21.

Лукьянова Н.А. Экспрессивная лексика разговорного употребления: Проблемы семантики. – Новосибирск: Наука, 1986.

Лурия А.Р. Язык и сознание. Ростов н/Д: Феникс, 1998.

Льюис Г., Педерсен Х. Краткая сравнительная грамматика кельтских языков: Пер. с англ. / Ред., предисл. и примеч. В.Н. Ярцевой. – М.: Иностр. лит., 1954. – 534 с.

Ляпон М.В. Из истории выражения модальности в русском языке (на материале сочинений Курбского): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – М., 1971.

Мандельштам И. Об уменьшительных суффиксах в русском языке со стороны их значений // Журнал Министерства народного просвещения. – 1903. – Июль, август. – С. 40.

Маркелова Т.В. Семантика оценки и средства ее выражения в русском языке. – М., 1993.

МАС – Словарь русского языка: В 4 т. / Гл. ред. А.П. Евгеньева. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Рус. яз., 1981.

Мачинский Д.А. О культуре Среднего Поднепровья на рубеже скифского и сарматского периодов // КСИА. — 1973. – Вып. 133. С. 3–9.

Мейе А. Общеславянский язык / Пер. и примеч. П.С. Кузнецова. – М.: Иностр. лит., 1951. – 491 с.

Мишанкина Н.А. Метафорическое осмысление сферы неодушевленного: образы звучания // Актуальные проблемы дериватологии, мотивологии, лексикографии. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 1998. – С. 176–182.

Мишанкина Н.А. Метафорические образы русского саундшафта // Проблемы русистики: Материалы Всероссийской научной конференции «Актуальные проблемы русистики», посвященной 70-летию профессора кафедры русского языка ТГУ О.И. Блиновой. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001. – С. 139–142.

Неклюдов С.Ю. Несколько слов о постфольклоре. – Режим доступа: www.ruthenia.ru/folklore, свободный. – Загл. с экрана.

Никитина С.Е. Культурно-языковая картина мира в тезаурусном описании. – М., 1999. – С. 11.

Никитина С.Е. Устная народная культура и языковое сознание. – М., 1993.

Носович И.И. Словарь бѣлорускаго нарѣччя. – СПб., 1870.

Обнорский С. Прилагательное *хороший* и его производные в русском языке // Язык и литература. – Л., 1929. – Т. 3. – С. 241–257.

Общая психология / Под. ред. А.В. Петровского. – М., 1986.

- Общая психология / Под. ред. В.В. Богословского. – М., 1981.
- Ожегов С.И.* Словарь русского языка / Под. ред. Н.Ю. Шведовой. – М.: Русский язык, 1987. – С. 41.
- Павлюк Н.А.* Сопоставление фонетического и лексического значения // Проблемы мотивированности языкового знака. – Калининград, 1976. – С. 66–74.
- Пеньковский А.В.* О семантической категории "чуждости" в русском языке // Проблемы структурной лингвистики. – 1985–1987. – М., 1989.
- Петров В.В.* Метафора: от семантических представлений к когнитивному анализу // ВЯ. – 1990. – № 3. – С. 135–146.
- Петрова З.М.* Развитие лексического состава русского языка XVIII в.: Имена прилагательные: Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. – Л., 1983.
- Петрухина Е.В.* Производная глагольная номинация: модификация и мутация (на материале русского и западнославянских языков) // Вестн. МГУ. – Филология. – 1996. – №6. – С. 42–55.
- Пименова М.В.* Семантический синкретизм и синкретсемиа в древнерусском языке. – СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 2000.
- Пименова М.В.* Эстетическая оценка в древнерусском тексте: Дис. ... д-ра филол. наук. – СПб., 2000.
- Писанова Т.В.* Национально-культурные аспекты оценочной семантики (эстетическая и этическая оценки): Дис. ... д-ра филол. наук. – М., 1997.
- Плямоватая С.С.* Размерно-оценочные имена существительные в современном русском языке. – М., 1961.
- Порохова О.Г.* Из истории лексики: Слова с корнем *благ-* (*блаж-*) в русском языке // Слово в русских народных говорах. – Л., 1968. – С. 181–202.
- Порядина Р.Н.* О «магической» функции деминутива (на материале среднеобских говоров) // Человек – текст – коммуникация. – Барнаул, 1996.
- Порядина Р.Н.* Оценочный синкретизм деминутивного суффикса (фрагмент языковой картины мира среднеобского говора) // Культура отечества: прошлое, настоящее, будущее. – Томск, 1996.
- Преображенский А.Г.* Этимологический словарь русского языка. – М., 1910–1914. Т. 1–2. // Тр. Ин-та рус. яз. – 1949. – Т. 1.

Протт В.Я. Фольклор и действительность: Избранные статьи. – М.: Наука, 1976.

Прохорова Н.В. О словах с противоположными значениями в русских говорах // Филол. науки. – 1961. – № 1. – С. 122–127.

Расторгуева В.С., Эдельман Д.И. Этимологический словарь иранских языков: В 2 т. – М.: Вост. лит., 2000–2003.

Рахилина Е.В. Основные идеи когнитивной семантики // Современная американская лингвистика: фундаментальные направления. – 2-е изд., доп. – М., 2002.

Резанова З.И. Функциональный аспект словообразования: Русское производное имя. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 1996.

Рождественский Ю.В. Лекции по общему языкознанию. – М.: Высшая школа, 1990.

Русская разговорная речь: Тексты. – М., 1989.

Рябцева Н.К. Ментальная лексика, когнитивная лингвистика и антропоцентричность языка. – Режим доступа: <http://www.dialog-21.ru/Archive/Dialogue%202000-1/268.htm>, свободный. – Загл. с экрана.

Сараджева Л.А. Рождение цвета... : (К эволюции черного, белого и красного цветов в индоевропейских культурно-языковых традициях) // Эколингвистика: теория, проблемы, методы: Межвузовский сборник научных трудов / Под ред. А.М. Молоднина. – Саратов, 2003 – С. 121–126.

Сараджева Л.А. Славянское *bolgo «благо» (к соотношению смысловой структуры) // Языковая деятельность: переходность и синкретизм: Научно-методический семинар «Textus»: Сб. ст. к 75-летию В.В. Бабайцевой. – Вып. 7. – Москва; Ставрополь, 2001. – С. 44–46.

Сахно С.Л. «Свое»–«чужое» в концептуальных структурах // Логический анализ языка: Культурные концепты. – М., 1991.

СГГД – Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Гос. коллегии иностранных дел. – М., 1813.

Седов В.В. Славяне: Историко-археологическое исследование / Ин-т археологии Рос. академии наук. – М.: Языки славянской культуры, 2002.

Сенкевич В.И. Категория оценки в белорусском и русском языках (на материале названий лица): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Минск, 1987.

Сепир Э. Культура истинная и мнимая // Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. – М., 1999.

Сергеева Л.А. Качественные прилагательные со значением оценки в современном русском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Саратов, 1980.

Скребцова Т.Г. Американская школа когнитивной лингвистики / Послел. Н.Л. Сухачева. – СПб., 2000. – 204 с.

Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей: В 5 вып. / Гл. ред. А.С. Герд. – СПб., 1999. – Вып. 4.

Словарь русских донских говоров / Редкол. Т. Хмелевская, С. Овчинникова и др. Т. 1–3. – Ростов н/Д.: Изд-во Ростов. ун-та, 1975–1976.

Словарь русских старожильческих говоров Средней части бассейна р. Оби: (Дополнение): В 2 т. / Под ред. О.И. Блиновой, В.В. Палагиной. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 1974–1975.

Словник староукраїнської мови XIV–XV ст. – Київ: Наукова думка, 1977–1978. – Т. 1–2.

СлРЯ XI–XVII вв. – Словарь русского языка XI–XVII вв. – Вып. 1–26. – М.: Наука, 1975–2002.

Смирнова О.И. Один случай энантиосемии // Лексикология и словообразование древнерусского языка. – М., 1966. – С. 56–67.

Современный городской фольклор. – М.: Российск. гос. гуманитар. ун-т, 2003. – 736 с.

Соколов О.М. Актантная распределенность семантики русских глаголов в мотивационно-словообразовательном аспекте // Вопросы словообразования в индоевропейских языках: Проблемы семантики. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 1991. – С. 11–16.

Соколов О.М. О значении и функциях русских глагольных префиксов // Тр. Ин-та / Том. гос. ун-т, 1964. – С. 8–19.

Соколов О.М. Энантиосемия в кругу смежных явлений // Филол. науки. – 1980. – №6. – С. 36–42.

Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка. Т. 1–3. – СПб., 1893–1903.

СРНГ – Словарь русских народных говоров / Гл. ред. Ф.П. Филин. – М.; Л., 1965. – Вып. 1.

СС – Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков) / Под ред. Р.М. Цейтлин, Р. Вечерки, Э. Благовой. – 2-е изд., стер. – М., 1999.

Стеблин-Каменский И.М. Этимологический словарь ваханского языка. – СПб., 1999.

Стернин И.А. Лексическое значение слова в тексте. – Воронеж, 1985.

Столович Л.Н. Ценностная природа категории прекрасного и этимология слов, обозначающих эту категорию // Проблема ценности в философии / Гл. ред. А.Г. Харчев. – М.; Л., 1966. – С. 65–80.

Страбон. География: В 17 кн. // Под общ. ред. С.Л. Утченко. – М.: Ладомир, 1994 (репринт 1964).

Сукаленко Н.И. Отражение обыденного сознания в образной языковой картине мира. – Киев, 1992. – С. 36.

Телия В.Н. Коннотативный аспект семантики языковых единиц. – М.: Наука, 1986.

Телия В.Н. О различии рациональной и эмотивной (эмоциональной) оценки // Функциональная семантика. – М.: Наука, 1990. – С. 31–38.

Телия В.Н. Экспрессивность как проявление субъективного фактора в языке и ее прагматическая ориентация // Роль человеческого фактора в языке: Языковые механизмы экспрессивности. – М., 1991.

Тимченко Е. Русско-малороссийский словарь: В 2 т. – Киев, 1897.

Тихонов А.Н. Чистовидовые приставки в системе русского видового формообразования // Вопросы языкознания. – 1964. – №1. – С. 42–52.

Толстая С.М. Семантическая реконструкция и проблемы синонимии в праславянской лексике // Славянское языкознание: XIII Международный съезд славистов. – М., 2003. – С. 549–563.

Толстая С.М. Слово в контексте народной культуры // Язык как средство трансляции культуры. – М., 2000. – С. 101–111.

Толстик С.А. Семантическое поле 'худой' в русском языке: эволюция концепта: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Томск, 2004.

Толстой Н.И. Язык и народная культура: Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. – М.: «Восточная литература» РАН, 1995. – 426 с.

Топоров В.Н. Прусский язык. Словарь. – М., 1975–1990. – Т. 1 (А–D), 2 (E–H), 3 (I–K), 4 (K–L), 5 (L).

Топоров В.Н. Модель мира // Мифы народов мира. – М.: Советская энциклопедия, 1982. – Т. 2.

Трипольская Т.А. Эмотивно-оценочный дискурс: когнитивный и прагматический аспекты. – Новосибирск, 1999.

Трубачев О.Н. Из славяно-иранских лексических отношений // Этимология. 1965. – М., 1967. – С. 3–81.

Трубачев О.Н. Происхождение названий домашних животных в славянских языках (этимологические исследования). – М., 1960.

Трубачев О.Н. Рец. на: «L. Sadnik – R. Aitzetmüller. Vergleichendes Wörterbuch der slavischen Sprachen» // Этимология. 1970. – М.: Наука, 1972. – С. 373–374.

Трубачев О.Н. Этногенез и культура древнейших славян: Лингвистические исследования. – 2-е изд., доп. – М., 2002.

Тюпа В.И. Модусы сознания и школа коммуникативной дидактики // Дискурс. – Новосибирск: Наука, 1996. – № 1. – С. 17–22.

Уемов А.И. Вещи, свойства и отношения. – М.: Изд-во АН СССР, 1963. – 182 с.

Уилрайт Ф. Метафора и реальность // Теория метафоры / Общ. ред. Н.Д. Арутюновой, М.А. Журиной. – М.: Прогресс, 1990. – С. 82–109.

Украинско-русский словарь. – Киев, 1964.

Улукханов И.С. Словообразовательная семантика в русском языке. – М., 1977.

Успенский Б.А. Краткий очерк истории русского литературного языка (XI–XIX вв.). – М.: Гнозис, 1994.

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. – М., 1964–1973.

Фелькина О.А. Развитие семантики славянских прилагательных общей оценки в русском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Минск, 1990.

Филин Ф.П. Лексика русского литературного языка древнекиевской эпохи. – Л., 1949.

Филин Ф.П. Образование языка восточных славян. – М.; Л., 1962. – 294 с.

Фрумкина Р.М. Цвет, смысл, сходство (аспекты психолингвистического анализа). – М., 1984.

Функциональный аспект словообразования: Русское производное имя. – Томск, 1996.

ФЭС – Философский энциклопедический словарь. – М., 1983.

Хелимский Е.А. Компаративистика, уралистика: Лекции и статьи. – М.: Языки русской культуры, 2000.

Хидекель С.С., Кошель Г.Г. Природа и характер языковых оценок // Лексические и грамматические компоненты в семантике языкового знака. – Воронеж, 1983. – С. 11–16.

Химик В.В. Анекдот как феномен культуры. Материалы круглого стола 16 ноября 2002 г. – СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2002. – С. 17–31.

Хроленко А.Т. Семантическая структура фольклорного слова // Русский фольклор: Вопросы теории фольклора. – Вып. 19. – Л., 1979. – С. 153.

Цивьян Т.В. Лингвистические основ балканской модели мира. – М.: Наука, 1990.

Черепанов М.В. Типология префиксальных и конфиксальных структур русского глагола: Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. – Л., 1974.

Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. – Т. 1–2. – М., 1994.

Чернякова Т.А. Закономерности формирования и развития оценочного значения (на материале имен прилагательных) // Имя и глагол в исторической перспективе: Науч. тр. – Т. 558: Славянская филология. – Рига, 1991. – С. 72–81.

Чистов К.В. Устная речь и проблемы фольклора // История, культура, этнография и фольклор славянских народов: X Междунар. съезд славистов. – М., 1988. – С. 33–50.

Шатэрнік М.В. Краевы слоўнік Чэрвеншчыны. – Менск, 1929.

Шаховский В.И. Категоризация эмоций в лексико-семантической системе языка. – Воронеж, 1987.

Шмелев А.Д. «Широта русской души» // Логический анализ языка. Языки пространств. – М.: Языки русской культуры, 2000. – С. 357–367.

Шмелева Е.Я. Семейный миропорядок сквозь призму русского анекдота // Логический анализ языка. Космос и хаос: Концептуальные поля порядка и беспорядка. – М.: Индрик, 2003. – С. 191–200.

Шмелева Е.Я., Шмелев А.Д. Клишированные формулы в современном русском анекдоте. – Режим доступа: www.ruthenia.ru/folklore, свободный. – Загл. с экрана.

Шрамм А.Н. Очерки по семантике качественных прилагательных (на материале современного русского языка). – Л.: Изд-во ЛГУ, 1979.

Щербаков М.А. Модель уровней самоидентификации личности. – Режим доступа: http://www.ipd.ru/articles/ident_article.shtml, свободный. – Загл. с экрана.

Щукин М.Б. Кельты, германцы и исчезнувшие бастарны // Язык и культура кельтов: Материалы VII Коллоквиума (Санкт-Петербург, 29 июня–1 июля 1999 г.). – СПб.: Наука, 1999. – С. 54–63.

Эдельман Д.И. Иранские и славянские языки: Исторические отношения. – М.: Изд-во Вост. лит., 2002.

ЭССЯ – Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд / Под ред. О.Н. Трубачева. – Вып. 1.–30. – М., 1974–2003.

Этымалагічны слоўнік беларускай мовы / Рэд. В.У. Мартынаў. – Мн.: Навука і тэхніка, 1978. – Т. 1.

Якобсон Р. Лингвистика и поэтика // Структурализм: «за» и «против». – М., 1975.

Янценецкая М.Н., Резанова З.И. Модификационные производные и их функции // Русские говоры Сибири: Семантика. – Томск, 1995.

Berlin B., Key P. Basic color terms. – Berkley, 1969.

Berneker E. Slavisches etymologisches Wörterbuch. – Lief. 1–9. – Heidelberg, 1908–1913.

Dokulil M. Tvoření slov v češtině, d.I. Teorie, 1962.

ESJSSI – Etymologický slovník jazyka staroslovenského. P. 1–2. – Praha, 1989–1990.

Etymologický slovník jazyka staroslovenského. T. 1–2. Praha, 1989–1990.

EWD – Etymologisches Wörterbuch der Deutschen. W. Pfeifer etc. Bd. 1–2. – Berlin, 1993

Fraenkel E. Litauisches etymologisches Worterbuch. – Heidelberg, 1955.

Havers W. Neuere Literature zum Sprachtabu. – Wien, 1946.

Lehmann W.P. A gothic etymological dictionary. – Leiden: E.J. Brill, 1986.

Machek V. Etymologický slovník jazyka českého a slovenského. – Praha, 1957. – 627 c.

Miklosich F. Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. – Wien, 1886.

Paul H. Deutsches Wörterbuch. 5-te Aufl. bearb. von A. Schirmer. – Halle, 1956.

Pok. – Pokorny J. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. – Bern, 1959.

Schmalstieg W.R. E. Fraenkel. Litauisches etymologisches Wörterbuch // Word, 12, № 2, 1956.

Słownik języka polskiego / Red. nac. W. Doroszewski. – Warszawa, 1964. – T. 6.

Słownik polszczyzny XVI wieku. – Warszawa, 1996. T. 24.

SP – Słownik prasłowiański / Pod red. F. Sławskiego. – Wrocław etc., 1974. – T. 1.

Sweetser Eve. From Etymology to Pragmatics. Metaphorical and Cultural Aspects of Semantic Structure. – Cambridge Studies in Linguistics. – Cambridge University Press. – 1990. – 174 p.

Thurnwald R. Psychologie des primitiven Menschen. – München, 1922.

Vendryes J. Lexique etymologique de l'irlandais ancien. Lettres MNOP. – Dublin; Paris, 1960.

W.-H. – Walde A. Lateinisches etymologisches Wörterbuch. – 3-te, neubearb. Aufl. von Hofmann J.B. Bd. 1–2. – Heidelberg, 1938–1954.

Walde – Pok. – Walde A. Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen, hgb. J. Pokorny. Bd. 3. Berlin; Leipzig, 1928–1932.

Список сокращений

Названия языков и диалектов

авест.	авестийский
алб.	албанский
англ.	английский
англосакс.	англосаксонский
арм.	армянский
арханг.	архангельский
балт.	балтийский
балто-слав.	балто-славянский
барнаул.	барнаульский
бел.	белуджский
блр.	белорусский
болг.	болгарский
брян.	брянский
в.-луж.	верхнелужицкий
валаш.	валашский
валл.	валлийский
влад.	владимирский
волог.	вологодский
ворон.	воронежский
вост.	восточный
вост.-балт.	восточнобалтийский
вост.-иран.	восточноиранский
вост.-слав.	восточнославянский
вят.	вятский
герм.	германский
голл.	голландский
горьк.	горьковский

гот.	готский
греч.	греческий
диал.	диалектное
дон.	донской
др.-англ.	древнеанглийский
др.-в.-нем.	древневерхненемецкий
др.-греч.	древнегреческий
др.-инд.	древнеиндийский
др.-иран.	древнеиранский
др.-ирл.	древнеирландский
др.-исл.	древнеисландский
др.-н.-нем.	древненижненемецкий
др.-норв.	древненорвежский
др.-перс.	древнеперсидский
др.-польск.	древнепольский
др.-прус.	древнепруссский
др.-рус.	древнерусский
др.-сакс.	древнесаксонский
др.-серб.	древнесербский
и.-е.	индоевропейский
индо-иран.	индо-иранский
иркут.	иркутский
ирл.	ирландский
исл.	исландский
казан.	казанский
калуж.	калужский
кашуб.	кашубский
кашуб.-словин.	кашубско-словинский
кельт.	кельтский
кимр.	кимрский
костр.	костромской
лат.	латинский
литов.	литовский
лтш.	латышский
макед.	македонский
малопольск.	малопольский
моск.	московский
мукач.	мукачевский

н.-луж.	нижнелужицкий
н.-нем.	нижненемецкий
н.-перс.	новоперсидский
нем.	немецкий
нидерл.	нидерландский
новг..	новгородский
норв.	норвежский
олон.	олонецкий
орл.	орловский
осет.	осетинский
пенз.	пензенский
перм.	пермский
перс.	персидский
петерб.	петербургский
пехл.	пехлевийский
печор.	печорский
полаб.	полабский
полес.	полесский
польск.	польский
праслав.	праславянский
прус.	пруский
пск.	псковский
рум.	румынский
рус.	русский
рус.-цслав.	русскоцерковнославянский
ряз.	рязанский
с.-хорв.	сербохорватский
сак.	сакский
самар.	самарский
сарат.	саратовский
свердл.	свердловский
сев.-двин.	северодвинский
сев.-рус.	севернорусский
сев.-слав.	севернославянский
сиб.	сибирский
скиф.	скифский
скр.	санскрит
слав.	славянский

словац.	словацкий
словен.	словенский
словин.	словинский
смол.	смоленский
согд.	согдийский
ср.-в.-нем.	средневерхненемецкий
ср.-н.-нем.	средненижненемецкий
ср.-урал.	среднеуральский
ст.-блр.	старобелорусский
ст.-литов.	старолитовский
ст.-перс.	староперсидский
ст.-польск.	старопольский
ст.-рус.	старорусский
ст.-слав.	старославянский
ст.-словен.	старословенский
ст.-укр.	староукраинский
ст.-чеш.	старочешский
тадж.	таджикский
твер.	тверской
том.	томский
тохар. А	тохарский А
тохар. В	тохарский В
тул.	тульский
тур.	туровский
укр.	украинский
урал.	уральский
фрак.	фракийский
хетт.	хеттский
хорв.	хорватский
хорезм.	хорезмийский
цслав.	церковнославянский
чеш.	чешский
швед.	шведский
ю.-слав.	южнославянский
ягн.	ягнобский
яроsl.	ярославский

Прочие сокращения

безл.	безличное
дат.	дательный падеж
ист.	историческое
мест.	местный падеж
нареч.	наречие
под.	подобное
прост.	просторечное
прош.	вр. прошедшее время
разг.	разговорное
стар.	старое
сущ.	существительное
устар.	устаревшее
част.	частица

Географические названия

Арх. – Архангельская область
Акчим. Перм. – деревня Акчим Пермской области
Байкал. – Байкальский район Читинской области
Бурят. – республика Бурятия
Влад. – Владимирская область
Волог. – Вологодская область
Вят. – Вятская область
Дон. – районы, расположенные по течению реки Дон
Забайкалье – районы, расположенные на территории Забайкалья
Карел. – республика Карелия
Костром. – Костромской район
Краснод. – Краснодарский край
Курск. – Курская область
Медвежьегорск. – Медвежьегорский район республики Бурятия
Олон. – Олонецкая область
Оренб. – Оренбургский район
Перм. – Пермская область
Ряз. – Рязанская область
Свердл. – Свердловская область
Ср. Урал – районы, расположенные на территории Среднего
Урала

Авторы монографии

Дронова Любовь Петровна – кандидат филологических наук, доцент, докторант кафедры общего, славяно-русского языкознания и классической филологии филологического факультета Томского государственного университета.

Ермоленкина Лариса Ивановна – кандидат филологических наук, доцент кафедры теории и истории языка филологического факультета Томского государственного педагогического университета.

Катунин Дмитрий Анатольевич – старший преподаватель кафедры общего, славяно-русского языкознания и классической филологии филологического факультета Томского государственного университета. E-mail: katunin@newsman.tsu.ru

Королева Юлия Вадимовна – кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры общего, славяно-русского языкознания и классической филологии филологического факультета Томского государственного университета.

Мишанкина Наталья Александровна – кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры гуманитарных проблем информатики философского факультета Томского государственного университета. E-mail: mishankina@ido.tsu.ru

Резанова Зоя Ивановна – доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой общего, славяно-русского языкознания и классической филологии филологического факультета Томского государственного университета. E-mail: resso@rambler.ru

Тубалова Инна Витальевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры общего, славяно-русского языкознания и класси-

ческой филологии филологического факультета Томского государственного университета. E-mail: **katunin@newsman.tsu.ru**

Эмер Юлия Антоновна – кандидат филологических наук, доцент кафедры общего, славяно-русского языкознания и классической филологии филологического факультета Томского государственного университета. E-mail: **lee@lee.tsk.ru**



Программа «Межрегиональные исследования в общественных науках» была инициирована Министерством образования и науки Российской Федерации, АНО «ИНОЦентром (Информация. Наука. Образование)» и Институтом имени Кенна-на Центра Вудро Вильсона при поддержке Корпорации Карнеги в Нью-Йорке (США), Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. МакАртуров (США) в 2000 году.

Целью Программы является расширение сферы научных исследований в области общественных и гуманитарных наук, повышение качества фундаментальных и прикладных исследований, развитие уже существующих научных школ и содействие становлению новых научных коллективов в области общественных и гуманитарных наук, обеспечение более тесного взаимодействия российских ученых с их коллегами за рубежом и в странах СНГ.

Центральным элементом Программы являются девять межрегиональных институтов общественных наук (МИОН), действующих на базе Воронежского, Дальневосточного, Иркутского, Калининградского, Новгородского, Ростовского, Саратовского, Томского и Уральского государственных университетов. АНО «ИНОЦентр (Информация. Наука. Образование)» осуществляет координацию и комплексную поддержку деятельности межрегиональных институтов общественных наук.

Кроме того, Программа ежегодно проводит общероссийские конкурсы на соискание индивидуальных и коллективных грантов в области общественных и гуманитарных наук. Гранты предоставляются российским ученым на научные исследования и поддержку академической мобильности.

Наряду с индивидуальными грантами, большое значение придается созданию в рамках Программы дополнительных возможностей для профессионального развития грантополучателей Программы: проводятся российские и международные конференции, семинары, круглые столы; организуются международные научно-исследовательские проекты и стажировки; большое внимание уделяется изданию и распространению результатов научно-исследовательских работ грантополучателей; создаются условия для участия грантополучателей в проектах других доноров и партнерских организаций.

Адрес: 107078, Москва, Почтамт, а/я 231
Электронная почта: info@ino-center.ru,
Адрес в Интернете: www.ino-center.ru, www.iriss.ru

Министерство образования и науки Российской Федерации является федеральным органом исполнительной власти, проводящим государственную политику в сфере образования, научной, научно-технической и инновационной деятельности, развития федеральных центров науки и высоких технологий, государственных научных центров и наукоградов, интеллектуальной собственности, а также в сфере молодежной политики, воспитания, опеки, попечительства, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений.

Министерство образования и науки Российской Федерации осуществляет координацию и контроль деятельности находящихся в его ведении Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Федерального агентства по науке и инновациям и Федерального агентства по образованию.

Министерство образования и науки Российской Федерации осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.

АНО «ИНОЦентр (Информация. Наука. Образование)» – российская благотворительная организация, созданная с целью содействия развитию общественных и гуманитарных наук в России, а также творческой активности и научного потенциала российского общества.

Основными видами деятельности являются: поддержка и организация научных исследований в области политологии, социологии, отечественной истории, экономики, права; разработка и организация научно-образовательных программ, нацеленных на возрождение лучших традиций российской науки и образования, основанных на прогрессивных общечеловеческих ценностях; содействие внедрению современных технологий в исследовательскую работу и высшее образование в сфере гуманитарных и общественных наук; содействие институциональному развитию научных и образовательных институтов в России; поддержка развития межрегионального и международного научного сотрудничества.

Институт имени Кеннана был основан по инициативе Джорджа Ф. Кеннана, Джеймса Биллингтона и Фредерика Старра как подразделение Международного научного центра имени Вудро Вильсона, являющегося официальным памятником 28-му президенту США. Кеннан, Биллингтон и Старр относятся к числу ведущих американских исследователей российской жизни и научной мысли. Созданному институту они решили присвоить имя Джорджа Кеннана Старшего, известного американского журналиста и путешественника XIX века, который благодаря своим стараниям и книгам о России сыграл важную роль в развитии лучшего понимания американцами этой страны. Следуя традициям, институт способствует углублению и обогащению американского представления о России и других странах бывшего СССР. Как и другие программы Центра Вудро Вильсона, он ценит свою независимость от мира политики и стремится распространять знания, не отдавая предпочтения какой-либо политической позиции и взглядам.

Корпорация Карнеги в Нью-Йорке (США) основана Эндрю Карнеги в 1911 году в целях поддержки «развития и распространения знаний и понимания». Деятельность Корпорации Карнеги как благотворительного фонда строится в соответствии со взглядами Эндрю Карнеги на филантропию, которая, по его словам, должна «творить реальное и прочное добро в этом мире».

Приоритетными направлениями деятельности Корпорации Карнеги являются: образование, обеспечение международной безопасности и разоружения, международное развитие, укрепление демократии.

Программы и направления, составляющие ныне содержание работы Корпорации, формировались постепенно, адаптируясь к меняющимся обстоятельствам. Принятые на сегодня программы согласуются как с исторической миссией, так и наследием Корпорации Карнеги, обеспечивая преемственность в ее работе.

В XXI столетии Корпорация Карнеги ставит перед собой сложную задачу продолжения содействия развитию мирового сообщества.

Фонд Джона Д. и Кэтрин Т. МакАртуров (США) – частная благотворительная организация, основанная в 1978 году. Штаб-квартира Фонда находится в г. Чикаго (США). С осени 1992 года Фонд имеет представительство в Москве и осуществляет программу финансовой поддержки проектов в России и других независимых государствах, возникших на территории бывшего СССР.

Фонд оказывает содействие группам и частным лицам, стремящимся добиться устойчивых улучшений в условиях жизни людей. Фонд стремится способствовать развитию здоровых личностей и эффективных сообществ, поддержанию мира между государствами и народами и внутри них самих, осуществлению ответственного выбора в области репродукции человека, а также сохранению глобальной экосистемы, способной к поддержанию здоровых человеческих обществ. Фонд реализует эти задачи путем поддержки исследований, разработок в сфере формирования политики, деятельности по распространению результатов, просвещения и профессиональной подготовки и практической деятельности.

Научное издание

Дронова Любовь Петровна, Ермоленкина Лариса Ивановна,
Катунин Дмитрий Анатольевич и др.

ТРАДИЦИОННОЕ СОЗНАНИЕ:
ПРОБЛЕМЫ РЕКОНСТРУКЦИИ

Монография

Гигиенический сертификат
77.99.02.953.Д.001977.03.02 от 21.03.02

Редактор Т.В. Зелева

Оформление переплета и макет А.Л. Бондаренко

Компьютерная верстка Д.М. Кижнер

Лицензия ИД № 04617 от 24.04.01 г.
Подписано к печати 25.5.05 г. Формат 60×90¹/₁₆.
Бумага офсетная №1. Гарнитура Таймс.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 15,75. Уч.-изд. л. 14.
Тираж 500 экз. Заказ

ФГУП «Издательство ТГУ»
634029, Томск, ул. Никитина, 4
Тел.: (3822)53-23-78

Отпечатано в полном соответствии
с качеством представленных диапозитивов
в ОГУП «Асиновская типография»,
г. Асино, ул. Проектная, 22